МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ФЁДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН

БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ

Том 2



Ф. А. Степун

Бывшее и несбывшееся

Том II

Под редакцией Л. М. Суриса



Москва
Берлин
2016

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6
С79

Степун, Ф. А.

С79 Бывшее и несбывшееся. В 2-х томах. Т. II / Ф. А. Степун ; под ред. Л. М. Суриса – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 422 с.

ISBN 978-5-4475-8330-9

Второй том мемуаров известного русского философа, писателя, историка и литературного критика Фёдора Августовича Степуна (1884–1965) передаёт трагическую атмосферу разрушительных революционных событий 1917 года в России.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-4475-8330-9

Глава I
ФЕВРАЛЬ

Со страхом и трепетом приступаю к описанию «Февраля». Как уловить, как передать его раздвоенную душу? В каких словах запечатлеть радостную взволнованность целодневных заседаний в Таврическом дворце, после которых мы часто расходились по домам призрачно-белыми ночами, и медленное расползание по всей России ржаво-кровавых туманов «Октября», в которых погибло десятилетиями подготовлявшееся освобождение России.

Противопоставлять «Февраль» «Октябрю», как два периода революции, как всенародную революцию – партийно-заговорческому срыву ее, как это все еще делают апологеты русского жирондизма, конечно, нельзя. «Октябрь» родился не после «Февраля», а вместе с ним, может быть, даже и раньше его; Ленину потому только и удалось победить Керенского, что в русской революции порыв к свободе с самого начала таил в себе и волю к разрушению. Чья вина перед Россией тяжелее – наша ли, людей «Февраля», или большевистская – вопрос сложный. Во всяком случае, нам надо помнить, что за победу зла в мире в первую очередь отвечают не его слепые исполнители, а духовно зрячие служители добра.

Боюсь поэтому, что будущему историку, будет легче простить большевикам, с такою энергиею защищавшим свою пролетарскую родину от немцев, их кровавые преступления перед Россией, чем оправдать Временное правительство, ответственное за срыв революции в большевизм, а тем самым в значительной степени и за Версаль, Гитлера и за Вторую мировую войну. В своих «Воспоминаниях» Керенский сам говорит, что останься Временное правительство у власти, оно не допустило бы Версаля.

Я никогда не был революционером, больше того: во мне никогда не угасал как инстинктивный, так и сознательный протест против тех левых демократов, марксистов и социалистов-революционеров, среди которых протекала моя гейдельбергская жизнь. Несмотря на такое отношение к революции, я принял весть о ней радостно, в чувстве, что над мрачным унынием изнутри разлагающейся войны внезапно воссиял свет какого-то ниспосылаемого России исхода. В безвыходные минуты мы всегда склонны принимать новое за светлое.

В таком, неожиданно для себя самого, светлом чувстве смотрел я на своих солдат, быстро выстраивавшихся на косогоре, с которого в лучах яркого полуденного солнца уже сбегали быстрые весенние ручьи.

Сказав «паркачам» по просьбе больного и неуверенного в себе командира несколько слов о мудром и великодушном отречении государя-императора и о переходе власти к Временному правительству, которое бесспорно сделает все, от него зависящее, чтобы в возможно короткий срок с честью окончить войну, я распустил своих сибиряков с просьбой строже, чем раньше, соблюдать дисциплину, и с угрозой строже, чем раньше, взыскивать за нарушение ее, так как известно, «кому много дано, с того много и взыщется».

Слушали меня очень внимательно, отнеслись к сказанному с полным доверием и после команды «разойдись», весело, с какою-то, как мне показалось, новою свободою в движениях и голосе, шумно посыпались под гору в деревню. Вечером во всех халупах, как докладывал фельдфебель, только и было разговору, что вернемся домой и, наконец-то, заживем на своей земле полными хозяевами своей новой и вольной жизни.

Об этой будущей жизни я и сам в первые дни после переворота много говорил с солдатами и из этих разговоров вынес твердое убеждение, что жажда «замирения»,

с неудержимою силою вспыхнувшая в солдатских душах, была не трусостью и шкурничеством, но прежде всего всенародно-творческим порывом к свободе, в смысле оправдания добра в мире. Найдись у революции вожди, которые, во время расслышав этот порыв, сумели бы его политически оформить, все было бы спасено: и правда революции, и честь России.

Несмотря на мое, как стали выражаться впоследствии, «приятие революции», я не испытывал ни малейшего желания принять в ней деятельное участие. Не доложи мне как-то ранним утром мой денщик Семеша, что за мной прибежали два стрелка, у которых в полку неладно, я, быть может, так до конца и остался бы в стороне от революционных событий.

Введенные бледным от волнения Семеном стрелки, солидные, бородатые мужики в подоткнутых шинелях, потные и растрепанные от быстрой ходьбы, перебивая друг друга, доложили мне, что их полк собирается самовольно уходить из окопов и грозит повесить командира, если он на то не даст своего «приказу». Их ротный (хорошо знакомый мне поручик из прапорщиков) просит меня немедленно приехать и поговорить с бунтовщиками, которые чужого, быть может, скорее послушают, чем своего.

Велев седлать, я зарядил на всякий случай револьвер и вышел в ожидании лошади на крыльцо.

Перед глазами стояли взбунтовавшиеся роты. Сердце билось, в груди разгоралась непреклонная воля к подавлению бунта. В голове быстро складывались первые фразы обращения к мятежникам…

Переговорив в штабе полка с растерянным командиром, я двинулся к тыловым окопам, где уже с утра кипел митинг.

Встретили меня «заговорщики» безо всякой вражды. Увидев их простые и скорее растерянные, чем угрожающие лица, я даже устыдился, что зарядил револьвер.

С первого же взгляда было ясно, что передо мною не злонамеренные бунтовщики, а заупрямившиеся самодумы.

– В чем дело, ребята? Говори открыто.

Вместо ответа – типично мужицкое недоверчивое молчание. Я повторил свой вопрос, обращаясь на этот раз не ко всем, а к стоявшему недалеко от меня солдату с умным, серьезным лицом и весьма независимым видом.

Явно ошеломленный моим вопросом в упор, он сначала было растерялся, но через секунду собрался с духом и, встряхнув головой, заявил:

– Как же так, ваше благородие, – вышла свобода. В Питере, слышно, вышел приказ о замирении, потому нам чужого добра не нужно. Замирение значит вертай домой: нас там жены и дети ждут. А его высокоблагородие говорит: «Ничего подобного: свобода – говорит – после войны будет тем, кто в живых останется. А пока надо защищать родину». Мы, ваше благородие, так понимаем, что наш полковник ослушник новой власти и самовольно над нами куражится, потому порешили исполнить новый закон и сниматься с позиции.

– Это он правильно говорит, – отозвался поблизости спокойный голос. Затем из глубины толпы послышались уже иные, взволнованные и озлобленные голоса: «К чему нам напоследок в Галиции пропадать, когда дома землю делить будут», «на кой чёрт нам еще сопку брать, когда и под сопкой замириться можно», «командиру за сопку Егория дадут, а тебя за его Егория в могилу уложат!..»

– Довольно, ребята, – громко оборвал я расходившихся мужиков, – я приехал поговорить по душам с боевыми товарищами, со славными сибиряками, а с забастовщиками и бунтарями мне говорить не приходится.

Таким в армии; не место. Бунтовать против начальства вам и новая власть не позволит. Без дисциплины нет армии, а власть без армии – все равно, что человек без рук. Безрукому же, будь он хоть семи пядей во лбу, всякий, кому не лень, а не то что немец, почем зря морду набить может, поняли?

– Так точно, ваше благородие, поняли, как не понять.

– Поняли, так слушай дальше: я понимаю, что вам по простоте вашей, а может и по доброте вашей, непонятно, как это так – объявилась свобода, а вас домой не пускают. В Петрограде говорят о мире, а вам приказ и дальше подставлять лоб под неприятельские пули.

– Правильно, ваше благородие, в самую точку.

– Я знаю, что правильно, но я еще не всю правду сказал. Правда, известно, палка о двух концах. Так вот, повернем ее другим концом – а другой конец – немец, его-то вы и забыли. У немца свобода не объявлена и мира он у нас не просит. Он притаился и только того и ждет, чтобы русская армия, забыв долг и присягу, вышла из окопов и, как стадо баранов, шарахнулось бы домой. И что же вы думаете? Так он и будет смотреть вам вслед? Как бы не так! Знайте, что он так двинет вам в спину, что вы и опомниться не успеете, как все костьми ляжете. Сами знаете, нет страшнее обстрела, как обстрел в походе. Опять подумайте: немец от чужой земли не отказался, у него своей мало, ему наша нужна; а не защищенную он ее голыми руками возьмет. И вот еще что сообразите: война немцу много денег стоит, эти деньги ему надо вернуть. Кто будет расплачиваться? Никто, как вы, русские крестьяне. Завоевав нашу землю, он заставит вас задарма работать на ней, потечет русский хлеб в немецкие закрома, а вы будете ремень на голодном брюхе подтягивать, да пот со лба отирать.

А потому, ребята, выкиньте дурь из головы, а дураков из роты, заткните горлодерам рты и слушайтесь

начальства. Временное правительство только и думает, что о народе, зря вас в атаку не подымет и лишнего часа на позиции не продержит. Обещайте же мне слушаться вашего командира, а, если понадобится, то и сбить немца с сопки. Пахать чужую землю мы не собираемся, но на чужой земле нам надо сейчас отстоять свою землю и свою свободу, иначе мы пропадем. Обещайте же мне, сибиряки, что отстоите.

– Отстоим! – раздались со всех сторон радостные и уверенные голоса, «обещаем» подтверждали просветлевшие лица.

– Благодарю, стрелки, вашему слову верю.

Я с подчеркнутою, непринятою на фронте между офицерами, отчетливостью откозырял ротному, старшему производством кадровому поручику, который, подняв на меня грустный, но благодарный взор, крепко пожал мне руку, и в очень сложных и смутных чувствах поехал обратно.

Что в том, думалось мне, что мне удалось уговорить первую роту и что пока еще не надо уговаривать вторую. Завтра не уговоришь третью, или четвертую, зараза мигом облетит весь полк и он, вопреки разуму и совести лучших солдат, хлынет в тыл. Разве можно воевать на уговорах? Конечно, нельзя. Но что же делать, когда воевать без уговоров еще менее возможно?

Будь это иначе, начальник штаба корпуса, преданный династии гвардейский генерал Гольмс, вряд ли бы уже на следующий день после моего самовольного выступления во вверенной ему части, вызвал меня к себе и тепло благодарил за оказанную помощь. Очевидно, он, как умный человек, сразу понял, что для того, чтобы продолжать хоть как-нибудь свое дело, ему в новых революционных условиях нужны слова, которых у него самого нет и быть не может.

Так началась моя политическая деятельность.

Весть о том, что к нам на фронт едут думские депутаты, была встречена офицерством с большою радостью. Уже целую неделю, если не больше, мы жили как впотьмах. Выпущенный Петербургским советом рабочих и солдатских депутатов уже на четвертый день революции знаменитый приказ № 1 внес во фронтовую жизнь, несмотря на то, что он был дан только петроградскому гарнизону и к действующей армии никакого отношения не имел, невероятную путаницу: возбудил в солдатах совершенно несбыточные надежды и вызвал вполне справедливое возмущение в офицерской среде. Стояло ли за этим приказом, подписанным никому неизвестными именами, Временное правительство, или нет, оставалось неизвестным.

От живых свидетелей, переворота мы надеялись узнать, каков подлинный курс нового военного министерства, чему надо мирволить и чему надо твердо сопротивляться.

Ко дню приезда депутатов фронт уже внешне являл картину широкого разлива революционной стихии. От штабов к позициям и обратно носились краснофлаженные автомобили и красногривые тройки. Всюду веяли красные знамена и возвышались обтянутые кумачом ораторские трибуны. Повсеместно гремели оркестры и взвивались краснобайные речи. Неумолчно гудел митинговый трезвон: «за землю и волю», «без аннексий и контрибуций», «за самоопределение народов»… Все было призрачно и двусмысленно: не то Пасха, не то революция.

Депутаты оказались на вид совсем не революционерами. Петербургский приват-доцент Тройский, с живым, несколько брезгливым лицом, еще мог сойти за леволиберального интеллигента, Демидов же, Игорь Платонович, печальноокий смуглый человек с пленительною, белозубою улыбкой в небольшой бороде – был типичнейшим барином-помещиком.

Удобно усевшись в глубокой коляске, запряженной тройкою крупных артиллерийских лошадей, мы не спеша двинулись к Шумлянам. Депутаты оживленно рассказывали о петроградских событиях и подробно расспрашивали меня о состоянии фронта.

Растрогало ли меня с детства знакомое вздрагивание и покачивание коляски на податливых рессорах и меланхолическое позвякивание глухарей, совлек ли вид штатских костюмов военную форму с моей души, всколыхнул ли изящно-деревенский облик Игоря Платоновича отроческие воспоминания о старых усадьбах с их цветущими липами, прадедовскими библиотеками и либеральными разговорами за чайным столом, – не знаю. Одно только знаю, что, сопровождая на батарею, в качестве фронтового представителя революции, едущих к нам думцев, я испытывал такой прилив скорбной любви к низвергаемой всеми нами России, что с отвращением смотрел на всюду развевающиеся красные флаги.

Хотя на третьей батарее, как, впрочем, и во всей бригаде, господствовал весьма либеральный дух, наши кадровые офицеры ждали встречи с думскими депутатами не без волнения: одно дело в своей среде будировать против начальства и высшей власти, другое – официально приветствовать революционеров. Достаточно было однако Демидову и Тройскому обменяться с собравшимися офицерами рукопожатиями и первыми случайными фразами, как сразу же исчезла и тень отчужденности.

– Свои люди, – радостно шепнул мне Иван Владимирович и тут же приказал денщику подать к ужину последнюю бутылку коньяку.

Отдохнув и поужинав, депутаты приступили к своим докладам. Они прекрасно дополняли друг друга. Тройский говорил обстоятельно, с цифрами и фактами,

Демидов гораздо живописнее и глубже. В их охрипших, перетруженных, все еще не могущих успокоиться голосах, мы впервые услышали радостный и устрашающий гул петербургских событий, судьбоносных в своей неожиданности и неотвратимых в своей последовательности.

После официальных докладов начались вопросы и ответы. Полилась оживленная, непринужденная беседа, длившаяся до полуночи. Выяснив себе настроение фронта, депутаты решили на следующий день обойти окопы и провести несколько митингов в ближайшем тылу. Я отправился с ними.

Встречали нас всюду с бурною радостью. Петербургский вопрос борьбы между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов еще не волновал фронта. Отношения между солдатами и офицерами были еще сносны. В артиллерии все обстояло по-старому, если не считать того, что офицеры требовали от денщиков, чтобы они не называли их «благородиями», а те упирались, говоря, что без «благородий» неудобно. В пехоте недоразумений было много, но все они носили скорее местный, чем общепринципиальный характер. Борьба велась не против начальства, а против отдельных, давно уже ненавистных начальников. Единственное, с чем депутатам пришлось сразу же начать борьбу – это была стихийная солдатская тяга к немедленному замирению.

Первым выступал Демидов с изложением Петербургских событий, с драматическим описанием отречения государя-императора и великого князя Михаила Александровича. В его повествовании слышалось больше покорности революции, чем революционного подъема. Говоря о падении монархии, он в сущности говорил на тему: «на то была Господня воля». Офицерам, в особенности старшим, Игорь Платонович очень

нравился: «если государь-император сам соизволил отречься, то и наш долг присягнуть революционной власти», говорили себе, меняя гнев на милость и успокаивая свою встревоженную совесть, верные слуги монархии.

Совсем в другом тоне говорил Павел Петрович. От слов этого профессора-радикала веяло якобинским подъемом. Доказывая солдатам необходимость продолжать войну, он апеллировал; не только к их патриотизму, но и к активной революционности: «Наколите на ваши славные, суворовские штыки красные знамена революции, ворвитесь в немецкие окопы и водрузите в них великое знамя свободы, справедливости и мира», – выкрикивал он, протягивая вперед руки и весь устремляясь ввысь, словно возносясь в пылающее революционною зарею небо.

Несмотря на то, что наступление с красными флагами на штыках улыбалось солдатам отнюдь не больше, чем без них, выступления Тройского, в которых было много внешней риторики и бенгальского огня, производили на наших сибиряков большое впечатление. Как только Тройский кончал свою речь, вокруг него быстро смыкалось солдатское кольцо: сильные руки неловко подхватывали депутата подмышки и под коленки и, раскачав, трижды подбрасывали вверх: «за землю и волю», «за мир без аннексий и контрибуций», «за самоопределение народов»…

Думцам отвечали начальники частей. Все они клялись до последней капли крови защищать родину и революцию. Разница была только в том, что офицеры без красных бантиков в петличках обращались и с депутатами, как с начальством, прапорщики же и поручики, носившие революционные эмблемы как распорядительские бантики, обращались как со своими начальниками, так и с депутатами запанибрата.

После начальства выступали представители армейских организаций – офицеры и солдаты. В солдатских речах, косноязычных и нескладных, иной раз звучал какой-то почти священный восторг. Пермские, вятские, сибирские мужики не пылали разрушительным, революционным гневом, а скорее светились радостью дарованного им освобождения. Вскочив на непривычную трибуну и взволнованно оглянувшись кругом, они произносили не политические речи, а разливались в благодарных чувствах; говорили о том, что «вот-мол-дождались светлого празднику». В их безыскусственных, часто даже бессвязных словах разом звучали все наболевшие вопросы их крестьянской и солдатской жизни. Они говорили о помещичьей земле, которую их деды пахали, о непосильных налогах, о взяточниках-урядниках, о своей темноте и серости, но и о своей жажде просвещения, о замирении, о том, что отстоят животами свободу; они воинственно грозили Вильгельму и миролюбиво жалели немецких солдат, таких же, небось, подневольных мужиков, как и они сами. Они трогательно благодарили думцев за весть об отречении царя, но, в противоположность нахлынувшим вскоре на фронт агитаторам, никакой хулы на отрекшегося государя не возводили.

С объезда фронта нашей бригады депутаты вернулись на батарею смертельно усталыми, но вполне удовлетворенными всем пережитым. Их приподнятое настроение сообщилось даже нашему скептику, Ивану Владимировичу, который за поздним ужином поднял рюмку водки с пожеланием Временному правительству полной победы над большевиками и непостыдного мира. Депутаты мечтали о большем. Они верили в патриотизм революции и в возможность полной победы не только над большевиками, но и над центральными державами.

Вслушиваясь в их бодрые речи, всматриваясь в оживленные лица, вспоминая все впечатления проведенного с ними длинного дня, я невольно спрашивал себя: откуда у них, помещиков и дворян, такое, как будто бы беспечальное, во всяком случае безусловно положительное отношение к событиям? Неужели нет в их душах острой жалости к той, приговоренной к смерти России, в которой они выросли? Или уже они так героически справедливы, что безоговорочно приветствуют революцию, которая грозит разрушить всё, чем они жили и что любили? Неужели они совсем не чувствуют неприязни ко грядущей на смену старому миру красной нови? «Чувствуют, – отвечал я себе, – но скрывают». Вечером, когда Павел Петрович Тройский, снимая сапог, вдруг грустно запел:

Чего-то нет, чего-то жаль,
Куда-то сердце мчится вдаль…

я окончательно понял, что мои предположения верны.

Да, нам всем было «чего-то жаль», но мы полусознательно подавляли в себе это чувство, не признавались в нем ни себе, ни другим и потому громко трубили на весь мир лишь вторую крылатую строчку: «куда-то сердце мчится вдаль».

Трубил и я. До сих пор не могу без угрызений совести вспоминать свои фронтовые речи, которые я часто оканчивал эффектною фразою: «Петербург дал нам свободу, мы дадим России победу!»

Откуда эти угрызения совести? Ведь, в конце концов, я и поныне думаю, что, служа революционному оборончеству, я делал на фронте единственно возможное и нужное дело…

В небольшой книжке знаменитого испанца 17-го столетия, в «Ручном оракуле» Бальтазара Грациана, есть замечательные по мудрости строки. Говоря о иерархии

добродетелей, Грациан первое место отводит «непосредственности и благородной, вольнолюбивой независимости сердца». Ставя это качество выше ума и выше храбрости, он утверждает, что без него красота жизни мертвеет и всякий подвиг умаляется.

Вот этой-то независимости сердца, вольного, прямого и непосредственного излучения своей личности и не хватало мне в моей революционной работе. Неустанно носясь по фронту, защищая в армейских комитетах свои резолюции, произнося речи в окопах и тылу, призывая к защите родины и революции и разоблачая большевиков, я впервые за всю свою жизнь не чувствовал себя тем, кем я на самом деле был.

Месяцы «Февраля», время величайшего напряжения и даже расцвета моей жизни, остались у меня в памяти временем предельного ущемления моего «я», так как, вместо меня, во мне все время жил некий, не во всем сливающийся со мною «субъект действия». Вынужденный ежедневно и даже ежечасно добиваться каких-то необходимых для дела конкретных результатов, этот субъект неустанно требовал от меня, чтобы я подавлял в себе свои сомнения и пристрастия.

Сотни раз повторяя формулу «за родину и революцию», я должен был приглушать в себе ощущение не сочетаемости этих слов, из которых первое означало святыню, а второе, смотря по точке зрения, преступление, болезнь, или тяжелую операцию. Требуя наступления в защиту «земли и воли», я опять-таки должен был кривить душою, так как ни минуты не верил в то, что наступление действительно необходимо для проведения в жизнь эсеровской аграрной программы: землю крестьяне могли получить и от большевиков, бывших против наступления. Доказывая фронтовикам, что большевики – ставленники немецкого Генерального штаба, издающие свои газеты на немецкие деньги,

я знал, что говорю неправду, потому что говорю лишь полуправду, умалчиваю о глубоко народных корнях большевистского пораженчества. Защищая старых офицеров от клеветнических нападок желторотых «маршевиков», еще не нюхавших пороха, я мучительно переживал чувство глубокой вины перед седыми полковниками, которым моя защита офицерства не могла не казаться оскорблением его. Ложась во время армейских съездов спать вместе с солдатами, я не смел подать и виду, что мне было бы много приятнее переночевать в офицерском собрании.

В этом упрощении и снижении своих чувств и мыслей, в этом утаивании своего подлинного «я» не только от окружающих, но и от себя самого, в этом отказе от «независимости сердца», которую, как высшую добродетель требовал Бальтазар, была не только мука, которую я всегда чувствовал, но была, как я сейчас понимаю, и ложь.

Если бы судьбе оказалось угодным когда-либо снова предложить мне ответственный пост, я не ради себя, не по привычке к созерцательному сибаритству, а ради успеха порученного мне дела, отказался бы от него, если бы знал, что мне не сохранить на предложенном посту многомерности своего сознания. Всякая деятельность, требующая от деятеля предательства полноты его личности, не может не разрушать священной тайны жизни тем цивилизаторским варварством прагматиков-специалистов, от которого ныне гибнет европейская культура.

Была ли исторически дана хотя бы отдаленная возможность повести революцию путями, не требующими упрощения и предательства – вопрос очень трудный. Лично я уверен, что память о прошлом и порыв в даль будущего могли бы одинаково сильно звучать в политическом творчестве Временного правительства, если бы

оно оказалось независимым и достаточно дальновидным. Слишком легко отказываясь от прошлого и слишком бурно стремясь в будущее, Временное правительство не задумываясь требовало от сочувствующих ему кругов, прежде всего от офицерства и цензовой России, непосильного для них разрыва с прошлым, ставя себя тем самым в маловыгодное для борьбы с большевиками положение. Конкурировать с большевизмом по линии его упрощенного представления о будущем ему было невозможно, бороться же с большевиками, не опираясь на те круги, которым, несмотря на сознательное приятие революции, было все же жаль старой России, было ему непосильно.

О той, конкретной программе, умелое осуществление которой только и могло, как мне по крайней мере в свое время казалось, правильно сбалансировать печаль о прошлом и радость о будущем, речь будет ниже, в связи с рассказом о моем назначении на пост начальника Политического управления военного министерства.

Вскоре после отъезда депутатов я во главе делегации Юго-западного фронта попал в Петроград. Как, где и кем, по чьему приказу и по чьей инициативе была выбрана эта делегация, я не помню. Не помню и пути с фронта в красную столицу. Такие пробелы памяти мне на протяжении повествования о «Феврале» придется устанавливать довольно часто. «Октябрь» стоит перед глазами со стереоскопическою четкостью, воспоминанья же о «Феврале» разорваны и туманны.

В моей памяти шесть делегатов: два кадровых офицера, один фейерверкер из вольноопределяющихся и три солдата. Несмотря на весьма значительную социальную и партийную разнохарактерность всех нас, мы жили и действовали исключительно дружно. Как я, так и остальные офицеры делегации – капитаны Булюбаш

и Звездич были людьми беспартийными. Гвардеец Булюбаш, долго занимавший пост воспитателя в кадетском корпусе, был, думается, в душе монархистом, уже давно разочарованным в режиме Николая II-го. Скрепя сердце, приняв революцию и сознательно решив отдать свои силы политической работе, он держался с тактом и достоинством, – быть может, скрывая свои настоящие чувства, но не изменяя себе и никого не обманывая. Его выступления были всегда дельны. Хорошо и даже красноречиво владея словом, он никогда не вдавался в пространные и отвлеченные разглагольствования. Настоящей близости с солдатскими членами делегации у него не было, но не было и ни одного недоразумения с ними. Работать с ним было легко и приятно.

Капитан Звездич был человеком другого склада. Это был молчаливый боевой офицер с печальным, красивым лицом. В нем всегда чувствовался твердый и честный характер, но у него не было ни общего, ни политического миросозерцания. Тем не менее, во время своих речей я ощущал его своею совестью.

На левом фланге делегации стояли два социалиста: меньшевик Иванов и большевик-оборонец Макаров. Первый – пехотинец, второй – «моторизированный» кавалерист. Оба рабочие. Обоих вспоминаю не только с приязнью, но с радостью и благодарностью. Если бы политический разум многих знаменитых вождей нашего социализма был на уровне осмотрительной разумности этих рядовых солдат-комитетчиков, Россия, пожалуй, и справилась бы со всеми трудностями революции.

Веселый, ловкий, щеголеватый Макаров вскоре после возвращения делегации на фронт исчез с моего горизонта, но с милым Ивановым мы долго работали душа в душу. Мягкий, обходительный, глубоко убежденный человек, Иванов умел влиять на солдат

не столько своими речами (он не был большим оратором) сколько тихою, обстоятельною беседою. Перед тем как выступать в какой-нибудь закинувшейся роте, я не раз просил Иванова побеседовать с ребятами и подготовить мне почву.

Последние два члена делегации были типичными новоиспеченными эсерами. Первого из них, милого, но бесцветного помощника присяжного поверенного, мы выбрали в секретари делегации, второго же, народнически настроенного «мелкого буржуа» Николаева, из зажиточных деревенских лавочников, все как-то игнорировали, да и сам он ни в чем не проявлялся. За какие достоинства Николаев попал в делегацию, мне не совсем ясно. Наружностью он напоминал «идиота» Достоевского, как его у нас принято гримировать под Христа; говорил он не очень внятно, но искренне и нервно, странно закатывая кверху большие, белесооблачные глаза.

Можно по-разному относиться к борьбе русской интеллигенции с монархией. С монархически-синодальной точки зрения ее можно считать безумием и даже преступлением; с либерально-гуманитарной и революционно-социалистической – в ней нельзя не видеть основного смысла новой русской истории. Об одном только как будто бы невозможен спор: о грандиозном размахе и даже вдохновенности нашего за сто лет до октябрьского переворота начавшегося Освободительного движения.

Глава декабристов, прямолинейно-волевой Пестель, мечтавший на якобинский лад осуществить «русскую правду» и по совершении своего подвига уйти в монастырь; вселенский бунтарь Бакунин, считавший, что для народа не только не надо выдумывать несуществующего Бога, как думал Вольтер, а надо убить, пожалуй, и существующего (в существовании Бога Бакунин

далеко не всегда сомневался); пламенный политик и патетический лирик Герцен, лучшие страницы которого и поныне нельзя перечитывать без волнения; ясный и светлый анархист Кропоткин, которому лишь чрезмерная чуткость социальной совести помешала вырасти в того большого ученого, которым он был создан; народовольцы, выходившие после 25-ти летнего заключения из тюрьмы такими же несокрушимо верующими в революцию юношами, какими они в нее попадали; тысячи юношей и девушек, которые, отказываясь от всех благ жизни, шли в народ, чтобы постичь его правду и принести ему свободу; восторженный, почти святой террорист Каляев, искренне благодаривший суд за вынесенный ему смертный приговор – всё это люди громадных размеров, еще ждущие для уразумения своих душ и дел второго Достоевского и русского Шекспира в одном лице.

Много разговаривая по пути в Петроград с членами делегации о свершившейся революции, я с нетерпением ждал встречи с городом великого преобразователя, революционера Петра. Я думал, что увижу его гневным, величественным, исполненным революционной романтики. Ожидания мои не сбылись. Впечатление было сильное, но обратное ожидаемому. Петроград и по внешнему виду и по внутреннему настроению являл собою законченную картину разнузданности, скуки и пошлости. Не приливом исторического бытия дышал его непривычный облик, а явным отливом.

Бесконечные красные флаги не веяли в воздухе стягами и знаменами революции, а никлыми, красными тряпками уныло повисали вдоль скучных серых стен. Толпы серых солдат, явно чуждых величию свершившегося дела, в распоясанных гимнастерках и шинелях в накидку праздно шатались по грандиозным площадям и широким улицам великолепного города. Изредка

куда-то с грохотом проносились тупорылые броневики и набитые солдатами и рабочими грузовики: ружья наперевес, трепанные вихры, шальные, злые глаза…

Нет, это не услышанная мною на фронте великая тема революции, не всенародный порыв к оправданию добра свободою, а ее гнусная контртема: мозги набекрень, исповедь горячего сердца вверх пятами, стихийное, массовое «ндраву моему не препятствуй, Аленка, не мешай», это хмельная радость о том, что «наша взяла», что гуляем и никому ни в чем отчета не даем…

Из боковой улицы на Невский выезжает ландо, запряженное парою вороных. С высоких козел ими величественно правит великолепный, седой бородач. На дверцах ландо и на выпуклых лакированных наглазниках массивные вензеля с короною. В углу экипажа небрежно-важно и как-то глупо сидит одетый в черное пальто бледный человек с правильным, красивым лицом, удлиненным черною бородою. В этом человеке я сразу же узнаю известного петербургского адвоката-большевика Н. Д. Соколова, с которым нашей делегации предстоит объяснение по поводу знаменитого приказа № 1-й.

Я невольно вскидываю на него глаза и смущенно ловлю себя на явно контрреволюционном вопросе: не больше ли во всей этой картине, в лакированном придворном экипаже, в кровных, прекрасно съезженных, цокающих нога в ногу лошадях, в осанке и достоинстве дородного кучера, властно смотрящего вдоль Невского – красоты, а потому и культуры, чем в солдатне революционного Петрограда, и ее полномочном представителе, Соколове, фамильярно развалившемся в реквизированном экипаже. Как можно, спрашиваю я себя, с такими чувствами везти в революционный Петроград фронтовую делегацию, но тут же успокаиваю себя тем, что эти чувства ни на; секунду не отдаляют меня от сидящего рядом со мною в извозчичьей пролетке Иванова.

– А скажите, Иванов, – обращаюсь я к своему «классовому врагу», – вы не испытываете ненависти вот к этому обгоняющему нас придворному экипажу, к монархии, к царю?

– Нет, господин поручик, я счастлив, что монархия пала, думаю тоже, что бывшего царя надо поскорее куда-нибудь подальше спрятать, чтобы не было соблазна: в деревне еще много темноты. А ненависти во мне нет. Иной раз даже жалко Николая. Как никак он тоже рыпался, как умел, путался среди своих Распутиных и Протопоповых, и ничего-то у него не вышло, да и не могло выйти. Не его вина, что время царей прошло, а наше время настало.

Я вынул портсигар, мы по-товарищески закурили.

Через несколько минут три пролетки остановились у подъезда Знаменской гостиницы.

Наскоро умывшись и поевши, мы собрались в моем номере для обсуждения предстоящего посещения министров и Совета.

В первую очередь мы решили отправиться на Мойку, где надеялись быть принятыми военным министром Гучковым. Добиться приема оказалось делом нелегким; улица перед Сухомлиновским особняком была положительно запружена солдатскими делегациями. Лишь после часового топтания на месте нам удалось протискаться в переднюю. Но тут встало новое препятствие: приемом делегаций никто не руководил. Добиться от кого-либо более или менее точного ответа на вопрос, принимает ли министр сегодня, или нет, не было никакой возможности. Одни говорили, что Гучков еще не приезжал, другие – что вызванный по срочному делу, он выехал в Таврический. Изредка через переднюю пробегали замученные, затравленные офицеры с портфелями подмышкой, к которым со всех ног бросались председатели делегаций и всевозможные просите-

ли-одиночки, умоляя доложить о них министру. Офицеры на ходу бросали какие-то успокоительные фразы, из которых ничего не следовало, кроме того, что они сами ничего не знают, и исчезали за дверью, ведущею во внутренние апартаменты.

Солдаты, приехавшие с фронта в гордом чувстве своего нового достоинства и решающего значения армии для судеб революции, недоумевали, волновались и роптали. Особенное нетерпение проявляли так называемые «старики», то есть сорокалетние фронтовики, приехавшие хлопотать об их скорейшей демобилизации.

Поняв, что сиденьем в передней нам ничего не добиться, я решил самовольно прорваться за зеленую портьеру, которою была завешена таинственная дверь, за которой исчезали торопящиеся офицеры, и попытаться, ссылаясь на свое знакомство с Керенским, добиться внеочередного приема. Моя решительность имела успех: через час-другой мы были приняты министром.

Прием произвел на всех членов делегации безрадостное и даже тяжелое впечатление. Наш революционно-патриотический энтузиазм не встретил в Гучкове ни малейшего отклика. Мою речь, которую накануне мы тщательно обсуждали, он слушал с усталым, тяжелым и хмурым лицом, выражавшем, как сформулировал молчаливый Звездич, скорее недоверие ко всем человеческим словам в мире, чем внимание к тем, с которыми к нему обращались его солдаты.

По окончании речи, которую я формально закончил прочтением привезенного нами наказа, Гучков отпустил нас не без любезности и благодарности, но все же без тех особых живых слов поощрения и обнадеживания, которые были так нужны солдатам, гордым тем, что они привезли в революционный Петроград свою безоговорочную преданность Временному правительству,

свою готовность до конца защищать Россию и революцию как от внешнего, так и от внутреннего врага.

Недюжинный человек, горячий патриот и монархист, доведенный горьким опытом до сознания необходимости заговорщического низложения Николая II-го, неутомимый работник, блестящий организатор и настоящий специалист по военным вопросам, бесспорно много сделавший для усиления боеспособности армии, Гучков с первого же взгляда показался мне человеком совершенно непригодным на роль революционного военного министра.

Время прибытия нашей делегации в Петроград (вторая половина марта) было временем резкого перелома в настроении фронта и даже петроградского гарнизона. Поначалу, смятая большевистской пропагандой, армия начала быстро справляться с подступившим к ней соблазном и стала все энергичнее протестовать, по крайней мере в лице сознательных комитетских элементов, против петроградского двоевластия, Самоуправства Петроградского совета депутатов в духе приказа № 1-й и преждевременных пораженческих разговоров о мире. Лозунг «вся власть Временному правительству» становился главным требованием армии. Если бы в это время военное министерство возглавлял человек открытой, веселой души, боевой выправки и того особого, непередаваемого очарования, за которое солдаты спокон веков именуют любимых начальников «орлами», то начавшийся в армии процесс оздоровления, быть может, и мог бы быть организационно закреплен.

Гучков «орлом» не был. По своей внешности он был скорее нахохлившимся петухом. Покидая военное министерство, я с тревогою думал, что если приемы у Львова и Керенского пройдут в том же духе, то мне не удержать в нашей делегации того патриотического подъема, с которым мы прибыли с фронта. Тем более,

что этому подъему грозила большая опасность со стороны «Совета», в котором в то время безраздельно царили циммервальдские настроения.

Перед Таврическим дворцом, в котором помещалась вся Россия: Временное правительство, Исполнительный комитет Государственной Думы и Совет рабочих и солдатских депутатов, шумела огромная рабоче-солдатская толпа. В самом дворце, куда мы с трудом пробрались, была все та же теснота.

При входе стояли щитки со вчера еще подпольною литературою и составленные в козла ружья. В этом мирном соседстве не чувствовалось, однако, прочного мира.

У одного из щитков милая девушка со счастливым, светлым лицом, раздавала солдатам тоненькие брошюры. Я спросил ее, как добиться Львова. Она рассмеялась и сказала, что найти министра в Таврическом так же трудно, как найти бутылку в открытом море, но все же посоветовала войти в эсеровскую фракцию Совета и спросить кого-нибудь из комитетчиков.

Оставив своих делегатов у книжных щитков, мы с Булюбашем отправились на розыски. И двигаться и дышать было трудно. Стоял тяжкий дух пота и махорки. Под ногами скользкий, грязный, заплеванный подсолнухами и окурками пол.

Найдя комнату эсеров, мы вошли в нее и сразу же наткнулись на Гоца, с которым я не встречался со времени его гейдельбергских выступлений. Взгромоздив на стул свою невысокую, коренастую фигуру и так же потряхивая своими длинными волосами и артистическим бантом, как в 1903-м году, он что-то горячо разъяснял столпившимся вокруг него солдатам.

Получив не очень внятное разъяснение, где искать Львова, мы двинулись дальше. Навстречу нам через толпу с трудом пробирались офицерские кителя

и штатские пиджаки с ворохами высоко поднятых над головами бумаг, вероятно это были адъютанты и секретари, поддерживающие связь между отдельными мирами Таврического дворца.

За закрытыми дверьми фракционных комнат, а иногда и в коридорах, то громче, то приглушеннее раздавались аплодисменты, которыми революционные массы приветствовали своих вождей.

По мере нашего приближения к половине Временного правительства, солдатская толпа начала редеть, а Таврический дворец приобретать более благообразный вид.

Открыв массивную дверь в какое-то помещение, где, по мнению Гоца, нам должны были указать, как найти Львова, я увидел стоявших поодаль, спиной к нам, председателя Государственной Думы, большого, тяжелого Родзянку и благообразного осанистого батюшку в лиловой рясе. Разговаривающих окружало несколько хорошо одетых, пожилых депутатов.

Эта картина дышала таким бытовым покоем и была в своей привычности для глаза до того не похожа на мир советской половины, что невольно ощущалась не жизнью, а историей…

После долгих расспросов и поисков наша делегация все же была принята министром-председателем. Когда мы в приподнятом настроении вошли в кабинет князя, он сразу же быстро встал нам навстречу, высокий и худой. По первому же ласковому взгляду, брошенному князем из узких пристальных глаз на солдат, по первым же словам почувствовалось, что этот небогатый трудолюбивый помещик, служивший непременным членом по крестьянским делам, а затем, со скорбью в душе, и земским начальником, выучился говорить с народом так дельно и просто, так по-своему и по-народному одновременно, как это редко умели интеллигенты-политики, в особенности социалисты.

Юрист по образованию и общественник по призванию, стяжавший во время войны громкое имя своею неутомимою деятельностью во главе Союза земств и городов (за редкую в интеллигентской среде деловитость Львова сначала звали американцем, а после 1905-го года – японцем), к тому же политик вполне определенных прогрессивных убеждений, не связанный никакими партийными доктринами, Львов многим, близко знавшим его, казался человеком, как бы специально созданным для поста министра-председателя.

Возлагавшихся на него надежд Львов не оправдал, тяжести павшей на него ответственности не вынес. Поддавшись внезапно нахлынувшему на него чувству, что «мы ничего не можем», «мы обречены» «мы щепки, которые несет поток» и еще страшнее, что «мы погребенные», он уже через четыре месяца подал в отставку.

Чего же при всех его качествах не хватало Львову, чтобы справиться с возложенною на него историей задачей? То, что Львов был глубоко религиозным человеком (в его парижском эмигрантском кабинетике висел образ Великих угодников Ярославских, его не очень даже отдаленных предков) могло бы быть для него большою помощью, если бы в его православном сознании и мирочувствии не отсутствовал тот христианский пессимизм, без которого, по мнению умнейшего французского социолога Сореля, немыслима успешная политика. Кроме «умного пессимизма», не хватало Львову и той любви к власти, без наличия которой историей, к сожалению, не вырабатываются крупные политические деятели, в особенности деятели революционных эпох.

Быть может, в еще большей степени, чем недостающие ему черты, помешали Львову в его политической деятельности свойственные ему особенности характера и миросозерцания: его славянофильское

народолюбие, толстовское непротивленчество и несколько анархическое понимание свободы: «свобода, пусть в тебе отчаятся иные, я никогда в тебе не усомнюсь».

Ослепленный своею верою в мудрость русского народа, Львов поначалу прекраснодушно принимал разрушительную стихию революции за подъем народного творчества и делал одну ошибку за другой.

Моя характеристика первого министра-председателя Временного правительства не обвинение его. Обвинять Львова было бы уже потому неуместно, что, не в пример многим другим, он до самого своего конца во всем винил главным образом себя: «Ведь это я сделал революцию, я убил царя и всех… все я»… говорил он в Париже другу своего детства Екатерине Михайловне Лопатиной-Ельцовой.

Быть может, таким острым ощущением своей вины перед Родиной объясняется и отношение Львова не только к Советской России, но и к ее деятелям. Типично эмигрантской ненависти ко всему советскому у него не было. В то время, как многие политические эмигранты отказывались встречаться с советскими служащими, Львов уже в 1923-м году написал Льву Александровичу Тарасевичу, приехавшему из Москвы в Париж в качестве заместителя Наркомздрава Семашки, следующее письмо:

«Мне хочется сказать вам, как я поистине счастлив был почувствовать в беседе с вами веяние того свежего, росного утра родной земли, которое обещает погожий, радостный рабочий день. За пять лет невольного эмигрантства довелось мне вздохнуть родным, свежим воздухом.

Когда заговоришь здесь о родине, то услышишь одни закостенелые слова о "них", тогда как дело не в "них", а в "ней". Здесь головы и сердца заполнены не "ею", а только самими собою.

Веялка времени отнесла их далеко назад, из озадков не попадешь в посев. Они чувствуют, знают это – и рост новой жизни им понятен поэтому только со стороны утраты в ней места.

Меня душит эта пыльная мякина, а вы, как лопатой, подбросили ее на ветер и мне стало легче.

Вы дали почувствовать личным своим настроением, которое дается только одухотворенною, живою работой, что воистину недаром, не всуе веруешь. Вот уж пробивается, растет. Спасибо вам».

Изумительные строки: редкие по силе любви к родине, по душевной красоте, по беззлобию, но, конечно, недальновидные: о каком радостном, погожем дне можно было говорить, хотя бы и в сравнительно благополучном 1923-м году.

В один из следующих дней мы уже с раннего утра приехали в Таврический. Предстояло разрешение самой трудной задачи: поимки вездесущего и всюду отсутствующего товарища Керенского. Половина нашей делегации дежурила на думской стороне дворца, другая – на советской. От нетерпения мы поочередно бегали в «советский» буфет, где было тесно, душно, накурено, но где всех, если не изменяет память, задаром кормили щами и огромными бутербродами. Еды было много, посуды мало, а услужения никакого.

После долгих часов взволнованного ожидания и непрерывного заглядывания во всевозможные фракционные и комиссионные заседания, нам удалось атаковать Керенского не то в коридоре, не то в какой-то проходной комнате, через которую он несся со своею свитою, явно боясь как бы его не остановили, и не задержали.

Решительно подойдя к нему, я назвал себя, напомнил о нашей встрече у Я. Л. Сакера и попросил назначить день и час для приема нашей делегации. Поручив кому-то сговориться со мною, Керенский, невольно

оберегая висевшую на черной перевязи руку и всем телом подаваясь вперед, заспешил дальше. Ему, очевидно, было очень некогда.

В комнате, куда нас на следующий день ввели, было довольно много народу, все больше солдаты вперемежку с офицерами. Очевидно к назначенному нам часу был приурочен прием и других делегаций. Так оно выходило экономнее в смысле времени и убедительнее в смысле впечатления.

Керенский с такою быстротою вошел в комнату, что показалось он вбежал в нее. Одет он был в темную тужурку, рука по-прежнему покоилась в широкой черной повязке. Так как русская революция еще не знала весьма удобного для приветствования масс поднятия руки, то Керенскому пришлось обойти всех собравшихся и каждому пожать руку. Как некогда на рауте «Северных записок», он протягивал руку с близоруким прищуром и пожимал с приветливою улыбкой. Его похудевшее, пергаментное лицо было крайне оживлено, почти вдохновенно. Казалось, он вбежал к нам после ответственного выступления, волнение которого еще не отхлынуло от сердца. Новым в Керенском показалось мне некая военизация всего его образа, очевидно, дань революционной эпохе и его роли в ней.

По окончании речей председателей армейских делегаций, заговорил сам Керенский, громко и твердо, характерно разрывая и скандируя слоги слов. В его речи были стремительность и подъем. Он говорил, как власть имущий, патетически подчеркивая общенародный, миротворческий и демократический характер «великой русской революции». Было ясно, что Керенскому, как единственному среди членов Временного правительства кровному сыну революции (на Гучкове, Львове и Милюкове явно лежала печать адаптации), придется рано или поздно встать во главе ее. В ее центре он

уже стоял, соединяя в своем лице власть министра Временного правительства со званием товарища председателя Совета рабочих и солдатских депутатов.

Выступлением Керенского я лично остался вполне удовлетворен. Булюбаша и Звездича речь министра юстиции не оттолкнула, Иванова и даже Макарова очаровала – большего ожидать было нельзя.

В военную секцию Совета я собирался в большом волнении, боялся что оглашение нашего письменного протеста против приказа № 1-й будет на том основании отведено, что уже четвертого марта в Петрограде, за подписями Керенского и Чхеидзе было расклеено заявление, что приказ № 1-й не исходит от Совета рабочих и солдатских депутатов. Положение осложнялось еще тем, что злосчастный приказ, предлагавший солдатам подчиняться только Совету и вводивший в армию принцип выборного начальства, относился по своему точному смыслу исключительно к петроградскому гарнизону и фронтовых частей не касался. Особая трудность заключалась, наконец, в том, что никто из нас достоверно не знал, откуда появился приказ № 1-й, что, к слову сказать, в точности не выяснено и до сих пор. Милюков связывает появление приказа с происками швейцарского социал-демократа Гримма, уличенного впоследствии в сношениях с германским правительством, а Суханов считает его стихийным проявлением народно-революционного творчества. Боясь не одолеть всех этих трудностей, я решил начать с приказа № 1-й, но как можно быстрее перейти к вопросу принципиального отношения Совета к фронту и миру. Будучи лично с самого начала уверенным, что благополучная ликвидация революционного развала России возможна только на основе быстрого заключения, если и не почетного, то все же приличного мира, я этого своего положения по тактическим соображениям

высказывать не мог. Как фронтовик, я во всех своих выступлениях упорно отстаивал положение, что сохранение боеспособности армии одинаково необходимо как для продолжения войны, так и для заключения мира. Эту линию я решил вести и в Совете. Она не раздражала солдат, жаждавших замирения и не оскорбляла той части офицерства, которая мечтала о победоносном окончании войны.

Делегатов, которых в сравнительно небольшой комнате набилось довольно много, принимал постоянно одетый в торжественный черный сюртук И. Д. Соколов, большевик, но убежденный оборонец. За свою упорную и, надо сказать, мужественную проповедь продолжения войны, он был несколько месяцев спустя жестоко избит на фронте не желавшими идти в наступление солдатами. Вернулся он с белой повязкой на голове и в таком виде долго ходил по Таврическому, «напоминая своим видом правоверного из Мекки».

Человек благородный и как будто бы не глупый, Соколов, как правильно отмечает в своих «Воспоминаниях» Станкевич, как-то странно не попадал в такт и тон событий. Этою психологически-политическою тугоухостью объясняется и то, что наше объяснение с Соколовым приняло довольно резкий характер. Не чувствуя духа фронта и не учитывая, что его архибуржуазный вид и адвокатский апломб подрывают его авторитет у солдат, он говорил с нами уж очень поштатски, грубо вбивая клин классовой ненависти между господами офицерами и нижними чинами.

Защищая приказ № 1-й, составленный при его ближайшем участии, он бестактно рассказывал нам о роли, сыгранной петроградским гарнизоном в революции. У него выходило, что вольности приказа были дарованы гарнизону как бы в награду за его особые заслуги. Это раздражало солдат-фронтовиков, среди

которых уже давно росло возмущение постановлением Совета о не выводимости петроградского гарнизона из столицы. При таком подходе к вопросу и таком настроении солдат, мне было не трудно вызвать к себе их сочувствие указанием на то, что в Петрограде защищать революцию не от кого, так как на внутреннем фронте у свободной России врагов нет, но что ее необходимо защищать на фронте против германского империализма, который, соблазняя малодушных братанием, готовится к решительному наступлению.

– И мы, – говорил я, – благодарны петроградскому гарнизону за его мощную поддержку восстания, но нам непонятно его желание вознаградить себя за это тыловою безопасностью и дезертирством с главного фронта революции, который находится в окопах. Уставшим фронтовикам нужны сейчас более, чем когда-либо, свежие войска для борьбы против неприятеля и сознательные солдаты-революционеры для борьбы против темных и отсталых элементов фронта.

Протестовал я в своих препирательствах с Соколовым и против его попытки поссорить офицерство с солдатами. Признавая классовую структуру монархической России, я указывал на то, что искусственно вносить это зло в пореволюционную армию, всею своею природой предопределенной к его преодолению – верх безумия, если не преступления. Власть командующего армией над полковым командиром, – доказывал я, – ничуть не меньше, чем власть ротного над простым солдатом. Деление армии на приказывающих офицеров-буржуев и безоговорочно повинующихся нижних чинов-крестьян и рабочих не выдерживает потому ни малейшей критики. Среди прапорщиков, правда, много буржуев, но кадровые офицеры в сущности все пролетарии, живущие продажею государству своей рабочей силы, причем по столь низкой цене, что для них

совершенно невозможна покупка пролетарского труда в виде акций и рент. Как и пролетарии, они поставлены в обществе так, что их детям ничего не остается, как из поколения в поколение оставаться как социально, так и материально в тяжелом положении своих отцов и дедов.

Наряду с этой мыслью, убедительной прежде всего для тронутых марксистской пропагандой солдат-партийцев, я особенно горячо развивал свое любимое соображение о том, что в армии все солдаты, независимо от чина, уравнены постоянным стоянием перед смертью, причем процент павших среди офицеров скорее больше, чем среди солдат. Если бы товарищ Соколов по собственному опыту знал, как это знают собравшиеся здесь товарищи делегаты, какую объединяющую силу представляет собою боевое крещение, он, как штатский адвокат, отказался бы от попытки ненавистнически-партийною агитацией поссорить тех, которых братски объединила сверхпартийная, боевая жизнь. Смысл переживаемого нами момента не в том, чтобы нести в армию ту рознь, которая до войны господствовала в обществе, а в том, чтобы преобразовать новое общество по образу того единства, которое выковывается между людьми в действующей армии.

Солдаты дружно аплодировали мне: апелляция к фронтовому переживанию всегда производила большое впечатление. Я знал, что действующая армия своим, как бы классовым врагом, ощущала не столько буржуя и помещика, сколько тыловика. Признаюсь, что я пользовался этою враждою к тылу иногда не без некоторой демагогии. Но вполне честная борьба была невозможна.

Открывая вечернее заседание нашей делегации в моем номере, я был почти уверен в общем одобрении моего выступления в Совете. Моя уверенность оказалась

не вполне обоснованной. Полное одобрение нашего секретаря и Николаева мало чего стоило, так как оба они были типичными обывателями без всякого личного мнения. Что же касается социал-демократов, то Иванов, после некоторых разъяснений, присоединился ко мне, Макаров же убежденно доказывал, что из того, что буржуй и оборонец Соколов, поддерживающий во внешней политике Милюкова, глупо защищал классовую точку зрения, совсем еще не следует, что сама точка зрения не верна. Он неглупо упрекал меня в том, что отрицание классовой борьбы на фронте таит в себе желание обуздать революцию, только что начинающую развертывать свои великие возможности. Сознательность и явная марксистская начитанность Макарова, главным же образом то классическое презрение, с которым он говорил о мелкобуржуазной тенденции ликвидаторов классовой борьбы, и поражала, и раздражала моих капитанов, и мне было нелегко бороться с их желанием заговорить с товарищем Макаровым «настоящим» русским языком.

Так в одной капле революционного океана, какую представляла собою наша делегация, отражались полностью все трудности того «объединения всех живых сил революции», которое было и пафосом и целью Керенского. Не мудрено, что когда за спиною бесчисленных Макаровых поднялась грандиозная фигура Ленина, а за спиною Булюбашей и Звездичей встал на защиту России прямолинейно-честный, доблестный, но неискушенный в вопросах политики генерал Корнилов, то «Февралю» пришел трагически-бесславный конец.

Вопрос о том, можно ли было избежать этого конца, отнюдь не праздный вопрос, как это думают фаталисты. Наряду с категорией «необходимости», категория «возможности», как о том писал еще Н. К. Михайловский,

имеет свое вполне законное место в социологии. Лишь ответом на вопрос, почему и кем были загублены великие возможности «Февраля», можем мы себе выяснить стоящие перед Россией задачи. Последний же смысл всякого историоведения не в невозможном по существу академически-бесстрастном восстановлении картины прошлого, а в покаянном отыскании творческих путей в будущее.

Вернувшись с делегацией на фронт, я вскоре снова попал в столицу, но уже в качестве делегата Юго-западного фронта в Совет рабочих и солдатских депутатов.

Вспоминая бесконечные фронтовые собрания, приведшие меня в Петроград, я с особою живостью вижу перед глазами как мы с командиром Иваном Владимировичем, который после долгих уговоров решился поехать посмотреть на торжество революции, и с Евгением возвращались с многолюдного корпусного съезда в третью батарею. Ехали мы в небольшой пролетке, душевно и физически тесно прижавшись друг к другу. В ушах стоял звон революционных речей и гром дружных аплодисментов. Перед глазами волновалось солдатское море. Был поздний послеобеденный час. Дул резкий, ранневесенний ветер. Кругом уныло бурели голые холмы. В чужой, австрийской стране машисто бежал под иркутскою дугою огромный мерин убитого солдатами в обозе фельдфебеля Синицына. Всматриваясь в подпрыгивающую в облачном небе дугу и вспоминая черную, дождливую ночь 1915-го года, которою я ехал с позиции в обоз для расследования убийства, я неожиданно для себя спросил Ивана Владимировича:

– Помните Синицына? Что бы он сказал, видя все, что сейчас происходит?

– Еще бы не помнить, – отозвался командир и, словно отвечая на мои мысли, угрюмо прибавил: – хорошо

вы сегодня говорили, здорово насыпали большевикам, а все же, дорогой мой, ихняя возьмет и все мы, как Синицын, кончим. Идеалистическая водица отжурчит и пойдет бушевать кровь.

Я, конечно, что-то возражал Ивану Владимировичу, но без настоящей убежденности. Никогда и ни к чему у меня не было такого сложного и противоречивого отношения, как к Февральской революции.

О своей деятельности в Совете мне рассказывать почти нечего. Как и большинство членов этого бесформенного и громоздкого учреждения, я в нем мало что делал, если не считать делом произнесение речей в комиссионных и пленарных заседаниях. Быть может, мои речи и производили некоторое впечатление, но в ходе событий они, конечно, ничего не меняли. Из моего апрельского безделья у меня осталось лишь одно, притом очень тяжелое воспоминание.

18-го апреля, в связи с внешней политикой Милюкова, между Временным правительством и Советом вспыхнул настолько серьезный конфликт, что генерал Корнилов, командовавший в то время Петроградским военным округом, решил вызвать кавалерийские части для защиты Мариинского дворца, в котором заседало правительство.

Эта мера вызвала страшное негодование весьма амбициозного во всех отношениях Совета, Исполнительный комитет тут же постановил запретить солдатам петроградского гарнизона выходить на улицу с оружием в руках без соответствующего распоряжения Исполнительного комитета. После принципиального принятия этого бессмысленного решения, Исполнительным комитетом была по обыкновению назначена редакционная комиссия для окончательной выработки текста воззвания к гражданам и солдатам. В эту комиссию попали большевики Стеклов и Каменев и, по предложению

спешившего куда-то эсера Гоца, в качестве его заместителя, я. Я пытался было протестовать, но Гоц уговорил меня: речь де идет только о литературном оформлении уже принятого решения.

Будь я в то время искушеннее в политической борьбе, осмотрительнее и энергичнее, я, быть может, и сумел бы добиться более осторожной формулировки воззвания, чем та, которая была принята при моем участии. Но я был не только малоопытен, но и исполнен того, сковывавшего мою волю уныния, которое всегда наводил на меня шумный Совет.

Стеклов, Каменев и я стояли у окна. Близко у моих глаз свисала с жирного, заплывшего лица Стеклова длинная купеческая борода и вздрагивало пенсне на типично интеллигентском мелком лице Каменева. Я смотрел на своих соредакторов-интернационалистов, вспомнил разбитую в Галиции под Горлицею Корниловскую дивизию, защищавшуюся с предельным героизмом и, чувствуя, что сплю наяву, тщетно силился проснуться, чтобы освободиться от жгучего стыда за всё происходящее.

Как известно, генерал Корнилов, несмотря на разъяснение Временного правительства, что воззвание Исполнительного комитета имело, по-видимому, целью предупредить и обезвредить попытки вызова войск отдельными людьми и группами и отнюдь не посягало на умаление власти командующего округом, все же вышел в отставку и отправился в действующую армию. Да и как он мог поступить иначе, раз постановление Совета, что каждое распоряжение о выходе воинской части на улицу (кроме обычных нарядов) должно быть выдано на бланках Исполнительного комитета, закреплено его печатью и подписано не менее чем двумя его членами, оставалось и после разъяснения не отмененным.

Совет рабочих и солдатских депутатов, каким я его застал в начале апреля, был по сравнению с Советом

первых мартовских дней учреждением относительно упорядоченным и организованным. Нестерпимый произвол отдельных членов его Центрального комитета был после появления Церетели значительно ограничен. Прекратились самочинные аресты «врагов революции» отдельными комитетчиками и анархические захваты помещичьей земли инициативными крестьянскими группами на основании неизвестно кем выданных и подписанных разрешений на комитетских бланках с печатью. Орган ЦИК-а «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» был изъят из ловких рук беспринципного Стеклова и отдан под более или менее строгий контроль редакционной комиссии.

У фракций и комиссий были уже свои комнаты, в них деловито стучали пишущие машинки. В буфете были вилки и ложки. Самое же главное упорядочение заключалось в том, что нужного тебе человека в Совете, хоть и не без труда, но все же можно было найти.

В марте все друг друга искали, но редко кто кого находил, чем отчасти объясняется то, что случайные встречи где-нибудь в коридоре или буфете давали событиям то или иное направление. Встреча Суханова с Богдановым давала право-циммервальдскую реакцию на события, а встреча Стеклова с Сухановым придавала тем же событиям лево-циммервальдский крен. Всюду царствовали случай и импровизация.

Как известно, самые примитивные организмы размножаются делением. Наши социалистические партии размножались таким же быстрым и примитивным способом. Если считать не только вполне выкристаллизовавшиеся партии, но также и более или менее определившиеся течения, то можно без труда насчитать почти что с дюжину социалистических группировок. У народников: трудовики, народные социалисты, социалисты-революционеры и левые эсеры-полукоммунисты;

у марксистов: группа «Единства», меньшевики, распадающиеся на центр и левый фланг, межрайонцы, большевики и бундисты. Главным пунктом расхождения между всеми этими группами был, если и не всегда прямо ставившийся, то во всех прениях неизменно присутствовавший вопрос о взаимоотношении России и революции.

На правом фланге этого многопартийного социалистического фронта твердо стояла, защищая Россию от углубления революции, старая гвардия социализма: идеолог, историк и вождь русского марксизма, Плеханов, анархист Кропоткин и «славные» народовольцы – Брешковская и Чайковский. Никто из них никакой заметной роли в Совете не играл, лишь раз или два первые трое были «выпущены» Центральным исполнительным комитетом по какому-то торжественному случаю. Впечатление было тяжелое: «стариков» слушали как знаменитых, но уже давно безголосых певцов.

Центр занимали трудовики, правые социалисты-революционеры, имевшие крепкие связи в крестьянстве, и меньшевики, предводительствуемые вернувшимся в конце марта из сибирской ссылки Церетели.

Тактическая линия этого блока народников и марксистов заключалась в верности союзникам, в продолжении войны с немецким империализмом и в условной поддержке буржуазного Временного правительства. Все это в первую очередь, ради спасения революции.

На левом фланге стояли меньшевики-интернационалисты, возглавляемые Мартовым и Сухановым, левые социалисты-революционеры, во главе которых первое время орудовал Александровский, а впоследствии Комков, и межрайонцы, то есть недоопределившиеся большевики, возглавляемые до их перехода к большевикам Троцким и Луначарским.

Лица России, души России, судьбы России в этом лагере никто не чувствовал. Все мысли и все страсти

отдавались здесь революции, ее «закреплению» и «углублению». Союзническую демократию и хор ее социалистических подголосков, «товарищей» Тома, Вандервельде и Гендерсона здесь ненавидели больше, чем немецкую социал-демократию. Главным смыслом существования Временного правительства здесь считалась самокомпрометация буржуазии в глазах рабочего класса, то есть подготовка перехода власти к Советам. Главною целью пролетарской политики признавался разрыв с союзниками и немедленное заключение мира. На обвинение, что сущность этой программы сводится, в конце концов, к проповеди сепаратного мира, сухановская «Новая жизнь» остроумно, но, конечно, несерьезно, отвечала, что о сепаратном мире не может быть и речи; в случае, если бы Германия после разрыва революционной России с союзническим империализмом не пошла на всеобщий честный мир, «без аннексий и контрибуций», русская революция объявила бы ей «сепаратную войну».

Перечисляя течения левого, циммервальдского фланга в Совете, я сознательно не упомянул Ленина и большевиков на том основании, что прибывший в Петроград Ленин ни минуты не чувствовал себя левым флангом многофракционного социалистического фронта, а с самого начала утверждал себя всеопределяющим центром событий. От своих соседей по фронту, от меньшевиков-интернационалистов, его отделяла непреодолимая психологическая бездна. До прибытия Ленина, Суханов и Мартов развивали в Исполнительном комитете Совета сложнейшие теории; если бы эти теории не носили отвлеченно-кабинетного, не применимого к жизни характера, то можно было бы, пожалуй, говорить об умнейших теориях. Ленин всему этому сразу положил конец. Даже и ближайшим его товарищам по партии его первые петроградские речи показались полною идеологической бессмыслицей, не имеющей ничего

общего с марксизмом. Но Ленин знал что делал: его «глупые» речи были вовсе не глупы, так как они были не речами, а парусами для уловления безумных вихрей революции.

Перечисленные фронты не были незыблемыми фронтами: они неустанно ломались и пересекались под влиянием неустойчивых элементов среди революционных вождей. Так, вездесущий в первое время революции Стеклов перед тем, как окончательно пристать к большевикам, долго околачивался около меньшевиков. С ним же шел нога в ногу и большевик Каменев, писавший поначалу в «Известиях» передовицы, которые могли бы принадлежать и перу Чернова. Один из самых крупных и на марксистский лад образованнейших вождей Совета Дан долгое время твердо поддерживал определенного государственника Церетели, но потом начал понемногу подаваться в сторону мартовского интернационализма.

Главною особенностью фракционной и межфракционной советской работы было то, что по всякому малейшему поводу неизбежно поднимались все принципиальные вопросы социалистической тактики и идеологии. О чем бы ни говорили, в сущности всегда говорили о природе буржуазной и пролетарской власти, о значении русской революции для пролетарского интернационала, об анархии капиталистического производства, о принципе планового хозяйства, о социалистах оборонцах, как об «агентах» мировой плутократии и о Стокгольмской конференции социалистических меньшинств.

Все эти вопросы обсуждались как бы в придаточных предложениях и тогда, когда они не стояли на повестках заседаний. Происходило это потому, что советских деятелей интересовали в сущности только идеологические журавли в небе, с синицами же практических задач они решительно не знали что делать. В этой

идеологической исступленности главарей революции кроется одна из главнейших причин перманентного кризиса власти Временного правительства.

Постоянно злостно критикуемое и даже перестраиваемое Советами, Временное правительство не могло твердо и планомерно перестраивать страну. Разрыв же с Советом был для него если и не вполне невозможен, то во всяком случае крайне затруднителен, так как, несмотря на свою практическую беспомощность и свою идеологическую хаотичность, Совет был как для рабочих, так и для солдат наиболее авторитетным органом революции.

Планомерно управлять страною Совет не мог, хотя бы уже из-за отсутствия аппарата управления, но он успешно действовал в качестве некой политической пожарной команды. Всюду, где вспыхивали конфликты между офицерами и солдатами, рабочими и фабричной администрацией, где на революцию поднимались уголовные элементы, – сразу же появлялись наиболее авторитетные члены Центрального исполнительного комитета, которым, в этом надо признаться, почти всегда удавалось своими речами залить разгорающуюся стихию. Только этим, в сущности безвластным авторитетом Совета и объясняется то, что председатель Государственной Думы Родзянко обращался, как отмечает Милюков, с просьбою предоставить ему поезд и конвой не во Временное правительство, а в Центральный исполнительный комитет, что с тою же просьбой обращался в Совет и великий князь Кирилл Владимирович, что арестованные в первые дни революции царские чиновники не были растерзаны толпою, что революционный Петроград был сравнительно быстро приведен в порядок и снабжен исчезнувшим в последние дни царского режима продовольствием. Сомневаться невозможно: единственною силою, способною

проявлять власть, был, над самим собою безвластный, охваченный хаосом Совет.

Объясняется этот загадочный факт скорее всего тем, что человек, как уже в древности учил Гераклит, познает, а потому, вероятно, и признает лишь то, что тождественно ему. Душою революции был хаос, оттого и авторитетом для революционных масс мог быть только хаотический Совет. Подтверждением этого предположения служит то, что по мере организации Совета, массы начали заметно отходить от него. В момент, когда Исполнительный комитет обрел власть над самим собою и Советом, он потерял всякую власть над массами.

Внимательно всматриваясь в первые недели своего пребывания в Совете во взаимоотношения вождей и ведомых ими масс, я не раз подмечал характерную, как мне кажется, для всех революций связь между рационалистической идеологией первых и иррациональной психологией вторых. Характернейшею чертою всех призванных вождей советской демократии было то, что они смотрели на мир не живыми глазами, а мертвыми точками зрения. Эти мертвые точки зрения порождали однако жизнь. Когда вожди в своем агитационном исступлении взвинчивали свои точки зрения до предела, до безумия, глаза масс наливались горячею кровью. Кажется, среди всех отравляющих массовую душу ядов нет яда более сильного, чем яд беспредметного утопизма.

В основе всех социалистических утопий лежало чувство, что революция представляет собою нечто более реальное, чем Россия. Лишь этим чудовищным смещением основных планов бытия и объясняются, как мне кажется, все непоправимые ошибки и даже преступления наших социалистов – интернационалистов. В своем безудержном восторге перед гением революции они бесчувственно разрушали живую Россию.

Мне их восторг был всегда чужд и непонятен. Для меня суть всех мировых революций заключается в преступлениях отцов и дедов перед детьми и внуками, исправляемых не меньшими преступлениями детей и внуков перед отцами и дедами. Не признавать справедливости революционной расплаты за грехи прошлого нельзя, но восторгаться революциями по меньшей мере излишне.

Такой трезвый взгляд на революцию казался нашим революционерам ее умалением. Они видели в ней некоего светлого архангела, осчастливившего Россию своим внезапным появлением в ней.

Считая такие отвлеченные социологические категории как буржуазия, пролетариат, интернационал, за исторические реальности, Россию же лишь за одну из территорий всемирной тяжбы между трудом и капиталом, наши интернационалисты естественно ненавидели в России все, что не растворялось в их социологических схемах: крестьянство, как народно-этнический корень России, православие, как всеединящий купол русской культуры, и армию, как оплот национально-государственной власти. На борьбу с этими силами и была потому сознательно и бессознательно направлена вся их страстно кипучая деятельность.

Крестьянство рассматривалось марксистами-интернационалистами и оторвавшимися от своей народнической базы левыми социалистами-революционерами, как некое сырье, подлежащее переработке в социологически-первокачественный, т. е. в интернационалистически настроенный пролетариат. В отношении православия они ставили своею задачею его разоблачение, как орудия для угнетения масс. В отношении армии они преследовали цель ее перевоспитания в передовой отряд рабочего интернационала.

Те, кому эти слова покажутся несправедливым преувеличением, пусть прочтут умные, интересные и по-своему

даже справедливые «Воспоминания» Суханова. «Непосредственное участие армии в революции было, – пишет Суханов, – не что иное, как форма вмешательства крестьянства, форма его проникновения в недра революционного процесса. С моей точки зрения марксиста и интернационалиста, это было совершенно неуместное вмешательство, глубоко вредное проникновение и притом вовсе не обязательное вообще, а обязанное лишь особому стечению обстоятельств. Жадное до одной земли, направив все свои государственные мысли к укреплению собственного корыта, а все свои гражданские чувства к избавлению от земского и урядника, крестьянство, будучи большинством населения, имело все шансы пройти стороной, соблюсти нейтралитет, никому не помешать в главной драме на основном фронте революции. Пошумев где-то в глубине, подпаливши немного усадеб, поразгромив немного добра, крестьянство получило бы свои клочки земли и утихомирилось бы в своем идиотизме сельской жизни. Гегемония пролетариата в революции не встретила бы конкуренции и единственно революционный и социалистический по природе класс довел бы революцию до желанных пределов».

Как социалисты-интернационалисты не понимали крестьянства, так не понимали они и офицерства. Со словами доблесть, честь, верноподданничество, присяга, подвиг, боевое крещение – они не связывали никаких положительных представлений. Для них это были не только пустые, но и кощунственно-лживые слова. Там, где офицерство переживало величайшую трагедию, вожди пролетариата видели всего только притворство и ложь. Им и в голову не приходило, что офицер, вынянченный денщиком и просидевший всю войну вместе с солдатами в окопах, способен любить своих солдат с такою глубиною и нежностью, о которой

им, чуждым народу специалистам по классовой борьбе, трудно создать себе хотя бы приблизительное представление.

Я уверен, что подсознательная ненависть Совета к офицерству сыграла в разложении армии более отрицательную роль, чем политически непродуманные меры Временного правительства.

Особою ненавистью к офицерству отличался Стеклов. На соединенном заседании Советов он с пеною у рта требовал вызова из Ставки контрреволюционных генералов и объявления их вне закона, «чтобы каждый мог их раньше убить, чем они занесут свою руку для смертельного удара по революции». И такие речи во всеуслышание произносились в дни «бескровного» начала великой русской революции.

Вспоминая заседания Советов, я не вижу ни зала Таврического дворца, ни его фасада, ни окружающего его сада. Черно-серая, рабоче-солдатская масса шумит, волнуется и столпотворит в моей памяти не среди стен, не под крышей, а в каком-то бесстенном пространстве, непосредственно сливаясь с непрерывно митингующими толпами петроградских улиц. В этих туманных, призрачных просторах перед моими глазами плывет покрытый красным сукном стол президиума, и неподалеку от него обитая чем-то красным кафедра.

С этой кафедры, в клубящихся испарениях своих непомерных страстей и исступлений, сменяя один другого, ночи и дни напролет говорят, кричат и чрезмерно жестикулируют давно охрипшие ораторы. Жара, как в бане, духота, нагота: во всех речах оголенные лозунги, оголенные страсти. А в толпе на стульях и скамьях безвольная разомкнутость душ и тел, которых мучает, гнетет и вгоняет в сонную одурь предельное изнеможение.

То и дело вскакивавшие на красную кафедру вожди революции были, конечно, весьма различными людьми

и весьма разнокалиберными политиками, но все они были связаны друг с другом неким общим, как бы семейным сходством. Пройденный почти всеми ими тюремно-ссыльный стаж придавал их революционному исповедничеству одинаковую ноту нервной озлобленности; к тому же все они говорили на одном и том же специфически революционном жаргоне. На этом жаргоне беспартийный интеллигент назывался «пленником буржуазии», буржуазный политик – «агентом капитала», не верующий в Маркса социалист – «мелкобуржуазным обывателем», крепкий крестьянин – «хозяйчиком», сильный, но правый человек – «бонапартенышем», прокурор святейшего Синода – «святейшим прокурором», левый бандитизм – «волеизъявлением трудовых масс», хозяйственная озабоченность крестьянства – «проявлением черносотенного хулиганства», развал России – «углублением революции».

Среди лево-советских вождей было несколько очень недурных ораторов, но речи их досадно портились специфически революционным штампом. Между цветами красноречия всюду колко торчала проволока мертвой идеологии.

Будучи, как мне кажется, от природы справедливым человеком и сознательно стараясь не изменять этому своему природному качеству при описании советских вождей, я все же должен сказать, что, за исключением архаически-монументального Ленина, импрессионистически-острого и надменно-умного Троцкого и честного, чистого, мужественно-прямого Церетели, типичного белозубого кавказца, с печальными, ланьими глазами, среди советских вождей было очень немного хотя бы мало-мальски значительных людей.

Бессменным председателем ЦИК'а Всероссийского совета сидел за красным столом «старик» Чхеидзе, сутулый, седеющий грузин, не очень образованный теоретик

и мало самостоятельный политик, но всеми уважаемый человек, умевший при случае принять проконсульскую позу и дать «достойную» отповедь врагам Совета.

В первое время, в качестве его ближайшего подручного в Совете, «засучив рукава», энергично подвизался очкастый, потный Богданов с шишкою на лбу. Целыми днями, а если нужно и ночами, принимал он делегации с мест и, не задаваясь теоретическими тонкостями, довольно успешно справлялся с революционной неразберихой. Без него Чхеидзе пришлось бы очень трудно.

На эстраде в те дни чаще других появлялся громадный, громкий, наглый бородач Стеклов, лютый анархо-марксист, автор небрежно написанных, но во многих отношениях все же ценных исследований о Бакунине.

Рядом с ним действовал уже упоминавшийся Соколов в своем благородно-неуместном черном сюртуке и беспартийно-марксистский чистоплюй Суханов, умный созерцатель и никчемный деятель революции, редактировавший талантливую, но непереносимую по духу и тону горьковскую «Новую жизнь».

С приездом Церетели все эти деятели сразу же отошли на второй план, а на первый вместе с новым вождем Совета выдвинулись у меньшевиков Дан, Либер и Мартов, а у эсеров – Чернов и Абрам Гоц.

Мне кажется, что наиболее значительным теоретиком и человеком среди всех этих людей был Мартов, не игравший однако в Совете большой роли. Тою тончайшею паутиною, которую умно и последовательно плел в своих речах этот бескомпромиссный меньшевик-интернационалист, нельзя было связать руки Ленину. Впрочем, и независимо от своей теоретической позиции, Мартов никогда не мог бы играть в Совете выдающейся роли. Человек тонкого ума, очень больших специальных знаний и живой совести, Мартов мог иной раз подняться в своих речах до высоты подлинного

нравственного пафоса, но он не был человеком тех быстрых и упрощенно-определенных решений, без которых нельзя было вести революционную массу. Не был он и оратором, способным захватить большую и чужеродную аудиторию. Этому мешал и его вид, уныло-скорбного Альтмановского еврея, косоплече и вислоруко свисавшего с кафедры, его сиплый небольшой голос и дикционная неотчетливость речи.

Гораздо менее существенными людьми были остроглазый, одутловатый хрипун, меньшевик-централист Дан и щуплый, похожий на гнома, темнобородый бундовец Либер, постоянно выступавшие по каждому более или менее важному вопросу.

Одно время популярность этих первопланных, но, как мне казалось, второстепенных деятелей была так велика, что враги Совета так и говорили: «А что сегодня опять либерданили в Таврическом?» «Либерданить» означало нести ерунду. Ерунды ни Либер, ни Дан не несли, оба были очень неглупыми людьми, но беспредметность их мышления была поистине потрясающа. Лишь по тактическим соображениям поддерживая твердую линию Церетели, они в тайниках своей души все же тяготели к мартовскому циммервальдизму и потому постоянно осложняли все решения ненужными, хитроумными размышлениями и предложениями. Не страшись они Ленина, что особенно относится к Либеру, они никогда не пошли бы за Церетели. Ни большого государственного разума, ни внутренней связи с Россией я в их выступлениях никогда не чувствовал. Их речи всегда производили на меня впечатление какой-то идеологической жвачки. Оба были типичными представителями того социалистического «болота», в котором, несмотря на свою прямоту и энергию, в конце концов, увяз долгоногий Церетели.

В противоположность унылым и при всей своей внешней активности все же скучным «либерданам»,

вождь эсеров В. М. Чернов представлял собою импозантное и даже красочное явление. На первый взгляд типичная «светлая личность» – высокий лоб, благородная шевелюра – Чернов остался у меня в памяти все же довольно смутным явлением.

Та легкая раскосость облачно-мутного взора, которая появлялась у него в минуты наибольшего ораторского подъема, была не простою мимическою случайностью. В ней явно отражался свойственный этому талантливому вождю дар оппортунистически-артистического приспособленчества. Чрезмерной «пластичности» черновского сознания как нельзя лучше соответствовали его ораторская манера и его полемические приемы. Серьезный теоретик модернизированного под влиянием марксизма неонародничества, Чернов, как оратор, не стеснялся никакими приемами, способными развлечь и подкупить аудиторию. В его самовлюбленном витийствовании было нечто от развеселого ярмарочного катанья: то он резво припускал речь, словно бубенцами звеня каламбурами, шутками и прибаутками, то осанисто сдерживал ее, как бы важничая медленною поступью своих научных размышлений.

Опытный «партийный деятель» и типичный «язык без костей», Чернов, среди наполнявших Таврический дворец эсеров, неизменно имел шумный успех. И все же он ни в качестве партийного вождя, ни в качестве министра не оставил после себя более или менее значительных следов. Для крупного политика ему не хватало принципиальности убеждений, твердости воли и того дара, которым бесспорно владел Ленин: бесстрашия перед временным отливом популярности у масс и приближенных. За Черновым идти было невозможно, потому что, оглядываясь во все стороны, он, в конце концов, вращался только вокруг себя.

Я набросал портреты лишь тех лидеров, на долю которых, отчасти вопреки их собственной воле, была

самою судьбою возложена задача сохранения в массах тех хаотических сил, которые были необходимы для большевистского углубления революции.

Были во Всероссийском совете и его Исполнительном комитете, конечно, и другие люди, но они или бездействовали, или переносили свою деятельность за стены Совета. Так ушел комиссарствовать в армию приват-доцент уголовного права, честный, дельный трудовик Станкевич. Не играл никакой роли в Совете Зензинов, один из самых скромных и светлых эсеров. Чем он в то время был занят, мне в точности неизвестно. Кажется, своею главною задачею он уже и тогда считал опекание и оберегание Керенского. Остался в тени и Н. Д. Авксентьев, председатель Совета крестьянских депутатов и впоследствии министр внутренних дел. Очевидно, ни его барственно-львиная наружность, ни его кроткая и безвольная душа не подошли к Таврическому дворцу.

То же самое можно сказать и о Бунакове. Этот изумительный оратор, насколько я знаю, вообще не появлялся на трибуне. Ему, как он впоследствии не раз говорил мне, с первых же дней революции стало до полной безнадежности ясно, что все усилия окажутся напрасными и что Россия, в своем стихийном саморазрушении, неизбежно дойдет до конца, до гибели. Назначенный впоследствии комиссаром Черноморского флота при адмирале Колчаке, Бунаков действовал энергично и успешно, но никакие частичные успехи не могли уже спасти России.

Несмотря на то, что наиболее значительные лидеры Совета во главе с Церетели прилагали все усилия к поддержке Временного правительства, а Ленин по тактическим соображениям долго держался в стороне, как бы примериваясь и присматриваясь к соотношению сил в стране, Совет рабочих и солдатских депутатов

только и делал, что расшатывал авторитет поддерживаемого им правительства. В конце апреля он принудил уйти в отставку Гучкова, в первых числах мая – Милюкова и Львова.

Описание сложной, многоперипетийной борьбы между Временным правительством и Советом не входит в мою задачу, так как за работой Временного правительства я не следил и членов его видел только изредка и издалека: раз на соединенном заседании четырех Государственных Дум, а затем на знаменитом заседании в Мариинском дворце, где обсуждался вопрос коалиционного министерства.

О том впечатлении, которое на меня произвели Гучков и Львов, я уже говорил. Милюков был, конечно, гораздо более искушенным политиком, чем Гучков, и гораздо более твердым человеком, чем князь Львов, но в вожди революции он так же мало годился, как ушедший до него военный министр и министр-председатель Львов.

Хороший скрипач-любитель, Милюков оказался весьма тугим на ухо министром иностранных дел. Дальше я буду подробнее говорить о том, какую роковую роль сыграло в революции то, что Милюков не расслышал отнюдь не только шкурнической, но по существу праведной тоски русского народа по замирению. Этою глухотою, связанной с безрелигиозностью всего русского западничества только и объясняется, по моему глубокому убеждению, то доктринерское упрямство, с которым Милюков проводил свою верную союзническим договорам империалистическую политику.

Надо ли говорить, что настойчивость Милюкова, пытавшегося и после взрыва революции направить Россию по тому пути, который был им выработан в предположении, что в России произойдет не низовая революция, а дворцовый переворот, не имела ничего

общего с тою твердою волею, которая, в связи с даром быстрого учета переменившейся обстановки, отличает прирожденных вождей масс. Таких вождей среди членов Временного правительства не было. Все это были во многих отношениях замечательные люди: честные, жертвенные и талантливые, которых ни один разумный и справедливый историк не сможет упрекнуть в корыстной защите своих классовых интересов – но не вожди.

Люди власти нелегко уходят от власти. Профессионалы политической борьбы, они защищаются до конца, прибегая часто и к сомнительным средствам. Временное же правительство первого созыва распустило себя, несмотря на данное народу обещание довести страну до Учредительного собрания, далеко не использовав находившихся в его распоряжении средств борьбы с Советом. Гучков, Милюков, а затем и князь Львов покинули свои посты, не считая для себя возможным нести ответственность за потакание Совету, а оставшиеся министры пошли по пути сговора с Советом, не понимая того, что всякой, не парламентарно-условной, а революционно-безусловной оппозиции и надлежит бороться не за победу своих взглядов во вражьем стане, а за уничтожение власти своего политического врага.

Декларация Временного правительства, опубликованная в связи с его первым преобразованием, вернее с его развалом в мае месяце, является лучшим подтверждением правильности моей характеристики.

«Основою политического управления страной Временное правительство избрало не принуждение и насилие, но добровольное подчинение свободных граждан суверенитету свободно избранной ими парламентской корпорации. Никогда оно не искало себе поддержки в физической, а всегда только в моральной силе. С тех пор как оно существует, Временное правительство

ни разу не изменило этим принципам, а потому оно торжественно слагает с себя ответственность за пролитую кровь. Им не было пролито ни капли народной крови».

Приводя в своих воспоминаниях это «завещание» Временного правительства, низвергнутый большевиками Керенский еще в 1922-м году «открыто» признается, что, несмотря на все пережитое, он не может перечитывать прекрасные слова Временного правительства без «сердцебиения и душевного подъема».

Нет спору, прекрасные слова, но все же вряд ли уместные в устах революционной власти в момент наступления на нее «безответственных элементов», стремящихся – как это прекрасно понимали не только уходившие, но и остававшиеся члены Временного правительства – «разгромить родину и революцию».

Моей душе мало что так претит, как мракобесное издевательство над «либеральною близорукостью», «интеллигентской мягкотелостью» и «красноречивым празднословием нашей интеллигенции», в котором с первых же дней революции состязались наши, только что бездарно выпустившие из своих рук «историческую власть», монархисты с большевиками, без стеснения разжигавшими, ради захвата власти, анархически-шкурнические инстинкты революционных масс.

Осуждая бессилие и безволие Временного правительства, я осуждаю его не за то, что оно до конца пыталось защитить свободу, которую ненавидели его враги, а за то, что оно недостаточно энергично защищало ее от всех свободоненавистников.

То, что Временное правительство не считало возможным осуществления образа будущей свободной России насилием, с моей точки зрения, только правильно. Образ истины тем и отличается от доктринерских выдумок, что истина не осуществима без доверия

к свободе. Но одно дело не принуждать людей к осуществлению добра и совсем другое – не сопротивляться силою тому злу, которое всеми средствами борется против его осуществления.

Гнать солдат пулеметами в наступление на защиту родины и свободы не только нравственно недопустимо, но и практически бессмысленно: они все равно разбегутся. Но при случае, если нет иного выхода, то расстреливать трусов и шкурников, стреляющих в спину наступающим по приказу правительства добровольцам, не только целесообразно, но и нравственно допустимо.

Поскольку с Временного правительства не может быть снята ответственность за то, что оно своею мягкостью и нерешительностью потакало наступающему злу, постольку с него, вопреки его воззванию, не может быть снята и ответственность за пролитую в революцию кровь.

Седьмого мая в Каменец-Подольске должен был собраться армейский съезд Юго-Западного фронта. Не видя большого смысла в своем пребывании в Совете и надеясь повлиять на течение съезда, я решил отправиться в армию.

Встреча с товарищами, по которым я очень соскучился, была дружественною и радостною, ни в малейшей степени не омраченной моим членством во враждебном офицерству Совете рабочих и солдатских депутатов. Щуря свои калмыцкие глаза, Иван Димитриевич, правда, подтрунивал над моею политическою деятельностью, но в глубине души все же одобрял ее.

В батарее все еще держалась строгая дисциплина. Все офицеры были на местах и солдаты в полном подчинении. У себя в части мне, слава Богу, не пришлось произносить никаких увещевательных речей в защиту воинской дисциплины и командного состава. Некоторая

трудность заключалась лишь в том, что солдаты встретили меня не только как своего старого офицера, но и как их нового защитника, с безмолвною, но твердою надеждою в глазах, что и я вместе с ними за скорое замирение.

Разговоров на эту тему я в своей бригаде избегал, но и без разговоров я чувствовал, что понять офицеров, которые по-старому за войну до полной победы, солдаты уже не в силах. «По простоте, по-хорошему, по-человечески, по совести, – как правильно пишет в своих «Воспоминаниях» Станкевич, – у солдат выходило иначе», потому они и от меня ждали, что я, как их представитель, вразумлю не сдающихся начальников. Все это было очень сложно и трудно, в особенности для меня, который в душе стоял на солдатской точке зрения, внешне же, за полною невозможностью правильной политической проекции солдатского миролюбия, твердо вел оборонческую линию.

Остававшееся у меня до съезда, время я проводил в разъездах по фронту, выступая всюду с разъяснениями оборонческого курса Временного правительства и с разоблачениями бессмысленности и преступности большевистских призывов к немедленному миру.

Во всех моих выступлениях меня дельно и мужественно поддерживали армейские комитеты, превратившиеся за время моего отсутствия в очень ценную фронтовую силу. Весьма распространенное среди кадрового офицерства и в право-обывательских кругах мнение, что созданные Всероссийским советом армейские комитеты послужили главною причиною развала дисциплины армии, формально и по существу неверно, ибо, во-первых, комитеты упрочились в армии лишь после того как опубликованное Петроградским советом в марте месяце постановление об их созыве было в апреле по всей форме и безо всяких изменений

подписано военным министром, а, во-вторых, не подлежит ни малейшему сомнению, что без буфера комитетов солдатская масса очень быстро вышла бы из подчинения командному составу и пошла бы за большевиками.

Конечно, если бы Комитет Государственной Думы сразу же, еще до образования Петроградского совета, объявил себя Временным правительством и твердо взял бы всю власть в свои руки, пополнив свой состав представителями солдат и рабочих, то быть может и возможно было бы обойтись без армейских комитетов, представлявших собою – кто об этом спорит – чужеродный элемент в армии. Но ведь всего этого не произошло. Выбранный утром 27-го февраля Комитет Государственной Думы не посмел сразу же объявить себя революционной властью. Свою задачу он поначалу скромно определил, как «водворение порядка в столице и сношение с общественными организациями и учреждениями». Решение взять власть, состоялось только поздно ночью, на десять часов позднее образования Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов и пять часов спустя после открытия его первого заседания. Благодаря этому промедлению – в вихре революционных событий каждый час имел значение дня, а то и целой недели – либеральное Временное правительство сразу же оказалось под фланговым обстрелом Совета.

К моменту образования цензовой власти при Исполнительном комитете уже работали: продовольственная комиссия, питавшая шатавшихся по городу солдат, военная, готовившаяся дать отпор верным царю войскам, в случае если бы таковые обнаружились, и литературная, уже работавшая над обращением к народу.

Благодаря своей большей решительности, Совет рабочих депутатов сразу же захватил в свои руки водительство революцией и, пополнившись солдатами,

естественно распространил свою власть и на армию. Об отмене армейских комитетов военною властью при таком положении вещей не могло быть и речи. Она кончилась бы избиением лучшей части офицерства и демагогическим переходом на пораженческие позиции наименее ответственных и сознательных начальников. Единственно открытым оставался тот путь, которым Керенский и пошел впоследствии, путь ограничения комитетских правомочий и назначения в армию правительственных комиссаров.

То, что в армейские комитеты, за сравнительно редкими исключениями, попадали далеко не худшие элементы армии, является большою заслугою русских солдат. Постоянно выступая на армейских собраниях против демагогов всех оттенков и направлений, я всегда поражался тою поддержкою, которую мне оказывали солдаты, тою трезвою твердостью, с которою они отводили кандидатуры провокаторов, брехунов и быстро перекрасившихся офицеров-черносотенцев.

В ту делегацию, во главе которой я в свое время выехал в Петроград, настойчиво стремился попасть щеголеватый молодой капитан с наглыми, светлыми глазами и тщательно нафиксатуаренными рыжими усами. В своих ловких, заливчатых речах он горячо требовал немедленного мира и чуть ли не со слезами изливал перед солдатами свою радость по поводу падения бездушной дисциплины царской армии, мешавшей офицеру обращаться с солдатами так, как от него того требовали любовь и совесть.

Слушали мои сибиряки «товарища» снисходительно, аплодировали ему дружно, но в делегацию не пропустили: «Поет-то он сладко, – сказал мне, когда мы расходились, знакомый пехотный фельдфебель, – но какой от этого может быть толк, когда сразу видно, что только о себе и хлопочет».

Офицеры и даже высшие чины вели себя часто много хуже комитетчиков и даже простых рядовых. Не желающим это признавать кадровым офицерам мне хочется напомнить выступление главнокомандующего Северным фронтом генерала Черемисова, который на вопрос матросов, нужна ли в армии дисциплинарная власть, заявил, что, по его мнению, армия может драться и побеждать и без дисциплины.

Еще характернее дошедшее в свое время до меня и подробно описанное впоследствии Станкевичем в своих «Воспоминаниях» столкновение председателя Комитета 5-й армии Виленкина с тем же генералом Черемисовым. Когда Виленкин приехал в Псков просить у Черемисова военной поддержки, Черемисов наотрез отказался и разразился упреками по адресу Комитета:

– Вы придерживаетесь слишком правой линии поведения, поэтому вам нужна воинская сила. Будьте немного левее и тогда обойдетесь без всяких броневых дивизионов.

Находчивый юрист, талантливый оратор и пользовавшийся большими симпатиями в своей армии политический деятель, Виленкин не полез за ответом в карман.

– Самый правый в комитете, – отвечал он Черемисову, – я. Что же касается других, то если сложить года, проведенные членами комитета на каторге за левизну их убеждений, то получится число большее, чем число ваших лет, господин генерал. И если бы задача теперь была в том, чтобы подыгрываться под настроение масс, то я давно сидел бы здесь, на вашем месте, внесенный на руках солдат.

Генерал Черемисов, конечно, исключение, но черемисовщины на фронте было гораздо больше, чем принято думать в наших правых кругах. Офицеры, пытавшиеся удержать власть на путях левофлангового

обхода комитетчиков и комиссаров, попадались мне очень часто. На них впоследствии пытался опереться последний военный министр в правительстве Керенского генерал Верховский.

После грязного, туманного, сумбурного Петрограда, в котором мы с женою жили в квартире «по ошибке» растерзанного перепившимися матросами морского офицера (его принесенные с крейсера вещи, до которых несчастная вдова не в силах была дотронуться, так и лежали в передней в мешке), я чувствовал себя в Галиции почти что счастливым.

Пахло весенними полями, весенним солнцем и начинавшими кое-где по долинам распускаться каштанами. В деревнях, по которым в ожидании мира уже давно не стреляли немцы, оживала обычная крестьянская жизнь. Над Шумлянами, в которых все еще стояла третья батарея, жиденько позванивала живописная деревенская церковка. Кругом меня снова были дорогие люди: Иван Владимирович, братья Балашевские, Александр Борисович и мой Семеша. Главная забота Петрограда – «разлагающийся фронт» – казался здесь на месте образцом тишины и порядка.

Поскольку меня не просили члены армейских комитетов, я старался не собирать больших митингов, а воздействовать на солдат поротною и побатарейною беседою. Сидя в окопе и угощая товарищей сибиряков папироской, я обстоятельно рассказывал им о петроградских делах, главным образом о борьбе Керенского против старорежимной внешней политики Милюкова и об уходе последнего.

Вызвав к себе доверие, я осторожно переходил к доказательству, что миролюбивая политика Керенского и Церетели должна неминуемо сорваться, если в распоряжении свободной России не окажется крепко спаянной, послушной своим начальникам и всегда готовой к отпору врагу армии.

– Поймите, товарищи, – твердил я своим слушателям, – мира без силы не добиться. Почувствовав, что Россия обессилена, наши враги, и наши союзники быстро сговорятся друг с другом, поделят промеж себя русские земли с их несметными богатствами и заставят обнищавший русский народ еще тяжелее работать на Западную Европу, чем он до войны и революции работал на царя, помещиков и капиталистов.

Соглашаясь на войну, солдаты всегда протестовали против наступления, которое им казалось нарушением миролюбивой политики. Выяснение мысли, что наступление есть не политическое, а лишь военно-тактическое понятие, стоило мне больших трудов и никогда вполне не удавалось. Быть может, солдаты и были правы, связывая мысль о наступлении с продолжением союзнически-империалистической политики Милюкова.

В пределах своей бригады я подвизался довольно успешно, но на больших митингах, среди чужих солдат и при наличии большевиков, приходилось иной раз и круто. Особо ярко стоит в памяти один, чуть не кончившийся для меня большою неудачею, митинг.

На лужайке, верстах в пяти позади артиллерийских позиций, собралось несколько сот солдат, представителей полков, батарей, парков и штабов; – было, конечно, много и праздных созерцателей. Я приехал верхом вместе с Евгением Балашевским в бодром приподнятом настроении. Дружественно встреченный армейским комитетом и отрекомендованный солдатам в качестве члена Всероссийского совета, я начал свою речь в твердой уверенности, что справлюсь с большевистской оппозицией, если она решит дать бой.

Впереди, под самою трибуною, стояли верные мне батарейцы и паркачи 12-й бригады, гордые своим поручиком и готовые постоять за него. Искренне веря

в солдатскую совесть и зная крестьянские нужды, я легко находил слова, удачно, как мне казалось, связывавшие воедино праведную солдатскую тоску по миру, справедливую жажду «земли и воли» и долг не посрамить земли русской, – отстоять ее от посягательств открытых врагов и фальшивых друзей.

Поначалу все шло хорошо. Слушали меня с доверием и даже с сочувствием.

Но вот в задних рядах, где в первые месяцы революции располагались обыкновенно большевистские агитаторы, поднялся какой-то невнятный, но явно угрожающий ропот. Окружавшие меня солдаты сразу же обернулись и кто-то из них возмущенно крикнул: «Не таись, не мути, сволочь, а ежели что нужно, то высылайте своего, пусть говорит прямо перед всем народом». Ропот затих. Несколько голосов в отдалении повторило требование, чтобы смутьяны выходили на трибуну. Через несколько секунд толпа чуть ли не силком вытолкнула вперед растрепанного, взъерошенного солдата, нахального, но жалкого. Взойдя на трибуну, он поначалу растерялся, но вдруг разозлившись на чей-то иронический возглас, зажмурил глаза, подтянул штаны и махом, как в воду, бросился в бой.

– Я так полагаю, товарищи, что буржуазия мира никогда не заключит, так как она нашею кровью кормится, а офицеры, как они ни пляшут перед нами, буржуазию поддержат, потому им за нашу кровь чины, кресты и деньги идут. По мне так, товарищи: мир, так мир. Втыкай – немцу для примеру штыки в землю – и айда домой. Какая нам выйдет земля, ежели ее без нас делить начнут. Ни земли, ни воли не будет, а будет один шиш.

– Ладно, слышали, – раздались нетерпеливые голоса, – кончай волынку, долой.

– Дайте договорить, товарищи, – вмешался ради справедливости председатель митинга.

– Чего ему о земле говорить, товарищ председатель, – раздался рядом со мною насмешливый голос взводного Боровикова, – какой он крестьянин, все равно ему на земле только срать, а не сеять.

По первым рядам громко раскатился хохот, и снова послышалось «долой».

Казалось, дело оратора было окончательно проиграно, но снова освоившись, он быстро переменил тему и заговорил с еще большим азартом:

– Ежели товарищ докладчик действительно из Всероссийского совета, а не самозванец какой, то пусть доложит насчет тайных договоров с союзниками, в Петрограде Совету все известно.

– Верно, – начал я свою ответную речь, – что требование об опубликовании тайных договоров царского правительства с союзниками не раз раздавалось в левых кругах Совета, тем не менее договоры опубликованы не были и в ближайшее время опубликованы не будут; они представляют собою не только русскую, но и союзническую тайну, оглашать которую, в момент напряженной борьбы союзников с их врагами, Россия не может, не рискуя превратить союзников во врагов и тем самым окончательно подорвать свое военное положение.

Говоря все это, я чувствовал, что мои слова уже не доходят до солдат, только что слушавших меня с доверием и сочувствием. И даже больше: говоря, я чувствовал, что за минуту перед тем по-разному настроенные солдаты начинают сливаться в какую-то единообразно-враждебную мне массу.

О природе массы психологами и социологами написано бесконечное количество книг. В большинстве этих книг особенности массовой психологии односторонне выводятся из законов больших чисел. Недостаточность этого объяснения доказывается

уже тем, что дважды говоря перед тою же толпою в 500–600 человек, я только во второй раз говорил перед массою. Верно, что массовая психология окончательно завладевает человеком лишь в толпе, но зарождается она, как все существенное, в уединенной глубине человеческой личности. Ленин, в одиночестве думавший о революции, уже жил массовой психологией.

Сущность личности заключается в совести. Жить по совести – значит жить в послушании добру и истине и в уважении чужой свободы: «познайте истину и истина освободит вас». Совестливая жизнь трудна для всякого человека, ибо она ежедневно налагает новые цепи на наши страсти, желания, корысти и своевольные мечты. Потому временами в людях возникает жажда выйти из подчинения добру, и даже отомстить ему. Но как оправдать эту жажду восстания на свою же совесть, на свою же волю к добру? Вот тут-то и вступают в свои права законы большего числа, т. е. массовой психологии. Если на миру и смерть красна, то на миру и ложь права. Захватывая стремящегося уйти из-под ответственности добру человека в круговорот своих страстей, толпа сразу же обезличивает его, и лишает всякой самостоятельности. Обезличенные толпою люди легко сливаются в безликую массу и лишенные собственной воли послушно подчиняются воле вождя, от которого однако неуклонно требуют потакания тем своим мечтам и корыстям, ради которых ими был поднят изначальный бунт против своей совести.

Из своей агитационной деятельности я вынес печальное убеждение, что превращение многоликой толпы в безликую массу может быть иной раз делом нескольких минут. Так оно было и на описываемом митинге.

Слушая мою первую речь и зло высмеивая моего оппонента, предлагавшего сейчас же разойтись по домам,

солдаты, – каждый сам по себе, но все же и все вместе – напрягали, быть может, свои последние нравственные силы, чтобы не поддаться соблазну и не погасить своей совести. Но чем больше они «нудились истиной», тем страстнее подымались в них корыстные страсти и жадные мечты: зло всегда растет вместе с добром. При наличии такой раздвоенности брошенная коммунистическим оратором мысль, что я самозванец, не имеющий никакого права навязывать им свои оборонческие требования, естественно должна была подорвать окончательно в моих слушателях их и без того заколебавшуюся волю к исполнению своего долга.

Как бы то ни было, когда я кончил свою вторую речь заявлением, что говорить о тайных договорах я не могу и не буду, со всех сторон раздались резкие требования, чтобы я предъявил свой мандат. Я хватился за набитый всякими документами бумажник, но мандата Центрального исполнительного комитета со мною не оказалось. Когда я объявил об этом, поднялся победоносный, большевистский шум. Попытка председателя поручиться за меня не только не успокоила солдат, но скорее подлила масла в огонь.

При гробовом молчании тех солдат, которые прекрасно знали меня, которые сами выбирали меня в петроградскую делегацию, а затем и во Всероссийский совет, большевистские агитаторы настойчиво кричали «долой» и требовали предъявления мандата…

Оставалось только одно: обещать съездить на батарею и привезти мандат. Признаюсь, что я скакал в Шумляны с неладно бьющимся сердцем, так как совершенно не был уверен в том, что найду мандат, который только и мог быть у меня в бумажнике.

Когда я, спрыгнув минут через сорок с загнанной лошади, снова появился на трибуне, я почувствовал, что все, может быть, даже и мои батарейцы, уверены в моем самозванстве.

Знакомых лиц у трибуны уже не было, всюду кипела озлобленная, безликая масса.

Предъявление мандата с трибуны не удовлетворило большевистских застрельщиков. Председателю пришлось внести предложение о выборе комиссии для его тщательного осмотра. Представители большевиков придирались почем зря, так что экспертиза затянулась. В конце концов, комиссии все же пришлось заявить с трибуны, что мандат и сопроводительная к нему бумага Центрального исполнительного комитета, предлагающая фронтовому начальству, комиссарам и фронтовым комитетам оказывать товарищу Степуну всяческую поддержку, не вызывают ни малейшего сомнения.

Как только это заявление было произнесено, началось, почти что глазу видимое, размагничивание массы. Говоря заключительное слово, в котором я безоглядно громил большевиков за их политическую безграмотность и неуместную полицейскую придирчивость, я всем существом ощущал новый прилив симпатии ко мне. В глаза и души моих сибиряков явно возвращались совесть и ответственность. Попытки отдельных товарищей прерывать меня наглыми замечаниями снова подавлялись дружными окриками. О том, что дело вспыхнуло вовсе не из-за мандата, а из-за тайных договоров, все как-то забыли. По окончании речи солдаты меня качали, не только за удачную речь, но, как мне казалось, и в благодарность за то, что, найдя мандат, я уберег их души от греха.

Все кончилось благополучно, но все могло бы кончиться и иначе, не найди я мандата в шинельном кармане, куда он неизвестно как попал.

В горячей агитационной работе быстро летели заметно удлиняющиеся дни. Незаметно подошло седьмое мая, день созыва Съезда Юго-Западного фронта. Этот памятный мне съезд длился по крайней мере неделю, а может быть и больше.

Я приехал в Каменец-Подольск за несколько часов до открытия съезда. Маленький, пыльный городишко (где-то внизу мелководный, но быстрый Смотрич, где-то в отдалении силуэт старинной крепости на высокой горе) шумно кипел напряженною, военно-общественною жизнью. Все улицы были забиты солдатами; среди солдатских шинелей и гимнастерок уже анахронизмом мелькали офицерские погоны. Всюду веяли красные флаги и морщились красные полотнища с революционными лозунгами. На площади, у трактиров и у здания съезда позвякивали бубенцы командирских колясок и казначейских бричек. Пыхтели и гудели штабные автомобили.

В солдатской массе революционной армии царил большой подъем: еще бы, ожидался приезд главнокомандующего Брусилова и военного министра товарища Керенского. В глазах и рукопожатиях многих кадровых офицеров чувствовалась тревога и скорбь: как понять, как перенести, что Верховный главнокомандующий будет социалистически брататься с товарищами дезертирами?

Я приехал в Каменец-Подольск вместе с нашим страстным батарейным политиком Александром Борисовичем. В уверенности, что мой мандат и некоторая моя известность на Юго-Западном фронте откроют двери и моему товарищу, я подкатил с ним прямо к Пушкинскому дому. В дверях мы, однако, встретили энергичное сопротивление мандатной комиссии, наотрез отказавшейся пропустить в зал безмандатного офицера. Эта строгость была новостью, в которой чувствовалась воля к твердой демократической дисциплине и торжественное настроение большого политического дня. Лишь после длительных увещеваний мне удалось устроить Александра Борисовича где-то в укромном месте, кажется, на хорах.

Момент для съезда был выбран удачно. Волна бездумного пораженчества уже с конца апреля начала постепенно откатываться. Армия была разочарована как в немцах, нарушивших свое братание Стоходским наступлением, так и в союзниках, оставивших без действенного ответа правительственную декларацию о мире. Не понравились нашим демократам и приезжавшие в Петроград союзнические социалисты: Тома, Рембо и Гендерсон, показавшиеся эсерам и эсдекам «здоровыми шовинистами». В связи со всем этим в армии крепла мысль, что миролюбивое слово свободной России не будет услышано ни врагами, ни союзниками, если за ним не будет стоять твердая воля боеспособной армии.

Только что состоявшийся уход Милюкова не ослабил, а скорее усилил это оборонческое настроение: в нем видели гарантию того, что демократическая воля к защите родины и революции не будет использована в империалистическом духе.

Надо ли говорить, что при таких настроениях фронта, как представителям народной власти, военному министру Керенскому и главковерху Брусилову, так и представителям народной воли, членам Центрального исполнительного комитета, Станкевичу и Шапиро, был заранее гарантирован полный успех.

Слова Брусилова, по общему отзыву, весьма удачного, вызвавшего даже восторг у солдат, мне не пришлось услышать. После речи главнокомандующего потянулись бесконечные, однообразные доклады с мест. Хотя докладчиками выступали почти исключительно комитетчики-оборонцы, они все согласно свидетельствовали о падении духа армии и о нежелании солдат наступать. Получалось впечатление, что сознательная воля армии – за вооруженную защиту «родины и революции», бессознательное же и потому особо страстное желание

солдат – за немедленный мир. Это характерное раздвоение определило собою и все дальнейшее течение съезда.

Представителем солдатской тоски по миру в ее низшем, шкурнически-бунтарском аспекте, дважды выступал на съезде популярный на Юго-Западном фронте прапорщик Крыленко, будущий Главковерх, а впоследствии Верховный прокурор Советского Союза. Первая же гневная речь Крыленко, призывавшая к немедленному осуществлению всех народных требований в тылу и к смелому разрыву с грабительскими началами старой международной политики ради немедленного мира, имела громадный успех. Не только большевики, но и солдаты-оборонцы слушали сумрачного, низкорослого, уже седеющего прапорщика в солдатской гимнастерке с нескладно прицепленной к низко спущенному ремню непомерно длинной шашкой, с напряженным вниманием и безусловным сочувствием.

Прося слова для возражения Крыленко, я не был уверен, что мне удастся завладеть вниманием съезда. К моему удивлению, это оказалось гораздо легче, чем я думал. За исключением большевиков, все делегаты сразу же перестроили свои души и пошли за мною, как за своим человеком. Я кончил свою речь под еще более шумные аплодисменты, чем Крыленко.

После перерыва с официальным ответом лидеру большевиков от имени Всероссийского совета и высших учреждений революционной демократии был выпущен Станкевич – справедливый, светлый человек, с милым, встрепанным лицом умного подростка.

Произнесенная без малейшей демагогии и излишних риторических украшений, сдержанная по тону, но решительная по существу речь Станкевича была кульминационною точкою первого дня съезда. Чуть ли не каждая фраза оратора прерывалась дружными

аплодисментами. Когда Станкевич кончил, ему была устроена настоящая овация, в которой участвовало и все офицерство с Брусиловым во главе.

Предложенная Станкевичем оборонческая резолюция собрала, несмотря на «непобедимого» Крыленко, девять десятых голосов.

Не думаю, чтобы эта победа линии Временного правительства была случайностью, объясняющеюся предельной неустойчивостью массовой психологии. Верно как раз обратное. Резолюция Станкевича только потому и собрала почти абсолютное большинство, что психология Съезда еще не была массовой психологией. Будь она таковой, ни мне, ни Станкевичу не дали бы и рта открыть. Там, где толпа борется сама с собою, еще нет массы.

Крыленко принадлежали на съезде Юго-Западного фронта только солдатские ладони, но не голоса: открыто рукоплеща Крыленко, толпа отдавалась своим мечтам, корыстям и соблазнам, голосуя же против него, она мужественно возвращалась в разум истины и трезвость своей совести.

Главным событием второго дня съезда была речь Керенского.

Только что победоносно окончив свою борьбу против Милюкова и приняв военное министерство, Керенский прибыл на фронт в чувстве, что в его сердце, сердце фактического лидера Временного правительства и товарища председателя Всероссийского совета, как в фокусе сходятся все лучи исторических событий. Радостное и даже восторженное ощущение себя, как избранника судьбы и ставленника народа, в нем бесспорно чувствовалось, но «хвастовства» и «замашек бонапартеныша», в чем его постоянно обвиняли враги как слева, так и справа, в нем не было.

Появился Керенский на трибуне съезда все в том же черном френче полувоенного образца, в котором

принимал нашу делегацию в Таврическом дворце. Движения его были как будто еще стремительнее, жесты еще повелительнее и страстный, резкий на верхах голос еще необъятнее. Говорил новоизбранный военный министр с громадным подъемом. В его речи чувствовалась живая, всепримиряющая вера в Россию, в революцию, в справедливый мир и даже в возможность наступления. Главным же образом в нем чувствовалась святая, но и наивная русско-либеральная' вера в слово, в возможность все разъяснить, всех убедить и всех примирить.

Успех Керенский имел на фронте потрясающий, причем не только на съезде делегатов, но и в отдельных частях, объезд которых он начал сейчас же по окончании съезда. К нему тянулись не только солдаты, но и многие офицеры.

Как сейчас вижу Керенского, стоящего спиною к шоферу в своем шестиместном автомобиле. Кругом плотно сгрудившаяся солдатская толпа. Среди нее офицерские фуражки и погоны. Неподалеку от меня, у заднего крыла автомобиля, стоит знакомая фигура дважды раненого пехотного поручика. На его груди георгиевский крест, в руке толстая палка. Приоткрыв рот, он огромными, печальными глазами, полными слез, в упор смотрит на Керенского и не только ждет, но как будто бы требует от него какого-то последнего, всеразрешающего слова.

Керенский, как и на съезде, в ударе: его широко разверстые руки то опускаются к толпе, как бы стремясь зачерпнуть живой воды волнующегося у его ног народного моря, то высоко поднимаются к небу. В раскатах его взволнованного голоса уже слышны столь характерные для него исступленные всплески. Заклиная армию отстоять Россию и революцию, землю и волю, Керенский требует, чтобы и ему дали винтовку, что он сам пойдет впереди, чтобы победить, или умереть.

Я вижу, как однорукий поручик, нервно подергиваясь лицом и телом, прихрамывая стремительно подходит к Керенскому и, сорвав с себя георгиевский крест, нацепляет его на френч военного министра. Керенский жмет руку восторженному офицеру и передает крест своему адъютанту: в благотворительный военный фонд.

Приливная волна жертвенного настроения вздымается все выше: одна за другой тянутся к Керенскому руки, один за другим летят в автомобиль георгиевские кресты, солдатские, офицерские. Бушуют рукоплескания. Восторженно взвиваются ликующие возгласы «за землю и волю», «за Россию и революцию», «за мир всему миру». Где-то подымаются и, ширясь, надвигаются на автомобиль торжественные звуки марсельезы…

Высоко над фронтом медленно кружит зоркий немецкий летчик. Все клянутся победить, или умереть, на летчика никто не обращает ни малейшего внимания. Русской свободе сейчас не до немцев.

Ревет мотор, раздается мелодический гудок, мощный автомобиль медленно двигается сквозь толпу. Усталый Керенский, опустившись на сидение и не отрывая руки от козырька, раскланивается налево и направо. Через час он будет повторять свою речь. Завтра снова и послезавтра опять. И так без конца, вплоть до 18-го июля, до начала политически-бессмысленного и военно-технически безнадежного Брусиловского наступления, которое похоронит последние возможности спасения армии, как послушного орудия Временного правительства в борьбе на внешнем и, что гораздо важнее, на внутреннем фронтах.

Для меня лично наиболее важным событием съезда Юго-Западного фронта в 1917-м году было знакомство с Борисом Викторовичем Савинковым, бывшим тогда комиссаром 7-ой армии. С первой минуты он поразил меня своей абсолютной отличностью ото всех

окружавших его людей, в том числе и от меня самого. Произнесенная им на съезде небольшая речь была формальна, суха, малоинтересна и, несмотря на громадную популярность главы боевой организации, не произвела большого впечатления. Лишь меня она сразу же приковала к себе: как-то почувствовалось, что ее полунарочная бледность объясняется величайшим презрением Савинкова к слушателям и его убеждением, что время слов прошло и наступило время быстрых решений и твердых действий. Так отчетливо я своего первого впечатления от Савинкова сформулировать, конечно, не мог бы, но я уверен, что инстинктивно я это почувствовал с первого взгляда.

На трибуну взошел изящный человек среднего роста, одетый в хорошо сшитый серо-зеленый френч с непринятым в русской армии высоким стояче-отложным воротником. В суховатом, неподвижном лице, скорее западноевропейского, чем типично русского склада, сумрачно, не светясь, горели небольшие, печальные и жестокие глаза. Левую щеку от носа к углу жадного и горького рта прорезала глубокая складка. Говорил Савинков, в отличие от большинства русских ораторов, почти без жеста, надменно откинув лысеющую голову и крепко стискивая кафедру своими холеными, барскими руками. Голос у Савинкова был невелик и чуть хрипл. Говорил он короткими, энергичными фразами, словно вколачивая гвозди в стену…

Познакомившись с автором, глубоко захватившего меня в свое время «Коня бледного», я решил пока что остаться при нем. Из Каменец-Подольска мы отправились с Борисом Викторовичем на съезд 7-ой армии в Бучач.

Офицеры 7-ой армии встретили назначение Савинкова комиссаром с очень сложными и, понятно, мало дружелюбными чувствами. Подчинение долголетнему

сотруднику провокатора Азефа, знаменитому террористу, приберегавшемуся партией для убийства самого государя, казалось, даже и приявшим революцию офицерам, делом несовместимым с воинскою честью. Легкость, с которой прибывшему в армию Савинкову удалось в кратчайший срок преодолеть враждебное к нему отношение, достойна величайшего удивления. Работая вместе с ним, я видел, как он, не отказываясь от революционных лозунгов своей партии и не становясь на сторону офицеров против солдат, не только внешне входил в офицерскую среду, но и усвоялся ею; все в нем: военная подтянутость внешнего облика, отчетливость жеста и походки, немногословная дельность распоряжений, пристрастие к шелковому белью и английскому мылу, главным же образом, прирожденный и развитой в подпольной работе дар распоряжения людьми, делало его стилистически настолько близким офицерству, что оно быстро теряло ощущение органической неприязни к нему.

Действовал Савинков на фронте отчетливо и решительно, в сознании, что лучше два раза ошибиться, чем хоть раз обнаружить растерянность. В его канцелярии господствовал образцовый, почти бюрократический порядок, ни следа интеллигентского разгильдяйства: «чай пить – говорил Савинков – хорошо, шампанское еще лучше, но чаю на рабочем столе не место». Громадным подспорьем Савинкову во фронтовой работе была его биологическая храбрость. Не по долгу своей комиссарской службы и не в назидание солдатам не склонял Савинков своей головы ни перед немецкими, ни перед большевистскими пулями, которые часто посвистывали вокруг нас во время произнесения призывных и увещевательных речей, а просто потому, что смертельная опасность не только повышала в нем чувство жизни, но и наполняла его душу особою, жуткою

радостью: «смотришь в бездну и кружится голова и хочется броситься в бездну, хотя броситься – наверное погибнуть». Не раз бросался Савинков вниз головой в постоянно манившую его бездну смерти, пока не размозжил своего черепа о каменные плиты, выбросившись из окна московской тюрьмы ГПУ.

Свою природную, метафизическим соблазном смерти еще углубленную, храбрость Савинков, как мне кажется, не только хорошо знал, но и любил в себе. Иногда он своею храбростью даже пользовался, как последним аргументом в политической борьбе.

Вскоре после съезда 7-ой армии Савинков был вызван в какую-то взбунтовавшуюся часть. Я поехал с ним. На месте оказалось, что солдаты требуют немедленного отвода в Киев и организации там специальных курсов по вопросу, не является ли продолжение войны вредным для развития революции. До выяснения этого вопроса солдаты, «как сознательные революционеры», отказывались занять окопы.

Требование было настолько нелепо, что бунтовщики быстро поддались нашим увещеваниям. Но вот в последнюю минуту, когда части начали уже склоняться к тому, чтобы, не заходя в Киев, занять окопы, на трибуну быстро вскочил окончательно засумбуренный большевистской и черносотенной пропагандой стрелок с хорошо подвязанным языком и начал нагло допрашивать Савинкова, откуда он вдруг явился и на чьи деньги отсиживался за границей в то время, как сибирские части отмораживали себе ноги в галицийских снегах и голыми руками рвали колючую австрийскую проволоку.

Савинков рассвирепел и, помнится, впервые открыто заговорил о своей революционной борьбе.

– А где были вы, товарищи, где были все вы, до единого, – гвоздил он в толпу, -. когда я, не щадя жизни

с кучкою храбрецов боролся против ваших притеснителей за вашу землю и за вашу волю? Знаете ли вы, слышали ли вы, что, приговоренный царским судом к смертной казни, я с петлею на шее годами скрывался под чужим именем то за границей, то в России, чтобы вы обрели ту свободу, к защите которой я вас призываю? Нет, не вам упрекать меня в трусости и беспечной жизни. Я чту вашу борьбу и ваше страдание. Но вы страдаете третий год и по приказу, а я за вас своею волею страдаю и воюю уже целых двадцать лет. Давайте же соединим наши силы и защитим единым натиском Россию и революцию, землю и волю! Товарищи, в последний раз спрашиваю вас – займете ли вы окопы, или отречетесь от свободы и предадите защитников ее?

После удачного окончания митинга Савинков направился в канцелярию разбираться в текущих комитетских делах, а я пошел передохнуть к видневшемуся неподалеку кладбищу. Там, под старым деревом, среди низких могильных холмиков с жиденькими белыми крестами, сидел старый боевой офицер с георгиевским крестом и плакал, как ребенок.

– Согласились, к вечеру обязательно займут позицию, – попытался было я утешить капитана.

Но он только рукой махнул:

– Неужели вам не стыдно, вместо того, чтобы пулеметами гнать эту сволочь не на позицию, конечно, – много чести – а куда-нибудь в глубокий тыл, хотя бы в Киев, часами уговаривать ее занять окопы? Как только Савинков начал хвастаться своими революционными подвигами, я сбежал, чтобы… – голос ему изменил, и рука невольно потянулась к кобуре револьвера.

При этих словах я почувствовал как бы ожог в груди и острый стыд за наши успехи. Не политическая, конечно, и даже не нравственная правда – взбунтовавшиеся солдаты не были сволочью – но правда горячей

любви к гибнущей России была вряд ли на нашей с Савинковым стороне…

Не буду подробно описывать фронтовую деятельность Савинкова; все пережитое нами он сам описал в ряде фельетонов, которые, несмотря на напряженную работу, как-то успевал отсылать в петроградские газеты.

Фактическая сторона савинковских описаний мало интересна. Почти все зарисованные им сцены представляют собою разновидности только что описанного мною уговора взбунтовавшейся дивизии; но все же на савинковских фельетонах (всего только сорок страниц) стоит остановиться несколько подробнее, так как в разительной несхожести подлинного Савинкова с набросанным в них автопортретом, раскрывается перед нами одна из немаловажных причин того трагического срыва «Февраля», в котором Савинков сыграл не последнюю роль.

В описаниях своей комиссарской деятельности Борис Викторович рисует себя убежденным народником, демократом, внуком народовольцев и верным сыном партии социалистов-революционеров. Лозунг «за землю и волю», как «звезда утренняя», все время стоит над его яркими описаниями революционного фронта. Даже и штурмовые батальоны смерти, порожденные офицерской доблестью и фронтовым патриотизмом, превозносятся им, как завершение свободолюбивых традиций революционного 1905-го года. Наряду с революционно-социалистическим народничеством в очерках Савинкова звучит еще и славянофильская вера в народ, «в тот многострадальный и истосковавшийся по правде народ, с которым кровно связан каждый из нас и для которого только и стоит жить».

Впервые читая эти очерки в декабре 1917-го года, я сразу же почувствовал явную стилизованность савинковского автопортрета. Ни демократа в русском смысле

этого слова, ни народника, ни, тем более, партийного социалиста я, работая с Борисом Викторовичем, никогда в нем не замечал. Впоследствии же окончательно убедился в том, что ко времени нашей встречи он был скорее фашистом типа Пилсудского, чем русским социалистом-народником.

Ложность савинковского самоанализа подтверждается, как мне кажется, и языком его очерков. Афористической жестикуляцией этого языка, его латинской нарядностью и риторичностью, его эффектным, но одновременно и мертвенным блеском, Савинков явно отрывался от той народнически-революционной среды, с которой он сам себя постоянно связывал. Нисколько язык Савинкова не типичен для русской литературно-публицистической традиции, настолько же он типичен для самого Савинкова. Душа Бориса Викторовича, одного из самых загадочных людей среди всех, с которыми мне пришлось встретиться, была, как и его воинственный язык, так же лишь извне динамична, но внутренне мертва. Оживал Савинков лишь тогда, когда начинал говорить о смерти. Я знаю, какую я говорю ответственную вещь и тем не менее не могу не высказать уже давно преследующей меня мысли, что вся террористическая деятельность Савинкова и вся его кипучая комиссарская работа на фронте были в своей последней, метафизической сущности лишь постановками каких-то лично ему, Савинкову, необходимых опытов смерти. Если Савинков был чем-нибудь до конца захвачен в жизни, то лишь постоянным самопогружением в таинственную бездну смерти. «Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только одна смерть». В этих словах Жоржа из «Коня бледного» – весь Савинков, тот подлинный Савинков, которого нет в отчетах с фронта, оправдывающих смерть верою, что не напрасно льется кровь, что смертью созидается цветущее будущее.

Не думаю, чтобы Савинков верил, что в социалистической России зацветет новая, прекрасная жизнь. Красный цвет революционного знамени был для него не символом социалистического рая, а цветом крови, которым во все времена одинаково красно цвела история человечества. Предпочитать будущее прошлому Савинков не имел ни малейшего основания. Презиравший массы не менее последнего русского «византийца» Константина Леонтьева, он в дни нашего с ним знакомства уже не был глашатаем просвещенной веры в прогресс, за которого по привычке еще продолжал выдавать себя в своей социалистической среде.

Кроме темы смерти, Савинкова глубоко волновала только еще тема художественного творчества. Лишь в разговорах о литературе оживала иной раз его заполненная ставрогинским небытием душа.

Как-то ранним туманным утром ехали мы с ним в автомобиле в какую-то восставшую часть: требовать, уговаривать, угрожать… От вечных уговоров все новых дезертиров было скучно и серо на душе. Вдруг раздались резкие ружейные залпы. Очевидно, засевшие в синевшем неподалеку леске большевики решили втихомолку «снять» Савинкова с работы. Хотя пролетевшие над нашими головами пули не могли не произвести на Бориса Викторовича некоторого впечатления, – его храбрость никогда не была тою невосприимчивостью к опасности, которая свойственна только очень молодым, простым и цельным людям, – он, не сморгнув глазом, повернулся ко мне и с каменной улыбкой продекламировал:

Гильотина – это нож,
Ну так что ж.
Я сейчас возьму стакан, –
Пусть на смерть меня выводят…

После этого он оживленно заговорил о стихах и о том, что он еще не слышит в себе тех слов, которые могли бы выразить то новое и личное, что он знает о жизни.

Хотя у Савинкова не было большого художественного таланта, все написанное им читается не только с захватывающим интересом, но и с волнением. Думаю потому, что Савинкова тянуло к перу не поверхностное тщеславие и не писательский зуд, а нечто гораздо более существенное: чтобы не разрушить себя своею нигилистическою метафизикою смерти, он должен был стремиться к ее художественному воплощению. Не даруя смерти жизнь, жить смертью нельзя.

Чем дальше я работал на фронте, тем очевиднее становилось мне, что все наши усилия напрасны, если армия не почувствует, что и для Временного правительства высший смысл революции заключается в замирении. Хотя Савинков, Станкевич, я и другие представители Временного правительства и Исполнительного комитета Всероссийского совета все еще одерживали верх над большевиками, меня одолевало предчувствие, что этому благополучию скоро придет конец, что армия неизбежно перекинется на сторону большевиков, защищающих правду, смысл и возможность немедленного мира.

Для того, чтобы этого не случилось, мне казалось совершенно необходимым, чтобы Временное правительство немедленно взяло под свою защиту идею скорого заключения мира. Прекрасно понимая все политические трудности своего плана, я согласно своей сверхполитической установке в политике, все же не считал его окончательно неисполнимым. Как неверно, думалось мне, что история спокон веков и до наших дней творилась не миротворческим словом, а воинствующим мечом, нельзя не видеть и того, что меч всегда

искал себе оправдания в слове и побеждал лишь там, где за ним стояла идея. Какой же идеей – спрашивал я себя – можно защитить в глазах русского народа продолжение войны после провозглашения революционной свободы?

Отказавшись в реформации от веры в святых и праведников, протестантская Германия невольно заменила идеал христианского смирения древнегерманским идеалом воинской доблести. На этой почве фридрициански-бисмарковская государственность взрастила в немецком народе идеал солдата-героя, жертвенною смертью которого и оправдывается для немцев война, независимо от защищаемых в ней политических идей преследуемых ею хозяйственных целей. На эту тему религиозно-исповеднического милитаризма Германии, имеющего мало общего с «целеустремленною воинственностью» англичан и французов, можно найти много интересного в книге Макса Шеллера «О главных причинах ненависти западноевропейских народов к Германии». По его мнению, германцы отнюдь не молятся мечу, как на них клевещут, а мечом молятся Богу.

В том, что России перед своею совестью на немецкий лад не оправдать войны, сомневаться, конечно, не приходилось. Исстари чтя святых воинов, Россия никогда не считала воинов, как таковых, за святых.

Еще менее возможным представлялось мне и оправдание дальнейшей войны теми политическими идеологиями, что с пафосом проповедовались нашими союзниками. Уже не говоря о том, что немцы стояли отнюдь не в хвосте той европейской цивилизации, ради защиты которой западные государства будто бы приняли на себя тяготы войны, идеи этой цивилизации сами по себе ничего не говорили русскому народу, хотя и были дороги сердцу передовой западнической интеллигенции.

Чем глубже я думал над создавшимся положением, тем определеннее приходил к заключению, что перед лицом всенародной совести возможно лишь религиозное оправдание войны, которое ей давали наши святые (Св. Сергий Радонежский) и религиозные мыслители (Вл. Соловьев). Но найти такое оправдание дальнейшему наступлению на немцев и внушить его армии, настойчиво требовавшей прекращения начавшейся в 1914-м году явно безрелигиозной бойни, было совершенно невозможно.

Исходя из этих размышлений, я начал все определеннее склоняться к идее сепаратного мира, которую, не видя в этом внутреннего противоречия, во всех своих речах продолжал со страстью оспаривать, поскольку она исходила из большевистских кругов. Мне было ясно, что одна и та же мысль может фактически означать весьма разные вещи, в зависимости от того, кем она провозглашается и как проводится в жизнь.

К идее сепаратного мира меня, впрочем, подводили и другие соображения. В связи с грозившими политическими осложнениями, то есть с возможными попытками захвата власти реакционно-монархическими или анархо-большевистскими кругами, мне казалось весьма важным сохранить в руках Временного правительства, вплоть до созыва Учредительного собрания, преданную ему и дисциплинированную армию. Закрепить же за собою армию, всеми помыслами рвущуюся к миру, не гарантируя ей его близкого заключения, мне, ввиду бешеной агитации большевиков, казалось решительно невозможным.

Конечно, Временное правительство, пожертвовав Милюковым и обнародовав свой миролюбивый манифест, сделало очень много в этом направлении, но солдатской массе этого не было видно. На постоянно задаваемый солдатами вопрос: «что же нам до тех пор

и воевать, пока немцы с союзниками не сговорятся?» у нас, фронтовых деятелей, не было удовлетворяющего солдат точного ответа. Убедить солдат в серьезном («без подвоха») стремлении Временного правительства к миру, могли только две вещи: отказ от наступления и указание срока прекращения войны.

Под влиянием этих размышлений во мне как-то сам собою сложился следующий план правительственных действий: 1) объяснение союзникам, что Россия, принципиально отказываясь от наступления, держит фронт еще некоторое время (3–4 месяца), после чего, в случае не открытия общих мирных переговоров, обращается непосредственно к центральным державам с предложением сепаратного мира; 2) срочный созыв Учредительного собрания, хотя бы и без достаточной юридической подготовки (быстрое осуществление революционной правды мне представлялось, ввиду положения на фронте и в стране, гораздо важнее тщательной разработки выборного права, тем более что солдатско-крестьянская масса жила страхом, как бы ей под крики «земля и воля» не прозевать своей земли); 3) мужественная и быстрая ликвидация большевизма путем ареста, а при какихлибо неожиданных осложнениях применение и более строгих мер.

Вполне достаточным для принятия таких крутых мер основанием мне представлялось то, что стреляя, к тому же из засады по правительственным комиссарам и штурмовым батальонам, большевики сами переводили себя из лагеря политических противников власти, которым гарантировалось свободное высказывание мнения, в лагерь вооруженных врагов, с которыми, в условиях гражданской войны, расправляются по-военному.

Об этом своем плане действий я впервые обстоятельно говорил в Каменец-Подольске с кем-то из членов Исполнительного комитета, если не ошибаюсь,

с Шапиро, выступавшим на съезде с докладом о власти. Думаю, что содержание нашей беседы стало известным стоявшему близко к Керенскому Станкевичу, благодаря чему я и был вызван последним в Петроград в связи с его назначением на должность начальника Политического отделения в кабинете военного министра. Было это, вероятно, в конце мая, или первых числах июня.

Переговорив со Станкевичем, я не без некоторых колебаний решил принять должность заведующего Культурно-просветительным отделом Политического отделения. К этой должности присоединилась и вторая. Второго июня я был назначен редактором политического отдела «Инвалида», который мне, ввиду несоответствия этого названия той новой роли, которую почтенный бюрократический орган военного министерства должен был играть в жизни армии, представлялось правильным переименовать в «Армию и флот свободной России».

Впоследствии, в конце июля, в связи с назначением Савинкова управляющим военным министерством и уходом Станкевича на фронт, я занял его должность руководителя всего Политического отделения.

Для понимания дальнейшего должен подчеркнуть, что Политическое отделение военного кабинета к моменту моего назначения его начальником, было преобразовано в целое управление и одновременно выделено из кабинета военного министра, во главе которого Керенским был поставлен близкий ему генерал Барановский, стремившийся к сосредоточению всех важных дел в своих руках.

Благодаря такому положению дел, как будто бы самостоятельное Политическое управление получало характер не то канцелярии при кабинете Барановского, не то какого-то полуакадемического органа при нем. Все это было мне не по душе и не по темпераменту.

Быстро принимать ответственные решения я, как начальник Политического управления, не мог, и эта вынужденная бездейственность при напряженной деятельности все время угнетала меня. Время моего пребывания в Политическом управлении я вспоминаю с тоскою, мукою и стыдом за все сделанные и допущенные мною ошибки. Грешный дух уныния за всю жизнь не владел мною с такою силою, как в месяцы моей призванности к активной политической работе.

Придя впервые в военный кабинет на Мойке, я был поражен полным отсутствием всего необходимого для исполнения какой бы то ни было работы. В первом этаже сухомлиновского особняка, затянутом по стенам зеленым шелком и обставленном остатками мягкой, будуарной мебели, царили пустота и беспорядок. Станкевича не было. В самой отдаленной комнате одиноко сидел за пишущей машинкой толстенький военный, небольшого роста с лицом грузинского Наполеона. Это был молодой полковник генерального штаба Багратуни, рекомендованный Станкевичу Офицерским съездом в Петрограде. Между нами сразу же завязался оживленный и интересный разговор о будущей совместной работе. Через несколько времени к нам подошел и любезно представился мне очень высокий и очень худой человек с печальными, вопрошающими глазами и мелкими, нерешительными, трепыхающимися жестами. Вошедший оказался графом Павлом Михайловичем Толстым. Юрист по образованию, проведший всю войну на фронте, главным образом, кажется, в штабах, Толстой был привлечен Станкевичем для разработки и кодификации нового военного законодательства. С самого начала он показался мне человеком медленного ритма, мало пригодным к творческой работе в условиях развертывающейся революции. Если не ошибаюсь, я подписал тщательно переписанный

на машинке увесистый том до мельчайших подробностей разработанного Толстым положения о новых правах и обязанностях солдат совсем незадолго до захвата власти большевиками.

Четвертого сотрудника Станкевича я как-то случайно обнаружил в двух занятых им под свой отдел комнатах. Это был только что вернувшийся с каторги капитан Калинин. Угловатый, жилистый офицер с фанатичным энергичным лицом и со спадающим на лоб интеллигентским чубом жестких черных волос. Какой отдел он был призван возглавлять, я сказать не могу. В Политическом управлении я его не помню. Скорее всего он так же, как и Багратуни, вскоре переменил место и род своей деятельности.

В первые две недели нашей работы под руководством Станкевича мы только то и делали, что ожидали Керенского, который должен был, по мысли Станкевича, являться источником нашей воли и мысли, и добывали столы, стулья, полки, машинки и писарей.

Необходимый для проведения революционных идей в жизнь технический аппарат и инвентарь мы через некоторое время добыли и наладили, но с появлением Керенского дело никак не устраивалось. Станкевич целыми днями ловил его, но Керенский постоянно ускользал от него. Помню, что мы ночи напролет ждали Керенского в отделе, но не помню, чтобы он хоть раз появился у нас. О том, чтобы подробно изложить ему план своей деятельности и получить от него санкцию на проведение необходимых мероприятий, нечего было и думать. Неустанно носясь над хаосом революции, он был вездесущ, а потому и неуловим. Заставить его хоть на минуту «снизиться» не было никаких человеческих сил. Слово водя в Совете министров, в Совете рабочих и солдатских депутатов, на фронте и в тылу, он даже и не пытался руководить Политическим отделом

своего военного кабинета. Тратя непростительно много времени на прием всевозможных просителей и непрошенных советчиков, он не удосуживался найти хотя бы двух часов в неделю для личного руководства нами. Для того, чтобы добиться переименования «Инвалида», я должен был устроиться в поезде, с которым Керенский спешно отъезжал в Могилев. Лишь за обедом в его салон-вагоне удалось мне изложить сущность дела и получить его согласие. В пути Керенский был в прекрасном настроении, охотно слушал мои рассказы о нашей с Савинковым работе на фронте, но углубления в проблемы избегал. Замученный правительственным кризисом и всею остальною круглосуточною петроградскою суетою, он чувствовал право на заслуженный вагонный отдых. Доложить ему мой план действия мне не удалось.

Думаю, что если бы Керенский чаще пользовался своим бесспорным правом на отдых, дело революции от этого только бы выиграло. Я глубоко уверен, что большинство сделанных Керенским ошибок объясняется не тою смесью самоуверенности и безволия, в которой его обвиняют враги, а полною неспособностью к технической организации рабочего дня. Человек, не имеющий в своем распоряжении ни одного тихого, сосредоточенного часа в день, не может управлять государством. Если бы у Керенского была непреодолимая страсть к ужению рыбы, он, может быть, и не проиграл бы России большевикам. Руководство людьми, да еще в революционную эпоху, очень большое искусство, требующее, как всякое искусство, точной и предметной интуиции. Интуиция же, младшая сестра молитвы, любит тишину и одиночество.

Не имея возможности лично руководить Политическим отделом своего кабинета, Керенский должен был бы поручить это руководство кому-нибудь из близких

ему военных. Но он и этого не сделал, скорее всего забыл, занятый более важными делами. После ухода Станкевича, который, пробыв на своей должности всего только две недели, ушел комиссарствовать на фронт, не успев ничего наладить, Политический отдел совершенно повис в воздухе. Правда, во втором этаже сухомлиновского особняка мы, главные работники Политического отдела, ежедневно встречались за завтраком с ближайшими сотрудниками Керенского, генералом Барановским и товарищами военного министра генералом Якубовичем и князем Тумановым, но от этих, поначалу малодружественных встреч, не получалось ни малейшей пользы для дела.

Якубович, толстый, грузный человек, похожий на гоголевского Яичницу, и миниатюрно-изящный, грустноликий князь Туманов, не имели к нам никакого касательства. Барановский же держал с нами, в качестве начальника военного кабинета, лишь самую поверхностную связь (помню, как назначенный политическим редактором «Инвалида», я представлял ему своих сотрудников), но ни в какой мере и степени не руководил нами.

Предоставленные самим себе и не спаянные друг с другом общей идеей, мы поневоле начали действовать каждый сам по себе. Что делал капитан Калинин, я не знаю. Толстой, с выписанными им помощниками, всецело отдался вопросу юридического обоснования уже проведенных в армии реформ. А я, отложив в сторону всякое попечение о тех больших, принципиальных планах, которые побудили меня войти в Политическое управление, приступил, как умел, к исполнению своей прямой обязанности по организации культурно-просветительной работы в армии.

В этом малом деле я сразу же натолкнулся на все те трудности, в которых захлебывалось Временное

правительство. Одним из главных орудий борьбы за душу армии нашим левым партиям представлялась агитационная брошюра и ее широкое распространение через новообразованные армейские комитеты. Ввиду провозглашенной Временным правительством свободы слова и печати в моем распоряжении не было ни малейшей возможности не допускать к обращению на фронте явно антиправительственной литературы. Влиять на общественное мнение в армии можно было только более или менее сложными окольными путями: личным воздействием на приезжавших с фронта делегатов, даровым снабжением их заранее заготовленною литературою и «пристрастным» распределением правительственных субсидий между отдельными партийными организациями. Вести эту работу приходилось, конечно, весьма осмотрительно, не как правительственную, а как общественную, с привлечением к ней представителей Совета, партий, учительского союза и отдельных видных деятелей педагогического мира.

Чтобы хоть как-нибудь влиять на это многоголосое представительство революции надо было иметь не только свою линию, но и хорошо знать партийную литературу, которую я никогда не изучал и к которой никогда не имел больших симпатий. Для быстрого овладения этим бесконечным материалом мне пришлось создать целый штаб лекторов, так как самому читать было совершенно некогда: я целые дни проводил в приемах фронтовых делегаций, в переговорах с представителями партий, на заседаниях культурно-просветительной комиссии Совета, в борьбе с министерством за расширение своего бюджета и в переговорах с авторами, так как новое положение дела требовало, на мой взгляд, создание новой по духу и стилю агитационно-просветительной литературы.

Одновременно мне, в связи с моим положением и духом эпохи, приходилось очень часто выступать на всевозможных митингах и собраниях.

Исполняя свои прямые обязанности наивозможно добросовестно и, думаю, не безуспешно, я все же очень тяготился ими. Направляясь в восемь часов утра какими-то тихими улицами и по набережной Фонтанки к месту своей службы, я никогда не радовался предстоящему дню и даже не думал об ожидающей меня работе, колесо которой меня механически захватывало лишь в ту минуту, когда я садился за письменный стол. Находясь вне службы, я дни и ночи думал не о культурно-просветительных брошюрах, а исключительно о подготовлявшемся наступлении и его неминуемой неудаче, которая, по моему мнению, должна была обернуться страшным усилением большевиков в тылу и на фронте.

Тревога о возможном срыве наступления мучила, конечно, всех, кто словом, делом и сочувствием участвовал в его подготовке. Но моего убеждения, что оно даже и в случае неожиданного успеха будет на руку большевикам, победа над которыми, как я уже говорил, мне представлялась возможной лишь при заключении немедленного, хотя бы даже и сепаратного мира, не разделялась в близких мне кругах решительно никем. Идея «замирения» казалась правительственным партиям настолько чудовищной, утопичной и преступной, что, постоянно мучаясь ею, я говорил о ней лишь с самыми близкими друзьями; официально же и прежде всего на страницах «Армии и флота свободной России» я твердо защищал оборонческую линию Временного правительства. Это было очень тяжело, но иного выхода, за исключением подачи в отставку, я для себя не видел. Трагедия всякой практической, в особенности же политической деятельности в том ведь и заключается, что в ней возможно лишь присоединение к одному

из борющихся станов, но не возможна борьба за правильную идею, не имеющую под ногами никакой реальной почвы.

В начале этой главы я вскользь уже говорил, что последнюю причину всего, что случилось с Россией, надо искать в том, что народное понимание революции, как миротворческой силы, долженствующей положить конец безумию и греху войны, не разделялось ни одним из политических лагерей, кроме большевиков.

Возглавляемые профессором Милюковым умные, образованные и деятельные «кадеты», в руки которых сразу же попало министерство иностранных дел, были слишком определенными западниками-позитивистами, чтобы считаться в своей реальной политике с таким невесомым фактором, как нравственно-религиозное убеждение простого народа. Всенародную мечту о мире они сразу же взяли под подозрение, объявив ее печальным следствием успешного воздействия немецкой провокации и большевистской пропаганды на шкурнические инстинкты солдатской темноты. Стремясь к перевороту, прежде всего ради доведения войны до победоносного конца, партия Народной свободы была уверена, что и народ, обретя свободу, захочет победы.

На той же кадетской точке зрения стояли и социалисты-оборонцы, среди которых было сильно желание разбить вслед за «кнутогерманской» монархией Романовых и «оплот реакции» в Европе, монархию Гогенцоллернов.

В результате такого отношения к миру наших либералов и социалистов, идеей мира естественно завладели большевики. Теряя в большевистском освещении свою чистоту и совесть, она все же сохраняла в нем не только свою горячность, действенность, но даже приобретала и некую раскрещенную и тем демонизированную религиозность.

Ближе всех других к народной идее революции был, конечно, Керенский. Его ощущение революции, как общенародного дела, его бесспорный нравственный пафос, его лишенный шовинистического острия живой патриотизм, его внутренняя свобода, если не от интернационалистических организаций, то все же от тезисов Интернационала, как будто бы предопределяли его к услышанию народных чаяний и исполнению народной воли. Если он этой воли – и прежде всего воли к миру – все же не исполнил, то объясняется это тем, что он был слишком убежденным либерал-демократом, в русском смысле этого термина, то есть общественным деятелем, до мозга костей проникнутым убеждением, что «общая воля народа» не может быть явлена иначе, как на путях свободного волеизъявления свободно выбранных представителей всех слоев и партий.

Тратя бесконечное количество времени и почти все свои силы на создание той партийно-правительственной комбинации, в которой предносящаяся ему общая воля народа («volonte generale») по возможности полно сливалась бы с волею его представителей во Всероссийском совете («volonte de tous»), Керенский с каждым днем все очевиднее отставал от темпа событий и все безвозвратнее терял возможность стать настоящим вождем народной революции. Изредка проявляя отрицательные черты «вождизма», он по существу все же до конца оставался пленником неустойчивого советски-правительственного большинства.

Убеждение, что в случае дальнейшей отсрочки заключения мира Ленин одержит легкую победу над Керенским, сложилось во мне уже на первом Всероссийском съезде советов, где военный министр как будто бы одержал блестящую победу над большевиками.

Начавшийся 3-го июня, Съезд длился очень долго, чуть ли не около трех недель. Только что вызванный

Станкевичем с фронта – я с тоскою и тревогою ходил накануне открытия Съезда по классам и залам Кадетского корпуса, присматриваясь и прислушиваясь ко всему происходящему.

Момент созыва Съезда внушал революционной демократии большие опасения. Подготовляя наступление, Керенский ощутимо натягивал вожжи. Только что за несвоевременностью был запрещен Украинский воинский съезд и восстановлена статья 129-я старого уголовного положения, угрожавшая тремя годами тюрьмы за подстрекательство к уголовным преступлениям, неподчинение властям и натравливание одной части населения против другой. В армии за неповиновение начальству, братание и сношение с неприятелем вводились еще более тяжелые кары в виде каторжных работ, лишения избирательных прав, лишения прав на землю и т. д.

Весьма раздражало демократию и то, что одновременно со Съездом советов в Петрограде заседали Офицерский и Казачий съезды, и нарасхват раскупалась простонародьем «Маленькая газета» талантливых братьев Сувориных, которая под флагом независимого социализма твердо держала буржуазный курс и не без успеха шёпотом призывала к национальной диктатуре.

Приезд делегатов начался задолго до торжественного открытия Съезда. Огромное здание Кадетского корпуса уже к первому июня было запружено чуть ли не двухтысячною толпою, провинциальная часть которой тут же и ночевала. В синих от табачного дыма гулких коридорах стоял неумолкаемый шум. Вокруг бойких ораторов и делегатов с мест жадно теснились возбужденные слушатели. Чтобы понять, какие где ведутся речи, знакомому с советской средой человеку не нужно было прислушиваться к ним. Наметанному глазу издали было видно, какого толку жестикулирующий в конце

коридора, или в углу класса, оратор. Левых социалистов-интернационалистов окружали потрепанные серо-черные пиджаки; большевиков – те же пиджаки, но с сильною примесью распоясанных и расстегнутых солдатских гимнастерок. Вокруг правительственных партий, блок которых (как впоследствии выяснилось) составлял $^{5}/_{6}$ съезда, широко разливался защитный цвет, на фоне которого виднелось много офицерских, главным образом прапорщичьих кителей и вполне приличных интеллигентских пиджаков.

Особенно сильная давка замечалась, как всегда, у книжных киосков и в тесной, мрачноватой столовой, где шла постоянная борьба за стакан чаю и тарелку щей.

Вдали ото всей этой суматохи и суеты, за закрытыми дверями огромных классов, где еще недавно чинно сидели за партами стриженные машинкой кадеты в своих туго перетянутых ремнями форменных рубашках, шли непрерывные, фракционные заседания. Правые эсеры делали последние усилия, чтобы справиться с возникшей в партии левой оппозицией Комкова. Правые меньшевики вели такую же борьбу со своим теоретически сильным, но практически слепым крайне-интернационалистическим крылом. Благодаря такому аналогичному расколу в обеих партиях, традиционное разделение революционной демократии на народников и марксистов, осложнялось тактическим объединением правых народников с марксистским центром и левых марксистов-интернационалистов с левыми эсерами интернационалистами, настроенными на большевистский лад.

Этот сложный переплет фракционных точек зрения запутывала еще и скрытая от непосвященных глаз борьба между евреями-националистами и интернационалистически настроенным еврейством. На почве быстро

развившегося меньшинственного сепаратизма и той большой роли, которую евреи играли в Совете рабочих и солдатских депутатов, эта внутриеврейская борьба приобретала очень большое значение в политике русских меньшевиков. Гномообразный, желтолицый Либер с ассирийской бородой настойчиво защищал национально-культурную автономию, а бритый, скептически-брезгливый Суханов считал членов, незадолго до Съезда советов собравшейся в Киеве Украинской рады «за безответственных интеллигентов и патриотов несуществующего украинского народа».

Нетрудно себе представить, что при таком положении вещей, всякий, попадавший в советский аппарат вопрос, бесконечно затягивался решением. Обыкновенно он вообще не разрешался, а лишь перетирался на идеологической терке. За редкими исключениями в результате многодневных прений вызревало не решение, а всего только ничего не разрешающая резолюция.

Полагаю, что большинство советских лидеров прекрасно понимало ненормальность создавшейся практики, но отойти от навыков своей работы не могло; просто не знало, что же вообще можно делать в жизни, если не заседать, не обсуждать докладов, не выносить резолюций и, главное, не бороться с правительством. Все несчастье заключалось в том, что годами налаженный, освященный традицией и «кровью героев» партийный аппарат и в новой обстановке продолжал работать по-старому.

Остановить эту бесплодную работу революционная демократия не могла, не рискуя остаться не у дел. Не мог остановить ее, то есть попросту разогнать Совет, как требовали правые круги и Керенский, так как в мешавшем ему управлять страною многофракционном демократическом аппарате было объединено большое количество преданных ему политических сил, без под-

держки которых ему было бы очень трудно вести борьбу против правых элементов. Правда, в победе правых ничего угрожающего не было: революция смела столь многое, что о возврате к старому не могло быть и речи. Страшно было лишь то, что роспуск Совета усилит позицию большевиков, которые, в отличие от правых, с самого начала имели все шансы на победу.

Искренне защищая на этом основании Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов, как необходимый при создавшихся условиях базис власти, я приходил в полное отчаяние при виде того, что творилось на его заседаниях: бесконечно многословные доклады и бесконечные прения по ним, ни малейшего чувства эпохи и темпа событий, болезненный интерес к тончайшим оттенкам отвлеченных точек зрения и полное отсутствие серьезной озабоченности фактическим состоянием России. Во время немногих деловых докладов – полупустующий зал и зевки на всех скамьях. Общее впечатление то, что для «товарищей» Россия труп, на котором они со страстью изучают анатомию революции.

Занятый организацией своего культурно-просветительного отдела, я не очень часто заглядывал в кадетский корпус и ничего, кроме общего удручающего впечатления, не выносил.

Ярким пятном стоит в памяти лишь появление Ленина. Таинственно скрывавшийся в недрах своей партии вождь, впервые выступил на Съезде после докладов Либера и Церетели по вопросу о власти, то есть по вопросу об отношении к Временному правительству. В длившихся целых пять дней прениях Ленин говорил одним из последних. Хорошо помню, что время ораторов было уже ограничено 15-ю минутами.

Из 777-и делегатов с установленной партийностью, большевиков было всего только 105 человек. Говорить

среди врагов много труднее, чем среди единомышленников. Впрочем, Ленину было на что опереться и во враждебной ему аудитории. Как ни как он был знаменитостью и возбуждал к себе величайший интерес.

Первое впечатление от Ленина было впечатление неладно скроенного, но крепко сшитого человека. Небрежно одетый, приземистый, квадратный, он, говоря, то наступал на аудиторию, близко подходя к краю эстрады, то пятился вглубь. При этом он часто, как семафор, вскидывал вверх прямую, не сгибающуюся в локте правую руку.

В его хмуром, мелко умятом под двухэтажным лбом руссейшем, с монгольским оттенком лице, тускло освещенном небольшими, глубоко сидящими глазами, не было никакого очарования; было в нем даже что-то отталкивающее. Особенно неприятен был жестокий, под небольшими подстриженными усами брезгливо-презрительный рот.

Говорил Ленин не музыкально, отрывисто, словно топором обтесывая мысль. Преподносил он свою серьезную марксистскую ученость в лубочно-упрощенном стиле. В этом снижении теоретической идеи надо, думается, искать главную причину его неизменного успеха у масс. Не владея даром образной речи, Ленин говорил все же очень пластично, не теряя своеобразной убедительности даже при провозглашении явных нелепостей. Избегая всякой картинности слова, он лишь четко врезал в сознание слушателей схематический чертеж своего понимания событий. Был в его распоряжении и юмор, не тонкий, но злой. Самое же главное, что связывало Ленина с рабочей аудиторией, была непосредственно ощущаемая в нем привязанность – не любовь – к рабочему классу. Не даром он заграницей, как рассказывает Крупская, охотно обедал в рабочих харчевнях не ради дешевизны, а потому что в них, по его мнению, готовили вкуснее, чем в дорогих ресторанах.

Содержание ленинской речи произвело на всех присутствующих, не исключая и некоторых большевиков, впечатление какой-то грандиозной нелепицы. Тем не менее, его выступление всех напрягло и захватило.

Прежде всего Ленин заявил, что, вопреки мнению господина министра почт и телеграфов гражданина Церетелли, будто бы в России нет партии, готовой принять всю власть целиком, такая партия в России имеется. Большевики не только в принципе готовы принять всю власть, но готовы сделать это завтра же.

Переходя к вопросу внутренней политики, Ленин удивил всех предложением немедленно же арестовать несколько сот капиталистов, дабы сразу прекратить их злостную политическую игру и объявить всем народам мира, что партия большевиков считает всех капиталистов разбойниками.

По вопросу о внешней политике, прославленный вождь отделался заявлением, что после принятия власти его партия немедленно выступит с предложением всеобщего мира. Нового в этом ничего не было, так как предложения о заключении мира уже не раз делались, как Временным правительством, так и Советом. О сепаратном мире не было сказано ни слова.

Ленину с большим ораторским подъемом и искренним нравственным негодованием возражал сам Керенский. С легкостью разбив детски-примитивные положения Ленина, он все же не уничтожил громадного впечатления от речи своего противника, смысл которой заключался не в программе построения новой жизни, а в пафосе разрушения старой.

Многочисленные враги Ленина чаще всего рисуют его начетчиком марксизма, схоластом, талмудистом, не замечая того, что, кроме марксистской схоластики, в Ленине было и много Бакунинской мистики разрушения. Быть может, Ленин был на Съезде единственным

человеком, не боявшимся никаких последствий революции и ничего не требовавшим от нее, кроме дальнейшего углубления. Этою открытостью души навстречу всем вихрям революции, Ленин до конца сливался с самыми темными, разрушительными инстинктами народных масс. Не буди Ленин самой ухваткой своих выступлений того разбойничьего присвиста, которым часто обрывается скорбная народная песнь, его марксистская идеология никогда не полонила бы русской души с такою силою, как оно, что греха таить, все же случилось.

После обсуждения вопроса об отношении к власти перешли к обсуждению вопроса о войне. Многочасовой доклад скучно читал хриплый Дан-Гуревич. Снова в многодневных прениях выступали все ораторы от Керенского до Ленина. Благодаря тесной связанности обоих вопросов, во всех речах повторялись все те же мысли и даже те же обороты речи, что и в предыдущих прениях. Казалось, что перед тобою вертится какая-то словесная карусель. Было и безнадежно скучно и предельно страшно: как раз в эти дни на Юго-Западном фронте шли последние подготовления к наступлению, а по Петрограду расползались слухи о готовящемся выступлении большевиков в целях свержения Временного правительства.

Несмотря на то, что громадное большинство Съезда явно стояло на стороне Временного правительства, оппозиционные течения все же вели страстную борьбу против лидера правительственного большинства, Ираклия Церетелли (нельзя же не использовать всероссийской народной трибуны).

Группа Мартова непонятным образом защищала идею всеобщего перемирия, не вдаваясь в обсуждение вопроса о мире.

Сухановцы хитроумно, но беспредметно ратовали за немедленный разрыв с союзниками и «за сепаратную

войну революционной России с империалистической Германией» в случае, если бы последняя и после разрыва Петрограда с Парижем и Лондоном, не отказалась бы от своих «грабительских» целей.

Большевики же шли еще дальше, проповедуя священную войну русской революции против всех европейских империализмов за освобождение всех попранных народностей Азии и Африки.

По сравнению с этими беспредметными программами, правительственный план: восстановление боеспособности революционной армии и оказание дальнейшего давления на европейскую демократию, а через нее и на союзнические правительства, в целях прекращения войны, казался верхом политической разумности. Керенский в эту разумность верил.

В июне 1917-го года мало кому было ясно, *насколько легче революции входят в логику своего безумия, чем в разум своей истины.*

В день наступления 18-го июня работа в Политическом отделе ни у кого не клеилась. Все в страшном волнении ждали первых вестей с фронта. Перед зданием военного министерства на Мойке с утра начала собираться большая и много лучше, чем в те дни было привычно, одетая толпа. На ярком солнце веселого июньского утра живописно пестрели дамские шляпы, светлые зонтики и офицерские погоны. В толпе чувствовались праздничное волнение и патриотический подъем. Около полудня к собравшимся вышел товарищ военного министра, генерал Якубович и прочел телеграмму из Ставки, в которой сообщалось, что «ударники» увлекли за собою полки доблестной 7-мой армии, одержавшей блестящую победу над немцами.

В толпе поднялось непередаваемое ликование, раздалось, давно не слышанное на петроградских улицах дореволюционное «ура», где-то неподалеку бодро

и звонко грянул военный оркестр. Стоявший у подъезда извозчик и несколько простолюдинов обнажили головы и перекрестились.

За завтраком в Политическом управлении царило всеобщее оживление. Если и не все верили в дальнейший успех нашего оружия, то все делали вид, что верят.

После окончания занятий в Политическом отделении, я долго бродил по улицам. Все они были запружены тою же взволнованною буржуазною толпою, которую социалистические газеты презрительно именовали «публикой». Часто попадались на глаза еще за несколько дней перед тем немыслимые на улицах столицы плакаты в честь Керенского и Временного правительства.

Вечером всюду шли патриотические митинги. Даже Петроградский совет, несравненно более распропагандированный большевиками, чем Всероссийский, вотировал резолюцию с выражением горячего привета товарищам фронтовикам.

Согласно своему решению всемерно поддерживать Временное правительство, несмотря на свое расхождение с ним по вопросу о войне, я и сам выступал в тот день на каком-то митинге. Говорил я, как и все, уверенно и горячо, хотя сердце холодело от страха, что успешно начатое наступление очень скоро обернется неслыханным поражением.

Так оно и случилось. 9-го июля Временным правительством была получена сводная телеграмма председателя Исполнительного комитета Юго-Западного фронта Дашинского и председателя Исполнительного комитета Н-й армии Киреенко, превзошедшая своим содержанием самые мрачные предчувствия.

«Начавшееся 6-го июля немецкое наступление на фронте II-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революци-

онной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями сознательного меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи. Уговоры и убеждения потеряли силу, на них отвечают угрозами, а иногда и стрельбой. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника. Были случаи, что отданные приказания спешно выступить в поддержку, обсуждались часами на митингах, почему поддержка опаздывала на сутки» При первых выстрелах неприятеля части нередко бросают позиции. На протяжении сотен верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них, здоровых, бодрых, потерявших всякий стыд, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части. Члены армейского и фронтового комитетов и комиссары единодушно признают, что положение требует самых крайних мер и усилий, ибо нельзя останавливаться ни перед чем, чтобы спасти революцию от гибели».

Почти тождественные по содержанию телеграммы были двумя днями позднее присланы Временному правительству, Центральному исполнительному комитету и Верховному главнокомандующему комиссарами 7-й и 8-й армий Савинковым и Филоненко. Обе телеграммы кончались требованием немедленного введения смертной казни.

Дни разгрома русской армии сравнительно небольшими немецкими силами были и на внутреннем фронте очень трудными и сложными днями.

Власть снова переживала острый кризис. После того, как даже и те социалистические партии, которые имели своих представителей во Временном правительстве,

вышли на демонстрацию в память жертв революции без лозунга поддержки коалиционного министерства, отношения между кадетским и социалистическим флангами власти стали не только натянутыми, но и угрожающими. Кадеты, не без основания, чувствовали, что меньшевистско-эсеровское большинство Совета как бы стыдится перед рабочими массами своей тесной связи с представителями либеральной буржуазии и, не желая играть роль бессильных заложников во вражьем стане, подготовляет отзыв своих представителей из правительства.

Большевики, их поддужные меньшевики-интернационалисты и левые эсеры все время раздували этот конфликт. Их пресса изо дня в день издевалась над министрами-социалистами, этими «лакеями буржуазии» и требовала передачи всей власти Советам, очищенным от «лакейского» духа, то есть в сущности большевистскому меньшинству.

После того как на фоне таких натянутых отношений между кадетами и социалистами, один за другим разыгрались два серьезных конфликта: первый по поводу срока созыва Учредительного Собрания, а второй, гораздо более острый, по поводу заключенного Керенским, Церетели и Терещенко договора с Украинской радой, министры-кадеты подали в отставку.

На следующий же день под вечер на улицы Петрограда вышли вооруженные толпы солдат и рабочих.

В течение трех дней повстанческая волна несколько раз то подымалась до предельной ярости, то растерянно спадала, как бы не зная, что ей с собой делать. Всюду шли митинги; ораторы-большевики и анархисты безудержно громили Временное правительство и советское большинство; от казармы к казарме перебегали какие-то темные подстрекатели, уговаривавшие солдат примкнуть к вооруженному выступлению заводов;

но за всем этим не чувствовалось ни центральной руководящей воли, ни заранее выработанного плана. Как-то вслепую носились по городу вооруженные пулеметами грузовики, как-то сами собою стреляли ружья. На перекрестках, как сообщает Милюков, газетчики без разбору раздавали вооруженным людям патроны. Помню, как по пути в Таврический, я встретил пьяную компанию во все горло оравшую: «Товарищи, айда бить жидов». В разъяренное красное море с разных сторон вливались черносотенные струи. По городу шел откровенный грабеж.

Правительственной руки в июльские дни в Петрограде не чувствовалось. Керенский был на фронте, министры-кадеты в отставке. Министры-социалисты если и действовали, то не как министры, а лишь как руководители советского большинства. О Мариинском дворце и о князе Львове, как о главе Временного правительства, все забыли – он был в нетях.

Борьба шла между Таврическим дворцом и дворцом Кшессинской, где орудовал Ленин, который сознательно не руководил движением, а лишь разжигал и раздувал его, как бы примериваясь к предстоящему захвату власти. В Таврическом гасили пожар бумажными резолюциями, которые быстро сгорали в огне восстания.

Внезапно по Петрограду пронесся кем-то пущенный слух, что на Варшавский вокзал приезжал вооруженный автомобиль с целью арестовать Керенского. Попытка ареста военного министра была, кажется, единственным определенным жестом восстания. Все остальное было скорее какою-то бунтарскою маятою, чем революционным действием.

Поздно вечером к Таврическому дворцу стали собираться усталые от демонстраций и перестрелок с казаками рабоче-солдатские толпы. Не зная, что делать, они то требовали ареста Центрального исполнительного

комитета, то выслушивали членов этого комитета, убеждавших их разойтись по казармам и домам. Одновременно с увещевательными речами представителей советского большинства в залах дворца, на дворе шли бурные большевистские митинги, требовавшие немедленной передачи всей власти Советам. Особенно шумный успех имел Троцкий, умный, горячий и смелый оратор, с криво-сидящим на нервных ноздрях пенсне и демонически-петушиной шевелюрой. По толпе ходили разные слухи. Успокоительно подействовало вдруг пронесшееся известие, что Временное правительство уже арестовано. Коли арестовано, значит все в порядке, можно и расходиться.

Уже после полуночи открылось заседание Центрального исполнительного комитета. Снова лились бесконечные речи о преобразовании правительства и об усилении борьбы против большевиков. К утру постановили направиться в казармы и фабрики и открыть митинги в целях предотвращения кровопролития.

Уговоры не помогли. Как будто бы притихшее к вечеру 3-го числа восстание на следующий день вспыхнуло с новою силою. Объясняется это, думается, двуличною политикою большевиков. Отменив ночью призыв к продолжению «мирных демонстраций», они не то забыли отменить вызов в Петроград распропагандированных ими кронштадских матросов, не то не осмелились это сделать. Как бы то ни было, на следующее утро в Петроград прибыло несколько тысяч матросов под командою своих любимцев Рошаля и Раскольникова. Высадившись, они с оружием и оркестрами направились к балкону дворца Кшессинской. Вышедший к ним Ленин, как и накануне, громил Временное правительство и соглашательскую политику советского большинства, призывал к верности большевикам, к которым должна перейти вся власть, но снова не давал

своей гвардии никаких определенных директив. В том же духе выступал и вертевшийся при Ленине Луначарский.

От дворца Кшессинской кронштадцы двинулись к Таврическому дворцу. По дороге к ним присоединились рабочие, а затем и озлобленные, разнузданные солдатские массы.

В полдень по всему городу шла случайная, беспорядочная перестрелка между повстанцами и верными правительству отрядами юнкеров, казаков и каких-то воинских частей. В серьезный бой перестрелка, однако, не переходила: и повстанцы и их противники как-то избегали друг друга. Мешал ожесточению боя и проливной дождь.

Для меня нет сомнения, что шатавшимся по Петрограду массам, как фронты борьбы, так и облики противников были совершенно неясны. Для доказательства этого достаточно привести два общеизвестных факта, особенно подробно рассказанных П. И. Милюковым в «Истории второй русской революции». Во-первых: случай с «селянским» министром Черновым, которого пришедшие к Таврическому дворцу с требованием объяснения причин ареста матроса Железняка, кронштадтцы мимоходом чуть не убили за то, что он не решился немедленно же принять полноту власти и передать землю крестьянам. Эта трагикомическая история могла бы кончиться для Чернова весьма печально, если бы подоспевший Троцкий не объяснил своим единомышленникам, «красе и гордости русской революции», что они зря предлагали Чернову власть, так как он министр Временного правительства и представитель соглашательского большинства Совета.

Еще характернее случай с каким-то запасным полком из Красного Села, вызванным большевиками на защиту революции. Не встреченный никем из большевистских вождей, полк выслал в Таврический дворец

делегацию для получения инструкций. К делегации вышел хитроумный хрипун Дан, тогда еще верный сподвижник Церетели. Не растерявшись, он сначала приветствовал делегацию, а затем, подтвердив, что революция действительно в опасности, попросил командира полка принять все необходимые меры для защиты Совета и его Центрально-исполнительного комитета от контрреволюционных банд. Так полк, вызванный большевиками для низложения соглашательского Исполнительного комитета, послушно встал на его защиту.

Это ли не доказательство, до чего слабо разбирались во всем происходящем даже и сознательно преданные большевикам части.

Несмотря на то, что Временное правительство действовало весьма неэнергично, восстание кончилось полным поражением. Перелом настроения наступил в связи с молниеносно распространившимися слухами о том, что Временное правительство перехватило какие-то документы, неоспоримо доказывающие, что Ленин получает деньги от немецкого Генерального штаба. Говорили, что Временному правительству стало даже известно, через кого идут деньги и в каком количестве. Эти детали произвели впечатление. Я прекрасно помню, как всюду поднялся злой шёпот и угрожающие большевикам речи. Дворники, лавочники, извозчики, парикмахеры, вся мещанская толща Петрограда только и ждала того, чтобы начать бить «товарищей, жидов и изменников». В иной тональности, но не менее страстно волновались круги патриотически настроенной буржуазии и либеральной интеллигенции: наконец-то можно будет с фактами в руках доказать другим то, в чем для зрячих, в сущности, людей не могло быть ни малейшего сомнения.

Важнее всего этого было, однако, то впечатление, которое попавшие в руки Временного правительства

документы произвели на делегатов воинских частей, соблюдавших нейтралитет в борьбе между повстанцами и Временным правительством. Ознакомившиеся с материалами Переверзева, преображенцы сразу же заявили, что они немедленно выйдут на подавление мятежа, что они и исполнили. Их примеру последовали и другие части.

Прибывшим на следующий день, то есть 5-го июля, с фронта правительственным войскам было уже не трудно окончательно и почти бескровно подавить восстание.

Вернувшийся с фронта Керенский мог с гордостью заявить из открытого окна Штаба округа собравшейся толпе, что русская революционная демократия не допустит никаких посягательств, откуда бы они не исходили, на ее священные завоевания: «Да здравствует земля и воля, да здравствует Учредительное Собрание».

Вопрос об отношении большевиков к немецкому Генеральному штабу весьма сложен, но разбираться в его деталях у меня нет ни малейшего основания. Мне важно лишь подчеркнуть, что, никогда не сомневаясь в том, что большевики получали крупные субсидии от немцев, я все же никогда не считал их «продажными агентами немецкого правительства», как их именовала правая и либеральная пресса. Мне они всегда представлялись столь же честными и идейно стойкими, сколь и предельно аморальными революционерами, которые и на немецкие деньги продолжали делать свое собственное дело.

К ненавистному мне аморально-фанатическому облику Ленина-революционера сообщенный прапорщиком Ермоленко факт получения большевиками немецких денег через Стокгольм, решительно ничего не прибавлял, а потому и не вызывал во мне особого возмущения. Для меня он был важен лишь тем, что давал Временному

правительству возможность принять против большевиков те меры, дальнейшее откладывание которых было действительно смерти подобно. С этой точки зрения я безоговорочно приветствовал намерение Переверзева опубликовать документы и отдать приказ об аресте большевистских главарей. В этом смысле я и выступал на большом митинге в цирке Чинезелли.

Я подробно остановился на июльских днях, потому что сказавшимся в них соотношением симпатий и распределением сил определилось все дальнейшее развитие революции: неудачное восстание Верховного главнокомандующего генерала Корнилова в конце августа и захват власти большевиками в октябре.

Большевикам июльские дни показали, что у них уже в ближайшее время может оказаться достаточно сил для захвата власти. Не победив в открытой борьбе, они все же многого достигли на внутриполитическом фронте. Очень важным результатом июльских дней было то, что кадеты окончательно разошлись с Керенским и поддерживавшим его советским большинством. Если они, несмотря на это расхождение, все же вошли в новое, образованное 15-го июля и возглавляемое уже не князем Львовым, а Керенским коалиционное министерство, то, конечно, не затем, чтобы поддерживать окончательно скомпрометировавшую себя в их глазах коалицию, а лишь в расчете на новый кризис власти, в результате которого им скорее всего мечталась военно-буржуазная диктатура.

На старых позициях оставался в сущности один только Керенский. Чувствуя, что дорогая его сердцу единая, свободолюбивая, всенародная революция с каждым днем все безнадежнее распадается на две партийные, крайнефланговые контрреволюции, он продолжал настаивать на том, что единственным выходом из трагического положения все еще остается сплочение

всех живых сил страны в сильном, коалиционно-надпартийном правительстве, поддерживаемом государственно-мыслящими элементами организованных во Всероссийском совете демократических масс.

Керенский проиграл революцию. И, тем не менее, я продолжаю, как и двадцать с лишком лет тому назад, настаивать на том, что линия Керенского была единственно правильной. Общая воля России была скорее с Керенским, чем с большевиками, или с правыми. Ненародность большевистской власти должно считать окончательно доказанной тем, что в России до сих пор царят шпионаж и террор. Беспочвенность военно-буржуазной диктатуры была явно обнаружена тою легкостью, с которой «малоэнергичным и безвольным» Керенским было в три дня раздавлено корниловское восстание, а также и неудачею Белого движения.

Вина Керенского, и очень большая вина, не в том, что он вел Россию по неправильному пути, а в том, что он недостаточно энергично вел ее по правильному. И дело тут не только в некоторых личных свойствах Керенского, а в его принципиальном, уже отмеченном мною убеждении, что «общая воля» народа должна согласоваться даже и в революционные времена с волею его правомочно избранных представителей. Осиль Керенский, оставаясь по духу и программе русским либерал-демократом, то есть свободолюбивым народником-социалистом, решительный отказ от тактики парламентарно-либералистического пристругивания друг к другу непримиримых партийных интересов и точек зрения, и мужественно порви он с «революционной демократией», которая, боясь разрыва с массами, уже начинала предавать своего правеющего вождя, то, может быть, всенародная, национальная и социальная революция и была бы спасена.

В том, что Керенский не пошел таким путем, виноват, конечно, не он один, но и те, которые, поставив

себе правильною задачей помочь ему вступить на этот путь, на самом деле затрудняли его продвижение по нем.

За роковые ошибки «главнокомандующего» Керенского вместе с ним отвечают перед историей заменивший Брусилова на посту Верховного главнокомандующего генерал Корнилов, назначенный 25-го июля управляющим военным министерством Савинков и Верховный комиссар при Ставке М. М. Фелоненко. Виноваты, конечно, еще многие, в том числе и я. Как начальник Политического управления, я никакой заметной роли играть в событиях не мог, но в личном порядке я мог бы сделать гораздо больше того, что сделал, если бы не снедавшие меня в то время уныние и безволие.

Перед тем, как перейти к делу Корнилова, я должен хотя бы вкратце рассказать о своей работе в Политическом управлении, длившейся около трех с половиною месяцев.

Больше всего меня интересовала ее неофициальная сторона: постоянное общение с Савинковым и обсуждение мер, необходимых для создания сильной революционной власти, что в нашем понимании означало освобождение Керенского от советского пленения и внутреннее сращение его колеблющейся воли с непоколебимою волею нового главнокомандующего.

Об этой главной, неофициальной, стороне моей деятельности мне придется подробнее говорить ниже.

Официальная сторона моей службы состояла в разработке и защите перед Советом военно-преобразовательной программы Савинкова, в центре которой стояло восстановление смертной казни на фронте. Сам Савинков в Совет не ездил, желая этим подчеркнуть свое презрение к «говорильне». С первого дня своего появления в министерстве, он взял тон жестоковыйного человека дела, презирающего ненужные словоизвержения. По существу он был прав, но он, безусловно, пере-

гибал палку. Так, например, он требовал от меня, чтобы я допускал к нему на прием из 20-ти человек только двоих, а остальным категорически отказывал. Проводить эту меру в условиях революционной действительности было очень трудно, так как невозможность проникнуть к министру даже и разумными людьми считалась первым признаком реакционности.

К уже описанным мною выше отделам: культурно-просветительному и юридическому присоединились еще два: отдел пропаганды и агитации и отдел личного состава; на обязанности последнего лежало выдвижение преданных Временному правительству офицеров и упорядочение института военных комиссаров. Кроме перечисленных отделов, при управлении находилось Бюро печати, в котором меня, в надежде выудить какую-нибудь сенсацию, постоянно осаждали пронырливые журналисты, и, наконец, прямой провод со Ставкой, так называемый Юз.

В качестве личного адъютанта и штабс-офицера для поручений я привлек в Управление старого приятеля по бригаде, которому и поручил заведывание сейфом секретных шифров. В мою бурную и тем не менее скучную революционную жизнь он вносил поэтический отзвук галицийских походов.

Работа меня не радовала. Я постоянно мучился невозможностью справиться со стоящими передо мною задачами. Не справлялся я, как я теперь понимаю, не только потому, что был недостаточно подготовлен для занимаемой мною должности, но и по ряду других причин, из которых главная заключалась в отсутствии всякой связи деловой работы Управления с политикой министерства и в постоянном торможении этой работы советскими учреждениями, через которые неизбежно проходили все принимаемые Управлением решения.

Ввиду этой несогласованности представители революционной демократии постоянно толклись на Мойке, а я значительную часть своего времени проводил в Таврическом дворце. Настроение в Центрально-исполнительном комитете часто менялось, еще чаще менялись члены всевозможных военных, агитационных и культурно-просветительных комиссий. Новые люди, естественно, тормозили уже налаженную работу, в результате чего она постоянно отставала от запросов жизни. Запросам же этим не было конца и края. Я с утра принимал делегации с фронта, комиссаров и представителей армейских комитетов, а также настойчивых солдатских ходоков и всевозможных прожектеров.

В центре всех трудностей стояла необходимость примирения тех трех сил, на которых военное министерство строило новую революционную власть в армии: командного состава, комиссаров и председателей армейских комитетов. Работа этого примирения таила в себе большие трудности.

Союз офицеров и союз Георгиевских кавалеров тянули вспять, были против комиссаров и комитетов. Среди комитетчиков были люди весьма разных политических направлений, начиная от кадетов и кончая полубольшевиками.

К классовой борьбе и профессиональной отчужденности присоединялась раздуваемая меньшинственными националистами племенная ненависть. Особенно бурно волновалась Украина, так что у нас в Политическом управлении не переводились «упрямые хохлы», требовавшие создания особой украинской армии. Одно время мне не давал проходу какой-то лихой, речистый штабс-капитан, требовавший создания особой гвардии для защиты Временного правительства. Со временем его сменила госпожа Бочкарева, создательница женских

батальонов, впоследствии героически защищавших вместе с юнкерами Зимний дворец против большевиков.

Кроме россиян, к нам в Управление ходило много иностранцев: секретари союзнических посольств, члены союзнических социалистических делегаций и социалисты враждебных стран, среди которых особенно хорошо помню венского социал-демократа Отто Бауера, возвращавшегося из русского плена к себе на родину. У него были какие-то затруднения с выездом, которые мне удалось уладить.

Много и напряженно работая в Управлении, я както не заметил, как оно безо всякого с моей стороны усилия превратилось в весьма солидное государственное учреждение.

Штаты служащих были увеличены, начальники отделов получили в свое распоряжение хорошо обставленные кабинеты. В канцеляриях отделов на заваленных бумагами столах деловито стучали машинки. В передней дежурили курьеры. У подъезда постоянно стоял мой автомобиль.

Как и кем все это было налажено, я сказать не могу, знаю только, что с момента моего назначения чья-то заботливая рука начала усердно устраивать не только мою служебную, но даже и мою частную жизнь. Не успел я сесть за свой письменный стол, как мне был кем-то прислан изумительный секретарь, помощник присяжного поверенного, Николай Николаевич Бирюков, идеально точный, быстрый, любезный человек, который всё всегда помнил и всё всегда знал.

Затем из нашего Хозяйственного отдела ко мне явился похожий на артиста красноштанный гусар-вольноопределяющийся и в два счета доказал мне необходимость нашего с женою переселения «в апартаменты» близлежащей гостиницы «Астория». Зная о моей дружбе с Балашевским, он предложил поселить

и его рядом со мною и тут же заодно попросил разрешения и самому переехать в гостиницу. Я поблагодарил благодетеля и подписал какую-то бумагу, с которою он так же быстро исчез, как и появился.

Через неделю мы переехали из скорбной квартиры растерзанного матросами морского офицера в комфортабельный номер реквизированной военным министерством немецкой гостиницы, состоявший из салона, спальни и прекрасной ванной комнаты. Несмотря на начинавшиеся затруднения с продовольствием, нас кормили в Астории еще очень прилично. Иной раз приходилось, конечно, есть котлеты из конины, но они приготовлялись настолько хорошо и сервировались столь приглядно, что при некоторой фантазии их можно было принять за говяжьи. Такой игре фантазии способствовали устланный красными коврами зал, обилие прислуги и хорошо одетая, главным образом, военная публика.

Так, безо всяких с нашей стороны усилий, начали мы врастать в весьма непохожий на революционную стихию революционно-бюрократический быт и не без приятности ощущать преимущество моего нового положения. К таковым преимуществам принадлежали и даровые билеты в театры, которые я часто находил у себя на столе. Исключительно любезен был в этом отношении Народный дом, которым заправлял Максаков и в котором часто выступал Шаляпин. Одновременно за мною стали ухаживать газеты и издательства. То, что меня навестил Георгий Чулков, прося об участии в «Народоправстве», было только естественно: хотя мы тогда еще не были лично знакомы, мы были все же друг для друга своими людьми. Характернее было то, что одна весьма распространенная коммерческая газета убедительно просила меня стать ее постоянным сотрудником, сообщая при этом, что высота гонорара

не играет никакой роли. Показательнее же всего было то, что однажды приехал приглашать меня на обед неизвестный мне издатель Руманов. После роскошного обеда в обставленной старинной мебелью и украшенной ценным фарфором столовой, Руманов предложил мне издать полное собрание моих сочинений. Это было явно преждевременно, так как тогда мною было напечатано всего только около десятка философских и литературных статей и ряд писем с фронта.

О том, что меня стали все чаще и чаще приглашать на всевозможные митинги, говорить не приходится – это было в духе эпохи. Выдерживая стиль скупого на слова Савинкова, я стал иногда отказываться.

Но все эти внешние успехи нас с Наташей мало радовали. Как раз в те петербургские дни мы острее, чем когда бы то ни было, чувствовали призрачность нашей жизни и потому скорее тяготились, чем соблазнялись ее приятными сторонами.

Странно, что за все время моей службы в Политическом управлении я ни разу не вспомнил, что рядом со мною живут: Блок, с которым мне всегда хотелось ближе познакомиться, Ремизов со своими ужимками и зверюшками, Мережковские, которых я знал еще с Фрейбургских времен, Анна Ахматова, Николай Онуфриевич Лосский и целый ряд других, интересовавших меня людей – весь этот мир словно выпал из моего сознания. Летом 1917-го года мы жили в Петрограде так, как будто бы я никогда не был причастен миру искусства, литературы и философии. Почему мы так жили, мне и сейчас непонятно. Быть может, я очень уставал от непривычной, внешне напряженной и внутренне мучительной работы; быть может, инстинктивно чувствовал обреченность того мира, в котором жил до войны, и как-то боялся боли прикосновения к нему. Но скорее всего мы с Наташей потому почти никуда не ходили,

что как-то хотелось спрятаться от наступающего со всех сторон ужаса. Всего естественнее было нам потому сидеть дома и, смотря через открытое окно нашей комнаты на коленопреклоненного ангела на крыше Исаакиевского собора, беседовать о том, что было и чего уже никогда не будет. Часто к вечернему чаю приходили друзья, фронтовики, некоторые товарищи по службе. Говорили мы о самых разных вещах, реже всего о политике.

От нас Евгений Балашевский и его состоявшие при Савинкове друзья, все молодые офицеры, часто отправлялись в «Привал комедиантов», о котором стоит сказать несколько слов. В этом «Привале», если верить типичному представителю петербургской богемы и тонкому поэту Георгию Иванову, в 1917-ом году за одним столом сиживали: адмирал Колчак, Борис Савинков и Лев Давидович Троцкий.

Этот, талантливо расписанный Судейкиным, Борисом Григорьевым и Яковлевым, подвальный ресторан, был разбогатевшим, но и опошлившимся наследником знаменитой «Бродячей собаки», скромного, парижски-богемного ресторанчика, в котором в 1913-м году, после театра и публичных лекций, начали собираться поэты и художники новейшей формации, всевозможные «будетляне», «гилейцы», «акмеисты», «эгофутуристы», вперемежку с необходимой для рекламы и денежного оборота разряженной буржуазной публикой.

Нет сомнения, что в ночной жизни «Бродячей собаки» было много озорства, хулиганства и рекламы. Не всерьез же, на самом деле, уверял Бурлюк благоговейно слушавших его светских дам, что он любит не их, а «беременных мужчин». Не всерьез выкрикивал Алексей Крученых в лицо офраченным «фармацевтам», как футуристы именовали всех буржуев, свое:

Испарь овчины
И запах псины.
Лежу, добрею на аршины.

Все это было, конечно, лишь звуковым выражением тех цветных кофт и цилиндров, в которых провозвестники нового искусства с намазанными физиономиями появлялись на улицах Москвы и Петербурга.

И, тем не менее, надо признать, что за всем этим «размалеванным сумбуром» и пьяным смрадом скрывались очень существенные психологические и социологические реальности.

Главною чертою всех разновидностей футуризма, который появился за несколько лет до войны и пышно расцвел в революцию, была борьба против «платонизма» в искусстве и тем самым против русской темы в символизме. Небо, этот центральный символ религиозного, романтического и идеалистического искусства, было объявлено «трупом», звезды – «гнойною сыпью» (интересно, что сыпью звезды называл уже Гегель). В связи с походом против неба, была возвещена непримиримая война всем его «гнусно-сладкоголосым и лицемерно-продажным» певцам.

Как сейчас помню присланную мне голубовато-серую тетрадку, в которой на оберточного типа бумаге был напечатан манифест футуристов и ряд футуристических произведений Бурлюка, Крученых, Елены Гуро, Велемира Хлебникова и других исчезнувших из памяти поэтов. Назывался этот, кажется, первый сборник русских футуристов «Пощечина общественному мнению». Помещенный в нем манифест призывал к действенной ненависти, к старому поэтическому языку, к безудержному словотворчеству, к низвержению великих поэтов с корабля современности в морскую пучину. Надо ли говорить, что весь манифест был преисполнен

совершенно непостижимым самообожанием и самовосхвалением. Помню, до чего я возмущался и до чего недоумевал, читая северянинское:

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен,
Я повсемирно обэкранен,
Я повсесердно утвержден.

В свое время все это казалось субъективным бредом сумасшедших, хотя частично и очень талантливых людей (ритм и синтаксис Маяковского меня сразу так же поразили, как и какая-то особенная музыкальность Хлебникова и своеобразная глубокомысленность нежных невнятиц Елены Гуро). Но вот прошли годы и стало ясно, что сквозь искусство футуристов пробивалась в жизнь величайшая тема новой истории, страшная тема большевистской революции, с ее футуристическим отрицанием неба и традиции, с ее разрушением общепринятого русского языка и заменой его интернационалистическим рев-жаргоном, с ее утопическим грюндерством, доверием к хаосу и даже с полною возможностью для вождя всемирного пролетариата именовать, себя вслед за Велемиром Хлебниковым, «президентом земного шара».

Провозглашая свои «благоглупости», как писали консервативные литературные критики, футуристы на самом деле зачинали великое ленинское безумие: крепили паруса в ожидании чумных ветров революции.

В кубистическом портрете показательно искажался тот Божий образ в лице человека, над которым впоследствии так жестоко надругалась человеконенавистническая, большевистская власть. В кубистических натюрмортах и конструкциях явно предвосхищались, как уже было указано Муратовым, формы тупорылых броневиков и танков, этих героев революционной улицы и современной войны. Где-то брошенное Оскаром

Уальдом замечание, что туманы Лондона являются подражанием акварелей Тернера, конечно, лишь эстетический парадокс, но то, что большевизм представляет собою социал-политическое воплощение того образа новой культуры, который впервые наметился в футуристическом искусстве, оспаривать вряд ли возможно. Готовящиеся в истории сдвиги всегда пророчески намечаются в искусстве.

Профетизм революционно-футуристического искусства звучал в «Привале комедиантов» весьма приглушенно. Бродячая собака в нем не лаяла, а послушно стояла на задних лапах у заставленных водками, винами и закусками столиков, за которыми кутила снобистическая буржуазия. Лишь после Октябрьского переворота она, взбесившись, вырвалась на улицу. В интересных метрических стихах обращался товарищ Маяковский к красной гвардии, упрекая власть в том, что, ставя к стенке буржуев и белогвардейцев, она все еще щадит Рафаэлей и Пушкиных…

Я уже говорил, что в центре мероприятий, которыми Корнилов, Савинков и Филоненко надеялись восстановить боеспособность армии и порядок в тылу, было полное восстановление смертной казни. Восстановленная сразу же после провала наступления в пределах действующих армий, она, по мысли нового Главнокомандующего и управляющего военным министерством, должна была быть распространена и на тыл.

Данное мною Савинкову при занятии поста Начальника Политического управления согласие на защиту фронтовых расстрелов превращалось, таким образом, в готовность защищать «институт смертной казни» и в тылу.

Я знаю, многие меня не поймут, но мне важно сказать, что приятие смертной казни оказалось для меня возможным лишь потому, что незадолго до начала

войны в моей личной жизни закончился тот сложный и тяжелый период, из которого я вынес твердое убеждение, что, без готовности принесения в жертву своей и чужой жизни, осилить жизнь нельзя. Гуманное отношение к жизни тем и отличается от священного, что для первого отделяющая жизнь от смерти черта ни при каких условиях непреходима; второе же не всегда вправе остановиться перед этою чертою. В том ведь и состоит религиозная недостаточность всякого гуманитарного морализма, что он не в силах принять долга греха, как формулы, точно знаменующей трагическую глубину жизни. Осознав на путях своей личной жизни необходимость преодоления черты, отделяющей добро от зла, жизнь от смерти, я уже без новой внутренней борьбы, хотя и с новою тяжестью в душе принял пулеметы, как последнее средство защиты России.

И все же проведение в жизнь савинковской программы стоило мне очень больших нравственных мук. Защищая смертную казнь в военной комиссии Совета, я почувствовал, что одно дело – открытие пулеметного огня по самовольно уходящим с фронта большевистским ротам и совсем другое – смертная казнь по суду. Сколько я ни говорил себе, что приговор казнит действительно виновных, а пулемет косит многих и без разбору, мои глаза упорно сопротивлялись уравнению стрельбы и расстрела. На картину стрельбы по вооруженным повстанцам глаза с трудом подымались, но образ обезоруженного солдата, на которого по приказу начальства подымаются ружья быть может сочувствующих ему товарищей, казался еще страшнее, чем развал армии и поругание России.

Несмотря на такое сопротивление неподкупных глаз разумной точке зрения, я с отчаянием в душе продолжал проводить савинковскую программу.

О долге греха, как об основе христианской политики, мне еще придется говорить в последней главе этой

книги. Предваряя дальнейшие размышления, отмечу пока только то, что небывалое падение общественной нравственности в наши дни объясняется прежде всего тем, что современное сознание принимает смертную казнь не как глубочайшую трагедию, а бездумно и бесскорбно, как вполне нормальную государственную необходимость.

В прежние времена это было не так. С большим потрясением и нравственным удовлетворением прочел я недавно в «Истории моего современника» Владимира Короленко страницы, посвященные казни русского офицера, но одновременно польского националиста, за участие в восстании против царской власти. Короленко рассказывает, что исполнение смертного приговора, вынесенного его отцом, ожидалось населением небольшого города с не представляемым ныне волнением. Черный помост за городом неотступно стоял у всех перед глазами. В утро казни, не знающая, куда деваться от ужаса и отчаяния, мать приговоренного (разве это было бы возможно в современной России?) пришла ожидать двенадцатого пушечного выстрела, с которым должен был умереть ее сын, в квартиру прокурора Короленко. Что могло внушить ей эту мысль, кроме чувства, что постичь ее боль глубже всех может человек, на которого судьба возложила страшный долг – убийство рожденного ею сына.

Я думаю, что лишь при таком переживании смертной казни, как некой, сверхполитической мистерии, таящей в себе сознание трагической вины казнящего перед казненным (это понимал даже и Иоанн Грозный, постоянно мучившийся своими казнями и каявшийся в них), возможно ее нравственно-положительное воздействие на общественно-политическую жизнь: при современном же взгляде на смертную казнь, как на нечто вполне естественное, она неминуемо должна приводить к развращению власти и разложению общества.

Изо всех политических вождей «Февраля» все это, если и не отчетливо сознавал, то все же смутно чувствовал один только Керенский. Насмешливые слова Милюкова, будто бы Керенский, обещая под давлением справа ввести смертную казнь (рассказ об этом еще впереди), «пугал публику погибелью своей души», ничего не доказывает, кроме свойственной Милюкову, как и всему либерально-позитивистическому миру, поверхностности и глухоты в отношении всех религиозно-нравственных вопросов. Но и Керенский всей глубины принятого им решения не сознавал. В порядке замещения комиссар-верха Филоненко, мне пришлось принести на подпись Керенскому только что вынесенный на фронте смертный приговор. Быстро пробежав бумагу, Керенский как будто бы безо всяких колебаний заменил высшую меру наказания тюремным заключением на какое-то небольшое количество лет.

Помню, что легкость, с которою премьер-министр принял свое политически непоследовательное решение, не только поразила, но и оскорбила меня: бездумным росчерком пера он сводил на нет все те сомнения и муки совести, через которые должны были пройти представители армейских комитетов – все социалисты и демократы – перед тем, как придти к решению предать смерти своего товарища.

Сознаюсь, что гуманный жест Керенского показался мне неуважением к совести судивших и к судьбе осужденного. Да и что он мог означать? Объявление смертного приговора судебной ошибкой, указание на то, что смертная казнь введена лишь для острастки, или малодушное дезертирство с политического фронта; боязнь обременения своей души тяжестью им же самим возложенной на плечи комиссаров и комитетов?

Думаю, что, если бы я задал Керенскому эти вопросы, он не сумел бы на них ответить. Он просто сделал

самое для себя легкое, самое для себя, как либерала и политического заступника, привычное. Искренне говоря о готовности погубить свою душу, он всей глубины своих слов все же не понимал, в его устах они означали лишь отчаяние либерального политического деятеля, но не готовность на все решившегося революционного вождя.

Надо ли говорить, до чего мне было трудно отстаивать смертную казнь на чуждых мне позициях Временного правительства.

Положение, что Керенский, как глава законного Временного правительства, имеет право казнить своих политических противников, Ленин же, как вождь безответственной политической оппозиции, не имеет права на вооруженную борьбу против власти, мне казалось весьма спорным. Законности власти Керенского можно было и не признавать, так как он не был ни помазанником Божиим, ни всенародным избранником, а всего только ставленником цензовой Думы и самозванного Совета рабочих и солдатских депутатов. Ленин же с каждым днем все очевиднее превращался из лидера большевистского меньшинства в вождя широких революционных масс.

Внешне не без успеха приспособляясь к демократически-правовой аргументации Временного правительства, я про себя отчетливо сознавал, что защищаю смертную казнь не на основании весьма шатких правовых положений, а потому, что не хочу и не смею без боя уступить большевикам своей России, о которой сердцам знаю, что только она и есть Россия подлинная.

От этой подлинной России я ждал расцвета религиозной жизни в освобожденной от синодального омирщения патриаршей церкви, сохранения при деревнях и селах помещичьих усадеб в качестве рассадников культуры, что мне казалось совместимым с передачей

большей части помещичьей земли трудящимся, сращения воедино долго враждовавших у нас между собой культурных традиций и политических тенденций и превращения русской интеллигенции из ордена революционной борьбы в созидательную национальную силу.

Большевистская же Россия без колокольного звона, с немногими церквами, превращенными в музеи, и с помещичьими домами, отведенными под колхозные управления, Россия пролетаризированного крестьянства и обинтеллигенченного на плоско-просветительный лад рабочего класса, Россия, ни во что не верящая, кроме как в диалектический материализм и американскую технику, бесскорбно отрекающаяся от своего исторического прошлого и нагло издевающаяся над своими провиденциальными заданиями, о которых ее великими мыслителями и художниками было сказано так много глубочайших слов, казалась мне невыносимою пошлостью.

Представление, что Россия, только что вырвавшаяся из старческих объятий выродившегося монархизма, отдаст себя разнузданному кронштадтскому матросу, у которого за душой ничего нет, кроме сдобренного матерщиной марксистского жаргона и ленинского разбойничьего посвиста, вызывало во мне непоборимое эстетическое и национально-эротическое отвращение. Этим глубинным отвращением и питалась моя готовность идти на все, чтобы не допустить захвата власти большевиками.

Я уже говорил, что в начале июля я был назначен редактором политического отдела «Инвалида», переименованного мною в «Армию и флот свободной России». По прошествии некоторого времени, когда выяснилась неспособность главного редактора вести газету, я был назначен ее главным редактором.

Признаюсь откровенно, что я оказался недурным журналистом, но весьма плохим редактором.

Полным хозяином газеты, впрочем, не мешавшим мне писать и печатать какие угодно статьи, до самого конца оставался генерал Дмитрий Капитонович Лебедев, впоследствии редактор большевистской «Красной Звезды», а затем, в эмиграции, видный сановник эстонского правительства.

Лебедев не был идейным человеком и уж совсем не был политиком. Он был дельцом, ловким организатором и крепким на руку хозяином. Как человек быстрой, практической сметки, он сразу же понял, что чем бледнее будет содержание редактируемой им газеты, тем легче ему будет вести свое издательское хозяйство. Его девизом было: «нам не надо, чтобы нас читали, нам надо только, чтобы нам не мешали печататься».

Прослышав, что старому «Инвалиду» будет предложена боевая роль, Дмитрий Капитонович не без участия темноватых дельцов мигом реквизнул одну из лучших петербургских типографий. Покончив с типографией, он затеял приобретение соседнего дома, в котором должны были быть отделаны квартиры для редакторов, а может быть и для ближайших сотрудников. Затея генералу Лебедеву удалась: незадолго до крушения «Февраля» Дмитрий Капитонович шумно и торжественно отпраздновал новоселье в своей новой редакторской квартире. В этот день он был трогательно счастлив. Показывая собравшимся гостям свои «шикарные апартаменты», он с балетной легкостью переносил из комнаты в комнату свои по-купечески тучные телеса; его полное бритое лицо так и растекалось в самодовольной улыбке. Помахивая перед своим носом душистой гаванской сигарой и щуря от едкого дыма лукавый глаз (к сигарам генерал пристрастился за свою десятилетнюю жизнь в Пруссии, которую он, в качестве тайного

военного агента, исходил вдоль и поперек с шарманкою за спиной и фотографическим аппаратом под полой), он со вкусом и толком описывал все перипетии сложной борьбы за осуществление своего плана.

Женат был Дмитрий Капитонович на как будто бы мало подходящей к нему женщине, на восторженной вечной курсистке, гордой народовольческими традициями своей «интеллигентской» семьи. Супруги, однако, трогательно обожали друг друга, как и своих избалованных и перекормленных мопсов, заменявших им детей.

Не менее своеобразен, чем сам редактор, был его редакционный коллектив. До моего поступления он состоял всего только из двух сотрудников.

На роли политика-идеолога при генерале состоял плехановец Гуревич, исключительно умный, вечно клокочущий какими-то собственными мыслями социолог, неряшливо одетый в потрепанную и помятую визитку. Смотря на Гуревича, нельзя было подумать, что он ночевал дома: казалось, что он только что вышел из вагона, в котором провел несколько бессонных ночей.

Вторым сотрудником был Столпянский. Представляя мне Столпянского, Дмитрий Капитонович был очень удивлен и даже огорчен тем, что я оказался незнакомым с работами его сотрудника: генералу очень хотелось блеснуть передо мною своим «кладом», как он называл своего ученого-хроникера.

С работами Столпянского о Петербурге мне так и не удалось познакомиться, о чем очень жалею, так как думаю, что в душе Столпянского жила большая любовь к «Санкт-Петербургу»; глаз его был зорок и чуток ко всем стилистическим особенностям столицы. Однажды я вез Столпянского на своем казенном автомобиле вдоль набережной на Васильевский остров, где он жил в тишайшей квартире честного труженика, завешанной старинными гравюрами и заваленной книгами не только

на полках, но и по всем стульям. Во время поездки Столпянский много рассказывал мне о своем любимом городе, и я чувствовал, как у меня, москвича, открываются глаза на своеобразную красоту Петербурга.

Поначалу я, было, думал произвести в лебедевском предприятии некую революцию: собрать кадр интересных сотрудников и придать газете определенное лицо и направление. Но очень скоро понял, что мне это решительно не под силу. Для осуществления такого плана нужно было бы быть занятым только газетой, я же был поглощен работой в Политическом управлении. Но и помимо этого, не мне было обновлять «Инвалид». Это мог сделать старый опытный журналист, способный в любой час дня и ночи настрочить боевую передовицу; связанный со всею русскою публицистикой и хорошо знакомый с техникой газетного дела, которое в революционное время со дня на день осложнялось не только всё растущими экономическими требованиями рабочих, но и их желанием самим редактировать газету.

Тушило мой реформаторский пыл еще и сознание, что вести газету в своем собственном духе было бы невозможно, так как моей философии революции и моей программы действия никто не разделял; вести же ее по официальной линии меня не очень соблазняло, да и линия эта была не очень отчетлива.

Все эти обстоятельства и соображения быстро свели мое редакторство к простому, хотя и очень интенсивному сотрудничеству (я чуть ли не каждый день писал передовицы и другие статьи) и к заботе о том, чтобы не случалось тех «ляпсусов», которыми поначалу грешил «Инвалид», возмущая Керенского и начальника Политического кабинета генерала Барановского.

Нет сомнения, что будущие историки нашей революции, независимо от их направления, будут уделять особо большое внимание заговору генерала Корнилова.

Значение этого заговора заключается в том, что своею быстрою, полною и неожиданною для всех правозаговорщицких кругов победою над мятежным генералом, Керенский наголову разбил себя самого и тем похоронил «Февраль».

Если верно, что сущность трагедии заключается в том, что добро и зло, жизнь и смерть вырастают из одного корня, то ничего более трагического, чем «заговор» Корнилова, представить себе невозможно.

Понимание истории, как трагедии, в христианском сознании неотделимо от веры в свободу человеческой воли: конечно, не в смысле возможности любых произвольных действий, а в смысле всегда возможного для человека правильного выбора из ряда предложенных ему жизнью путей. Вне такой веры немыслима нравственная ответственность исторического деятеля перед истиной и историей.

Не имея никаких шансов стать точною наукой в естественнонаучном смысле этого слова, историоведение, начиная с эпохи Возрождения, неустанно стремилось стать таковою.

С таким науковерческим стремлением связано типичное для большинства ученых историков нового времени отрицание таких основных категорий исторического познания, как трагедия, свобода воли, личная нравственная ответственность и соборная народная вина.

Нельзя, однако, сказать, чтобы в своем стремлении очистить историческую науку от остатков «мифических» представлений, современные историки и историософы были бы вполне последовательны. Изучая их труды, замечаешь, что, не допуская откровенно религиозного, в частности христианского, подхода к исторической жизни, они иногда открыто, а иногда контрабандою вносят в свою, будто бы строго научную, работу самые разнообразные полуметафизические и полумифические,

во всяком случае сверхнаучные представления. Одни, в особенности консервативные немцы, часто говорят о судьбе, о каких-то анонимных исторических силах, о народных и эпохальных душах, другие же, прежде всего социалисты, говорят о не отменных социально-экономических законах и о господствующих в истории циклических ритмах.

При всей разнохарактерности этих понятий и построений, в них все же присутствует единая и весьма характерная для последних четырех столетий европейского развития тенденция отрицания истории как процесса свободного сотрудничества Всемогущего Бога и в Боге свободного человека.

Если встать на особо распространенную в современной исторической науке социологическую точку зрения, характерную не только для марксистских ученых, но и для тех, которых марксисты именуют представителями буржуазной науки, то можно с легкостью нарисовать убедительную картину той неотвратимой необходимости, с которой Февральская революция скатилась или поднялась – это уже вопрос политической оценки – к большевистскому «Октябрю».

Сущность социологической точки зрения заключается в последнем счете в признании общественных слоев, прежде всего классов, за главные силы истории. Закономерная смена этих коллективных сил у руля политической власти оказывается при такой постановке вопроса главным содержанием исторического процесса. В четком чертеже такой упрощенной схемы всякая революция превращается в борьбу упорствующего у власти класса со своим закономерным наследником. «Значение личности в истории», о котором у нас было так много споров, сводится при социологическом подходе к историческому процессу почти что к нулю: историческая личность превращается в орган безличного

коллектива; вождь – в ведомого, в покорного массе глашатая ее нужд и требований.

Приложение этой схемы к нашей революции дает как будто бы очень убедительную картину, допускающую к тому же как правый, так и левый варианты.

Сущность правого, кадетски-меньшевистского варианта заключалась в характеристике Февральской революции как буржуазной; сущность левого, циммервальдского, за которым стояли меньшевики-интернационалисты, левые эсеры и большевики, как потенциально-пролетарской.

Защитники правого варианта считали, что на смену феодально-реакционным кругам в пореволюционной России должны прийти к власти прежде всего буржуазно-либеральные силы и что всякая большевистская попытка обогнать буржуазию и «узурпировать» власть неизбежно приведет к разгрому страны.

Сторонники левого варианта, исходя отчасти из учения Маркса о прыжке из царства необходимости в царство свободы, отчасти же из анархо-славянофильской мысли Герцена, что России ни к чему строить шоссейные дороги в эпоху железнодорожных путей, твердо шли к диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства.

При всей противоположности обоих вариантов, они в последнем счете сходились на понимании той роли, которую генералу Корнилову надлежало сыграть в революции. Как кадеты и стоявшие направо от них силы, так и левые социалисты, видели в нем врага советской демократии. Разница была только в том, что правый стан жаждал разгрома революционной демократии, а левый мечтал о разгроме Корнилова и стоявших за ним сил.

Особенность и, как впоследствии, к сожалению, оказалось, безнадежность позиции Керенского, о которой по разным поводам уже не раз шла речь, заключалась

в органической неприемлемости для него чисто-социологического подхода к событиям.

Описывая выступления Керенского, Суханов в своих «Воспоминаниях» дважды подчеркивает, что Керенский часто бывал на высоте французской революции, но никогда не бывал на высоте русской, что в устах Суханова значит на высоте социальной революции. Этой формуле нельзя отказать в некоторой правильности. В той решительности, с которой Керенский защищал надклассовый, то есть всенародный характер Февральской революции, бесспорно чувствовался чуждый социализму 20-го века пафос. Несмотря на то, что гармонизирующая формула свободы, равенства и братства подверглась, в связи с обострением социальных взаимоотношений в 19-м веке, жестокой критике, она все еще переживалась Керенским как некая трехипостасная Истина.

В речах Керенского, как это ни странно, часто звучала какая-то, почти шиллеровская восторженность, какая-то юношеская вера в значение личности (а потому и в себя самого) в истории. В сущности, социалист Керенский был гораздо большим либералом, чем либерал Милюков, не совсем чуждый марксистской социологии.

С этой точки зрения заслуживает особого внимания наименование Керенского «главноуговаривающим» русской революции. Ленин и в особенности Зиновьев, Троцкий и Луначарский говорили не меньше Керенского, но главноуговаривающими их никто не называл. И это вполне понятно, так как постоянно агитируя, они никогда никого не уговаривали. В отличие от дискуссии, стремящейся к сговору, агитация ни в какой сговор не верит, ее задача – возбуждение своих и осмеяние инаковерующих. Пользуясь словом, как орудием борьбы, агитация в примиряющую силу слова не верит.

Керенский в эту силу верил. Потому он в своих речах постоянно обращался не столько к своим единомышленникам, сколько к тем из своих противников, с которыми ему казалось важным сговориться. Пытался он сговориться и с генералом Корниловым, назначенным им по совету Савинкова на пост Верховного Главнокомандующего в сущности против воли революционной демократии, в рядах которой бывший Командующий Петроградским военным округом пользовался неважною репутацией.

Почему же этот сговор не удался? Почему Керенскому, Корнилову и Савинкову не удалось сговориться и повести Россию по тому пути, который все трое считали единственно правильным? Ведь рознь их оздоровительных программ была, в сущности, совсем незначительна; чем же объяснить, что в узкую щель этой розни провалилась огромная Россия?

Чтобы ответить на этот вопрос надо, как мне кажется, пристальнее вглядеться и глубже вдуматься в психологию Керенского, Корнилова и Савинкова.

Было бы величайшею ошибкою утверждать, что эти люди были во всем столь противоположны друг другу, что об общем языке между ними не могло быть и речи.

В лице Керенского революционная демократия выдвинула на пост премьер-министра убежденного государственника и горячего патриота. Правильно понимая главную задачу Временного правительства, как задачу «восстановления национального правительственного аппарата для обучения одних управлению, а других послушанию», Керенский, не щадя своей популярности, смело бросает в революционную толпу свои знаменитые слова о взбунтовавшихся рабах. Он же, не считаясь с протестом Совета, восстанавливает смертную казнь на фронте, ограничивает судебною ответственностью

права комитетов и, по крайней мере частично, восстанавливает дисциплинарную власть военных начальников. Как бы ни относиться к Керенскому, перед лицом этих фактов нельзя отрицать, что у него мог найтись общий язык с генералом Корниловым, тем более, что нахождение этого языка облегчалось рядом свойств и убеждений Верховного главнокомандующего.

Генерал Корнилов не был барином-аристократом, а был сыном казака-крестьянина. Не был он и заговорщиком-реставратором: генерал Деникин свидетельствует, что на попытку монархистов вовлечь Корнилова в переворот с целью возведения на престол великого князя Дмитрия Павловича, Корнилов категорически заявил, что ни на какую авантюру с Романовыми не пойдет. Был ли Корнилов и в глубине души республиканцем, я не знаю, во всяком случае, он себя за такового считал: выступая перед солдатами, он открыто критиковал старый строй и в своем «Обращении к русскому народу» искренне ставил своею задачею доведение страны до Учредительного Собрания. Армейские комитеты Корнилов, как солдат, приветствовать, конечно, не мог, но он не раз признавал их неизбежность в условиях революции и, в отличие от многих старших начальников, не отказывался с ними работать.

Для роли «генерала на белом коне» Корнилов создан не был и о ней вряд ли мечтал. Для такой роли ему не хватало как блеска и обаяния личности, так и универсальности политического кругозора, – как узколичного честолюбия, так и дара владеть людьми.

Корнилов был простым, честным, доблестным солдатом, ставившим себе очень узкую, политически вполне бесспорную цель, в конце концов ту же, что и Временное правительство: сохранение боеспособности армии, недопущение большевистского переворота и доведение страны до Учредительного Собрания.

Неизбежности столкновения Керенского с Верховным главнокомандующим, ни в характере Корнилова, ни в его программе даже и пристрастному демократу найти невозможно.

Как бы желая облегчить Корнилову, и Керенскому политическую встречу друг с другом, судьба выдвинула в качестве посредствующего звена между ними Савинкова.

Старый партийный работник с большим стажем, отдавший всю свою жизнь борьбе за «землю и волю» и одновременно единственный левый человек, сумевший в качестве армейского комиссара органически войти в доверие армии и самого Корнилова, Савинков казался призванным к тому, чтобы вызвать в Корнилове доверие к Керенскому, а в Керенском доверие к Корнилову.

Почему же он этого взаимного доверия не вызвал? Кто виноват в этом? Керенский или Корнилов? Думаю, что виноваты оба и притом одною и тою же виною. Ни Керенскому, ни Корнилову не удалось преодолеть прежде всего в самих себе той давней вражды между обществом и армией, к преодолению которой оба искренне стремились и в преодолении которой заключался главный смысл их исторической встречи.

Еще раз подчеркиваю – взгляд Керенского на роль армии в революции был правилен, правильны, хотя и замедлены были и его мероприятия. Он имел полное право сказать на Московском совещании: «Все, чем возмущаются нынешние возродители армии, все проведено без меня, помимо меня. Теперь все будет поставлено на место…» Не может быть никаких сомнений в том, что военная дисциплина начала разрушаться при Гучкове и восстанавливаться при Керенском. И, тем не менее, Керенский, как изначально был, так до конца и остался глубоко чуждым армии человеком. Офицерство чувствовало, что с какими бы словами признания он

ни обращался к нему, сколько бы он ни работал над воссозданием боеспособности армии, он армии, как таковой, не любил и духа ее не понимал. И в этом они не ошибались. Керенский мог с громадным успехом, описанным мною выше, выступать перед революционной армией, или вернее перед вооруженной революцией, поставленный же перед фронтом царской армии, он не нашел бы для нее ни одного искреннего и горячего слова признания.

Об его ненависти к царской армии свидетельствует все написанное о ней в его «Воспоминаниях». На нее он всегда смотрел глазами тех гимназистов, которых он, как свободолюбивых интеллигентов, противопоставляет кадетам, этим «обскурантам затворничества», а также и глазами тех присяжных поверенных, которые встречались с солдатами и офицерами, главным образом, на политических процессах.

По мнению Керенского, царская армия была насквозь пронизана сетью шпионства, ее солдаты ненавидели своих офицеров и ощущали казарму «рабовладельческим заведением». Все это не только преувеличено, но просто неверно. Разложение монархии, конечно, отражалось и на быте армии, как отражалось на быте всей России, но всей древней правды армии, в последней глубине мало зависящей от политического строя, оно, конечно, не уничтожило. От шпионских задач офицерство всегда уклонялось. Невоздержание на крепкое слово, свойственное, впрочем, всему русскому народу, а иногда и на рукоприкладство (в немецких школах учителя до сих пор не только бьют детей, но теоретически защищают правильность таких приемов воспитания) было среди русского офицерства, к сожалению, не редкостью, но, тем не менее, надо сказать, что оно, в своем громадном большинстве, солдата все же любило.

Вынянченные денщиками, воспитанные на гроши, а то и на казенный счет в кадетских корпусах, с ранних

лет впитавшие в себя впечатления постоянной нужды многоголовой штабс-капитанской семьи, наши кадровые офицеры стояли к народу, конечно, ближе, чем большинство радикальной городской интеллигенции. Солдатская похвала начальнику: «он нам, как отец родной», была не пустыми словами. Были, конечно, печальные исключения, но, в общем, война показала весьма крепкую внутреннюю связь между офицерским составом и солдатскою массою. И я уверен, что, несмотря на революцию, многие начальники, даже и на смертном одре, вспоминали, да и сейчас еще вспоминают, своих бравых солдат.

Не чувствуя нравственно-бытовой сущности армии, Керенский не чувствовал и ее эстетики: красоты подтянутого солдата, мерного, пружинного шага рот, проходящих под музыку перед начальством, зычного сигнала трубача, хоровой молитвы солдат на вечерней заре и ловкой, залихватской песни возвращающихся с занятий команд.

Будь этот мир внутренне дорог и близок Керенскому, он понял бы, как много теряло офицерство с разрушением быта и духа старой армии, понял бы, что, уступая часть своих прав и обязанностей комиссарам и комитетчикам, даже и искренне принявший революцию офицер должен был переживать ту же личную трагедию, что переживает каждый любящий свою жену муж, уступая часть своих прав любовнику жены ради сохранения внешнего мира в семье и воспитания детей.

Как чужой, вероятно, даже враждебный армии демократ, Керенский не доверял корпусу господ офицеров. Идя волей и сознанием навстречу Корнилову, он подсознательно, конечно, отталкивался от этого типичнейшего солдата.

Нечто подобное происходило и в Корнилове.

Корнилов понимал, что революция переменила все силовые соотношения в стране, понимал, что Керен-

ский – сила и что без Керенского ему, Корнилову, спасения России не осилить. Потому он и решил идти вместе с Керенским. Никакого заговора против Керенского он не замышлял; так называемый заговор Корнилова представляется мне и поныне лишь последней стадией трагического недоразумения между Корниловым и Керенским. В основу этого недоразумения легло не только их охарактеризованное мною взаимное отталкивание, но и нечто большее. Хотя Корнилов и строил свои планы в надежде на высвобождение Керенского из «советского плена», он подсознательно все же боялся, что в последнюю минуту Керенский «закинется» и, предав его, Корнилова, и свои собственные планы по восстановлению сильной власти, пойдет со своими демократами.

По-своему народник, и быть может даже и республиканец, Корнилов вынес из своего пребывания в Петрограде в качестве Главнокомандующего округом глубокое недоверие к духу и деятельности советских демократов, к которым он в минуты раздражения причислял и Керенского.

Даже и протягивая Керенскому руку, он норовил повернуться к нему спиной.

О Борисе Викторовиче Савинкове, на долю которого выпала роль посредника между Керенским и Корниловым, было, в сущности, сказано уже все, необходимое для понимания того, почему ему не удалось выполнить возложенной на него историей задачи.

Одинокий эгоцентрик, политик громадной, но не гибкой воли, привыкший в качестве главы террористической организации брать всю ответственность на себя, прирожденный заговорщик и диктатор, склонный к преувеличению своей власти над людьми, Савинков не столько стремился к внутреннему сближению Корнилова, которого он любил, с Керенским, которого он

презирал, сколько к их использованию в задуманной им политической игре, дабы не сказать интриге.

До чего глубоко было презрение Савинкова к Керенскому, я понял по совершенно случайному поводу, слушая за завтраком в «Астории» рассказ Бориса Викторовича о том, как Керенский показывал представителям западных демократий не то петербургский музей, не то одну из летних резиденций Романовых.

– Стоя среди своих иностранных товарищей, – возмущался Савинков, – и что-то горячо доказывая им, – я, конечно, не слушал, было противно, – наш самовлюбленный жен-премьер от революции все время рассеянно теребил пуговицу царского мундира: отвратительно, доложу я вам, царей можно убивать, но даже и с мундиром мертвых царей нельзя фамильярничать.

Последняя фраза, в которой весь Савинков – и подлинный и наигранный, – до сих пор со всеми интонациями звучит в моих ушах и многое объясняет мне в злосчастном развитии дела Корнилова.

Я знаю, произведенный мною анализ причин, помешавших Керенскому, Корнилову и Савинкову, временами верившим, как отмечает и Станкевич, что они стремятся к одной и той же цели, должен многим показаться почти тенденциозным преувеличением пустяков. Не буду оспаривать этого. Скажу только, что в живой истории, в отличие от писанной, пустяки играют громадную роль.

Пусть историки-социологи исследуют едва ли существующие вечные законы всех революций. Мне, как бытописателю-мемуаристу, кажется важным не упускать из виду существенных пустяков. Таковыми и были: нелюбовь Керенского к армии, недоверие Корнилова к общественности и демонический нигилизм самонадеянной савинковской души.

Желая точно установить дату рождения Корнилова, я открыл немецкий энциклопедический словарь Брок-

гауза и к своему величайшему удивлению прочел в заметке о «мятежном генерале» (соответствующий том вышел в 1930-м году), что, двинувшись 12-го сентября 1917-го года вместе с Керенским на Петроград, Корнилов был под Царским Селом разбит большевиками. Та же версия повторяется и в заметке о Керенском. В чем же дело? Каким образом автор обеих заметок мог упустить из виду, что двинувшийся на Петроград Корнилов был немедленно же Керенским отставлен от должности, что, не подчинившись приказу о сдаче командования, Корнилов объявил себя Верховным правителем России, что двигавшиеся на Петроград корниловские войска были разбиты не большевиками, а верными Временному правительству частями, командование которыми Керенским было поручено Савинкову, принявшему, после окончательного разрыва между Ставкой и Временным правительством, пост Петроградского генерал-губернатора.

О неверном изложении дела в иностранной энциклопедии не стоило бы и говорить, если бы оно не представляло собою путанного отголоска того понимания корниловского восстания, которое с самого начала защищалось в правых кругах.

За правую версию, согласно которой Корнилов двинулся на Петроград, по меньшей мере, с ведома Керенского, говорит известная телеграмма начальника штаба Корнилова, генерала Лукомского, мотивировавшего свой отказ заместить отрешенного от должности Корнилова на посту Верховного главнокомандующего тем, что генерал Корнилов принял окончательное решение идти на Петроград с ведома Савинкова, а тем самым, по его, генерала Корнилова, представлению, и с одобрения Временного правительства. Не думаю, чтобы генерал Лукомский просто говорил неправду. Вряд ли говорил неправду и генерал Алексеев, утверждавший, что «участие Керенского в заговоре бесспорно,

что оно доказывается вызовом 3-го корпуса в Петроград, действиями и словами Савинкова и поведением Фелоненко в Ставке».

В том же духе об участии Керенского и Савинкова в заговоре против Совета говорил вечером 26-го августа с самим Корниловым и князь Трубецкой. На вопрос Трубецкого, представителя Временного правительства в Ставке, почему Корнилов настаивает на участии в будущем «кабинете сильной власти» Керенского и Савинкова, главнокомандующий дал вполне определенный ответ: «Новая власть в силу обстоятельств должна будет прибегнуть к крутым мерам. Я бы желал, чтобы они были наименее крутыми; кроме того, демократия должна знать, что она не лишится своих любимых вождей и наиболее ценных завоеваний».

Веря в честность Корнилова, я и эти слова, вполне совпадающие с тем, что Корниловым было сказано Савинкову незадолго до похода на Петроград: «передайте Александру Федоровичу, что я его буду всемерно поддерживать, так как это надо для отечества», никак не могу считать за интриганское замечание, за заметание следов подготовляемого заговора.

Но если недопустима мысль, что Лукомский, Алексеев и Корнилов, сговорившись, лгали и притворялись, то, по крайней мере, также недопустима мысль, что говорил неправду Керенский, радикально и горячо отрицавший в своих показаниях перед следственной комиссией какое бы то ни было участие в планах Корнилова по ограничению власти Советов.

В чем же выход изо всех этих как будто бы непримиримых противоречий? Для меня лично ответ на этот вопрос не представляет непреодолимых трудностей. Прочтя о деле Корнилова всё, что можно было о нем прочесть, я, в общем, остался при том же убеждении, что сложилось у меня в корниловские дни. Никакого,

заранее задуманного и планомерно-руководимого самим Корниловым заговора против Керенского не было. Началось все со сговора между Корниловым и Савинковым, как представителем Керенского. Благодаря описанному мною недоверию между министром-председателем и Главковерхом, сговор начал быстро запутываться и разрастаться в целую сеть недоразумений. Во все сгущающуюся муть этих недоразумений и подозрений начали постепенно вливаться не имевшие поначалу ничего общего с попытками сговора темные провокаторские силы. Лишь в самую последнюю минуту, когда трагическое недоразумение между Главнокомандующим и министром-председателем достигло размеров, при которых Керенскому нельзя было не отрешить «мятежного» генерала от должности, а Корнилову ничего не оставалось, как ответить на это «вероломство» восстанием, изначальный сговор между никогда до конца не доверявшими друг другу союзниками превратился как бы в заговор соперников.

Я не буду подробно рассказывать всего течения корниловского дела с момента назначения генерала на пост Верховного главнокомандующего и до заключения его в Быховскую тюрьму. Не буду также доказывать правильности моего понимания событий; при обилии опубликованного материала это завело бы меня слишком далеко. Для цели, преследуемой мною, будет достаточно, если я расскажу, каким образом у меня сложилось мое понимание корниловского заговора. Надеюсь, что мой рассказ, как рассказ всякого очевидца, сможет оказать некоторую помощь в деле выяснения полной истины. А впрочем, что есть истина? Со дня Великой Французской революции прошло почти 150 лет, она исследована вдоль и поперек и, тем не менее, о ней все еще появляются якобинские, жирондистские, или католические по духу исследования.

Перед тем, как перейти от лиц к событиям, я должен сказать несколько слов о неоднократно уже упоминавшемся мною комиссар-верхе Максимилиане Максимилиановиче Филоненко, сыгравшем в качестве ближайшего сотрудника Савинкова немалую, хотя и мало ясную мне роль в «заговоре».

Мое первое впечатление от Филоненко было отрицательное. Что мне в нем не понравилось, сказать нелегко. Насколько его ум, энергия, распорядительность, работоспособность, дар слова и дар быстрого освоения любой обстановки сразу же бросались в глаза, настолько же скрыты были в нем его отрицательные черты: какая-то ненастоящность, не солидность и нарочитость всего его существа. Мне этот, почти фатовато одетый, театрально жестикулирующий, остро и четко говорящий человек, по-кошачьи круглоголовый, круглолицый и круглоглазый, всегда представлялся выходцем из талантливо и умно, но несколько безвкусно написанного криминально-авантюрного романа. Близость с Савинковым, человеком совершенно другого масштаба и другой серьезности, но все же заговорщиком, конспиратором и демагогом, естественно усиливала в Филоненко свойственный ему авантюризм мысли и чувства. Надо еще отметить, что Филоненко был человеком не только больших способностей, но и громадного честолюбия, планы которого шли гораздо дальше комиссарствования при Ставке.

Перехожу к событиям. В первую половину августа, в самый канун задуманного Керенским Московского совещания, между Корниловым и Керенским возникла упорная борьба из-за так называемой «докладной записки» Корнилова, в которой Главковерх в ультимативной форме излагал свою политическую программу и намечал свои мероприятия. Савинков и Филоненко по существу безоговорочно поддерживали Корнилова

и делали все зависящее от них, чтобы заставить Керенского во всем согласиться с Корниловым. Считая, однако, что «записка» Корнилова редактирована в слишком резких, вызывающих тонах, они добились от Главковерха разрешения смягчить по тактическим соображениям ее общий тон и изъять отдельные выражения, которыми могли бы провокационно воспользоваться враги Временного правительства слева. Так получилась вторая редакция «записки», подписанная не только Корниловым, но также Савинковым и Фелоненко.

В обсуждении корниловски-савинковской программы я принимал живое участие. Разделяя в общем планы Савинкова, я отнюдь не разделял его презрительно-вызывающего отношения к «Всероссийскому Совету», а потому настойчиво убеждал его не растрачивать своего последнего авторитета в кругах демократии, не бравировать во всеуслышание своим презрением к «Совету рачьих, собачьих и курячьих депутатов», как он называл Центрально-исполнительный комитет совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Но все мои доводы не производили на Бориса Викторовича ни малейшего впечатления.

Позорное бегство революционной армии перед немцами породило в нем не превозмогаемое презрение к «товарищам» и их правомочным органам, о которых он всегда говорил с таким отвращением, как будто бы глотал какую-то кислую мерзость. Ему, очевидно, казалось – и в этом была его главная психологическая ошибка, – что достаточно как следует прикрикнуть на всю эту «сволочь» и взять ее по-настоящему в оборот, чтобы она и перед ним с Корниловым побежала так же без оглядки, как бежала под Тарнополем.

Такое отрицательное отношение к массам начало у Савинкова, в особенности же у Фелоненко, все больше срастаться с каким-то заговорщицким психозом.

Фелоненко и его помощник по комиссариату, великосветский романист фон Визин, могли часами с упоением говорить о каких-то зреющих заговорах и о том, как их лучше всего выследить, перехватить, а быть может, и переключить в свою пользу. Все это окутывало серьезную работу по сближению Корнилова с Керенским нездоровым туманом авантюристически-дилетантских замыслов.

Керенский и преданные ему люди, в частности, Зензинов, очевидно чувствовали, что в военном министерстве создается глубоко-чуждая интеллигентски-социалистическому пониманию революции атмосфера. Кто-то из ближайшего окружения Керенского так прямо и сказал мне, что Савинков был бы весьма уместен в Италии при дворе возрожденских тиранов, но ему совершенно нечего делать в Петрограде.

Не доверяя Савинкову, Керенский и его советчики не решались однако на то, что одно только и могло внести нравственное и политическое оздоровление в отношениях между правительством и Ставкой. Вместо того, чтобы мужественно взять в свои руки инициативу сближения с Корниловым, программа которого, за исключением сложного вопроса о милитаризации железных дорог и заводов, вполне совпадала с планами Временного правительства, Керенский упорно уклонялся от изучения «записки» главнокомандующего и обсуждения ее во Временном правительстве.

Это саботирование Керенским политических планов Корнилова было так непонятно и настолько возмущало Савинкова, что он решил подать в отставку. Отставка была Керенским принята.

О том, до чего эта отставка возмутила друзей Савинкова, а в том числе и меня, рассказывает в своих «Воспоминаниях» комиссар Северного фронта Станкевич. Да, я, конечно, жаловался Станкевичу на Керенского,

обвиняя его в нерешительности и в тех вечных колебаниях, которыми он мешал более сильным людям делать нужное дело. Тем не менее, я не был глух и к доводам Станкевича, который доказывал мне, что необходимая, корниловски-савинковская реформа должна проводиться под высшим руководством Керенского, который шире и всестороннее понимает русскую жизнь, чем Ставка и Савинков. В конце концов, мы порешили, что я буду стараться «демократизировать» Савинкова, а он, Станкевич, попытается убедить Керенского вернуть Савинкова на его пост.

Вернувшись на пост заведующего военным министерством, Савинков задумал во что бы то ни стало осуществить приезд Корнилова в Петроград в целях прямого воздействия на Керенского. Корнилов то обещал, то отказывался. Когда же он окончательно согласился, Керенский, по непонятным причинам, без уведомления Савинкова, послал в Ставку телеграмму, что Временное правительство Верховного главнокомандующего не вызывало и, ввиду стратегической обстановки, слагает с себя всякую ответственность за оставление Главнокомандующим фронта.

Телеграмма опоздала, и приезд Корнилова состоялся.

День этого приезда вспоминается мне, как один из самых тревожных и скорбных дней за все время моей службы в военном министерстве. Я видел Корнилова только мельком, но никогда не забуду его темного, сумрачного лица, его узких калмыцких глаз.

Хотя Корнилов выехал из Ставки для совместного с Временным правительством обсуждения общей программы действия, он, явно встревоженный ходившими в реакционных кругах Ставки слухами о возможности его отставки и чуть ли не ареста, прибыл в Петроград с совершенно ненужными предосторожностями. В качестве телохранителей его сопровождали текинцы; впереди

и позади его автомобиля ехали автомобили с пулеметами. Печальнее всего было то, что весть о вооруженном появлении Главнокомандующего на улицах столицы, сразу же облетевшая весь город, вызвала в самых широких право-монархических, либерально-кадетских и просто обывательских кругах не порицание и тревогу, а успокоение и радость.

Десятого августа, в день прибытия Верховного главнокомандующего, во всем городе чувствовалось, что вся внесоветская Россия ждет от Корнилова не сговора со Временным правительством, а замены скрытой диктатуры Совета открытой диктатурой Корнилова. В Москве эти реакционные настроения были, вероятно, еще сильнее.

На открывавшееся 14-го августа, по почину Керенского, в целях подведения широкой общественно-политической базы под Временное правительство Московское совещание, Политическое управление ехало в специальном поезде министра-председателя. В нем же ехала и «бабушка русской революции» К. А. Брешко-Брешковская, которую Керенский глубоко чтил и у которой привык испрашивать благословение на все свои начинания.

Когда я вошел в вагон, меня поразила его чистота, сановная комфортабельность широких диванов и кресел, сияние наполированных плоскостей и графическая четкость линий. Все это было совсем не похоже на хаос и грязь революционных учреждений. Я сразу же почувствовал себя в каком-то затонувшем гофмейстерском мире: было странно, что есть еще руки, которые не только голосуют за и против правительства, но и по-старинному убирают для него вагоны.

В Москве нас ждали автомобили, которые доставили нас в Кремль, где нам были отведены комнаты в Большом дворце. Я был помещен вместе с П. М. Толстым.

Толстой очень волновался предстоящим совещанием: перед тем, как лечь спать, он успокаивал себя долгим хождением по комнате в костюме Адама. Но он не молчал, что для успокоения нервной системы было, по его словам, важнее наготы, а все время говорил. Слушая его и смотря то на его длинные, худые ноги, то и дело останавливавшиеся передо мною, то на пустынные кремлевские просторы за окном, я решительно не понимал, кто он, кто я, почему мы ночуем в царском дворце, что мы делаем и что с нами творится. Часто находившее на меня чувство призрачности революции никогда еще не достигало такой силы, как в памятную ночь с 13-го на 14-го августа. В душе было смутно и нехорошо: пребывание в царских покоях устыжало, словно я кого-то обокрал и не знаю, как бы так спрятать краденое, чтобы забыть о краже.

Как только я вошел в громадный, красно-золотой зрительный зал Большого театра, переполненный представителями правительства и Советов, членами четвертой Государственной Думы, общественными деятелями, профессорами, генералами и адвокатами, я почувствовал предельную напряженность господствовавшей в собрании атмосферы. Все были как в лихорадке, все чего-то боялись, на что-то надеялись, во всяком случае чего-то ждали. Характерною чертою этого ожидания было то, что собравшиеся чего-то ждали не от себя, не от своего почина, а от каких-то тайных, закулисных сил. Такое настроение было тем более непонятно, что все ответственные политические деятели и стоящие за ними группы прибыли на Московское Государственное совещание с целью сговора, т. е. с целью всемерной поддержки Временного правительства. Центральным исполнительным комитетом, резко отмежевавшимся от большевиков, были строго запрещены всякие самочинные сборища и манифестации на улицах.

Большевистские представители комитета, заявившие о своем желании выступить с особым заявлением, не были вовсе допущены на Государственное совещание. Прочитанная Чхеидзе от имени советской демократии «платформа» была сформулирована в явном расчете на то, что она окажется приемлемой и для буржуазного крыла демократии. Ораторы буржуазных партий, правда, не стесняясь критиковали правительственную нерешительность и откровенно вменяли в вину Керенскому его одностороннюю зависимость от социалистических партий, но отнюдь не предлагали открытого разрыва с Советами.

Кто был на Московском совещании, помнит, а кто не был, может прочесть в любых воспоминаниях, что эта примирительная тенденция неожиданно приобрела к концу совещания как бы символическое выражение в том крепком рукопожатии, которым вождь советской демократии, Церетелли, при оглушительных аплодисментах почти всего зала обменялся с представителем торгово-промышленного класса А. А. Бубликовым.

Несмотря на такой апофеоз двухдневных прений, все члены совещания разошлись с чувством, что настоящего примирения между правым и левым секторами собрания не состоялось и что события в ближайшем же будущем примут новый и скорее всего катастрофический оборот.

Объясняется это противоречие тем, что почти все вожди совещания ощущали свою примирительную тактику не как ведущий в счастливое будущее путь, а как канат над бездной, уже разделившей Россию на два непримиримых лагеря.

Может быть один только Керенский верил еще в то, что канат, по которому он, балансируя, скользит над бездной, есть тот путь, по которому пойдет революция.

Признаков того, что за стенами Большого театра что-то готовится, было много. В день открытия совещания

трамваи не ходили и рестораны оставались закрытыми. Этою частичною забастовкою большевики напоминали совещанию о своей непримиримости по отношению ко всякому примиренчеству. Но так как большевистские подвохи были не новостью, то члены совещания без особого возмущения ездили на извозчиках и обедали у знакомых: в конце концов, так было даже удобнее.

Решающих событий ждали скорее справа. Глаза всех были обращены на Ставку. Прибытие Главковерха ожидалось с величайшим напряжением. По городу ходили всевозможные темные слухи: одни утверждали, что на Совещании будет объявлена диктатура Корнилова; другие – что генерал будет на нем арестован. Корнилов прибыл в Москву лишь на второй день. На вокзале ему была устроена торжественная встреча. Говорились речи. На площадь он был вынесен на руках. Собравшийся народ приветствовал его раскатистым «ура». В сопровождении тех же текинцев Главнокомандующий проехал к Иверской, где отстоял молебен. Хотя Корнилов не мог не знать, что его ожидает министр-председатель, по окончании службы он вернулся на вокзал, в свой вагон, где начался прием делегаций от воинских частей. Одновременно Керенский производил смотр войскам Московского гарнизона, которым командовал генерал Верховский, впоследствии военный министр.

Демонстративное чествование Корнилова на вокзальной площади повторилось на следующий день и в зале Большого театра. Как только Главнокомандующий появился в ложе бель-этажа, правая сторона партера встала, как один человек и бурно приветствовала генерала, скромно раскланивавшегося во все стороны. За то левая сторона, в которой находились почти все солдатские делегаты, упорно продолжала сидеть. Она поднялась лишь тогда, когда Корнилов скрылся в глубине

ложи, а на сцене появились члены Временного правительства с Керенским во главе. В ответ на громкие возгласы левой «да здравствует революция, да здравствует революционная армия» справа неслось «да здравствует генерал Корнилов». Трудно сказать, чем кончилась бы все разгоравшаяся борьба двух демонстраций, если бы Керенский, со свойственною ему находчивостью, не предложил приветствовать в лице Верховного главнокомандующего «мужественного руководителя за свободу и родину сражающейся армии». Это примирительное предложение было покрыто горячими аплодисментами почти всего зала. Но через несколько часов рознь между правыми и левыми вспыхнула с еще большей силой.

После ряда обстоятельных, критических речей лучших думских ораторов на эстраде, наконец, появилась небольшая фигура генерала Корнилова.

Вся правая часть зала и большинство офицеров, сидевших на местах отведенных для Советов, встает и устраивает генералу грандиозную овацию. Зал сотрясается от оглушительных аплодисментов, каких в его стенах не вызывал даже Шаляпин.

Солдатская масса продолжает однако демонстративно сидеть, несмотря на громкие возгласы: «позор», «встаньте»!.. Керенский без умолку звонит, но отчаянно болтающегося в его руке звонка никто не слышит. Наконец, ему удается в секунду некоторого затишья резко бросить в залу требование сохранять спокойствие и «выслушать первого солдата Временного правительства с долженствующим ему уважением и с уважением ко Временному правительству».

Корнилов развертывает рукопись и начинает мерным, четким голосом читать свою, просмотренную Савинковым «докладную записку», в которой, как я уже говорил, нет ничего неприемлемого для Временного правительства. Очевидно, что программную речь читает

не тот Корнилов, который накануне, игнорируя Временное правительство и Совещание, ездил служить молебен и принимал какие-то солдатские делегации в своем вагоне.

Как все, так двоится в «Феврале» и монолитная от природы фигура Корнилова между сознательною волею к примирению и бессознательным влечением к расколу и борьбе…

Замысел Керенского созвать в Москве нечто вроде земского собора был с самого начала встречен в штыки. В левых кругах шутили, что Керенский едет в Москву, дабы испросить у буржуазии благословения на удушение революции; в правых – что он едет в Белокаменную на предмет социалистического коронования.

Как политическим врагам Керенского, так и его ненадежным попутчикам одинаково казалось, что Московское совещание понадобилось премьеру в качестве пьедестала для его власти и резонатора для его голоса. Пущенное Лениным презрительное словечко «бонапартишка» повторялось далеко не только в большевистских кругах.

Согласен, что в дни Московского совещания в Керенском чувствовалось желание убедить всех в том, что власть возглавляемого им правительства и есть та сильная, всенародная власть, которой жаждет страна. Некоторое уподобление себя «сильному человеку» в жестах, интонациях и терминологии Керенского безусловно чувствовалось. Но говорить о заученной позе актера, как то делает Милюков, и неверно и несправедливо.

Признаюсь, что нападки правой оппозиции на главу Временного правительства не производили на меня убедительного впечатления; как нерешителен ни был Керенский, он был все же решительнее и сильнее своих оппонентов. Июльское восстание было без труда подавлено, если и не самим Керенским, бывшим

в то время на фронте, то все же тою революционною демократией, которую он возглавлял: подоспевшим с фронта для защиты Петрограда отрядом командовал, как известно, меньшевик Мазуренко. Что же касается мнения Милюкова, что генералы Корнилов, Каледин и Алексеев представляли собою в дни Московского совещания единственную реальную силу России, то вряд ли надо доказывать его ошибочность. За Корниловым не оказалось никакой силы и восстание этого волевого человека, и доблестного офицера было в три дня раздавлено «безвольным» Керенским.

Но если даже игнорируя факты и согласиться с тем, что Керенский был на редкость слабым и не устойчивым человеком, то все же остается открытым вопрос – в чем же проявили свою силу его строгие критики, те представители буржуазии во Временном правительстве, которым история поначалу вручила почти неограниченную власть? Разве только в том, что они последовательно сдавали одну позицию за другой. Разойдясь с демократией по вопросу о внешней политике, ушел в отставку Милюков, из-за разногласий по вопросу о преобразовании армии – Гучков. Неисполнимые требования рабочего класса заставили уйти в отставку Коновалова. Аграрные беспорядки принудили и Львова покинуть свое председательское кресло. Согласен, что всему этому поведению нельзя отказать в последовательности и упорстве, но упорство не сила: тактика постоянного требования сильной власти при постоянном отказе от нее ради чистоты программы никак не может быть признана за проявление силы. Сильную власть вообще не требуют, ее осуществляют.

Защищая министра-председателя от его врагов, я отнюдь не отрицаю его больших недостатков как главы революции. Вот очень показательный пример несостоятельности Керенского. Начальником политического

сыска эсером Мироновым было Савинкову доложено о заговорщических планах некоторых правых и левых организаций. Ознакомившись с материалами, мы с Савинковым решили добиться от Керенского ареста и высылки некоторых подозрительных лиц. После долгих, длившихся до полуночи разговоров, Керенский согласился с нашими доводами. Но на рассвете, когда адъютант Савинкова принес готовый указ о высылке, Керенский наотрез отказался подписать его.

Бледный, усталый, осунувшийся он долго сидел над бумагою, моргая красными воспаленными веками и мучительно утюжа ладонью наморщенный лоб. Мы с Савинковым молча стояли над ним и настойчиво внушали ему: подпиши. Словно освобождаясь от творимого над ним насилия, Керенский вдруг вскочил со стула и почти с ненавистью обрушился на Савинкова: «Нет, не подпишу. Какое мы имеем право, после того как мы годами громили монархию за творящийся в ней произвол, сами почем зря хватать людей и высылать без серьезных доказательств их виновности. Делайте со мною что хотите, я не могу». Так мы и ушли ни с чем.

На Московском совещании раздвоение между голосом совести и сознанием необходимости идти ради спасения России на самые крутые меры, достигло в Керенском наибольшего напряжения.

Когда сообщение Корнилова, что не желавший защищать родину полк, узнав о том, что уже отдан приказ об его истреблении, сразу же занял позицию, было покрыто аплодисментами, Керенский властно потребовал от публики не сопровождать доклада недостойными знаками внимания. Когда лее повторные аплодисменты раздались в ответ на заявление самого Керенского о восстановлении смертной казни, то он еще страстнее прервал «недостойные знаки внимания» гневным возгласом: «Как можно аплодировать,

когда вопрос идет о смерти. Разве вы не понимаете, что в этот час убивается частица человеческой души?» Видеть в словах, как таковых, проявления слабости и безволия могут только нравственные уроды. К чему ведет бесскорбное одобрение смертной казни апологетами сильной власти, доказывает наше страшное время, ничему не рукоплещущее с такою безудержною радостью, как пролитию крови.

Этою глубокою трагедией раздвоения личности объясняется, как мне кажется, и содержание и тон заключительной речи Керенского, которою как-то неудачно оборвалось Московское совещание.

Начал Керенский свою речь сравнительно спокойно. Совещание-де выслушало массу противоречивых мнений. Он, Керенский, надеется, что каждый присутствующий понял, что он понимал не все. Правительство, представляющее собою большинство страны, знает и видит всё. Оно и решит, как примирить непримиримое и какие пожелания исполнить. Пусть только его не принуждают к исполнению бессмысленных и преступных замыслов: насильники почувствуют силу власти, которая только кажется бессильной.

Последними словами Керенский снова угрожал тем темным силам, с которыми он все время боролся и от которых искал защиты у собравшихся в Большом театре. Заговорив со своими невидимыми врагами, Керенский, и без того замученный и затравленный, вдруг потерял всякое самообладание. Его сильный, выносливый голос стал то и дело срываться, переходя минутами в какой-то зловещий шепот. Чувство меры и точность слова, которые никогда не были сильными сторонами ораторского дарования Керенского, начали изменять ему. С каждой фразой объективный смысл его речи все больше и больше поглощался беспредельным личным волнением.

Зал слушал с напряженным вниманием, но и с недоумением. Я сидел на эстраде совсем близко от стола президиума. По лицу Керенского было видно, до чего он замучен и, тем не менее, в его позе и в стиле его речи чувствовалась некоторая нарочитость; несколько театрально прозвучали слова о цветах, которые он вырвет из своей души и о камне, в который он превратит свое сердце… Но вдруг тон Керенского снова изменился и до меня донеслись на всю жизнь запомнившиеся слова: «Какая мука всё видеть, всё понимать, знать, что надо делать, и сделать этого не сметь!»

Более точно определить раздвоенную душу «Февраля» невозможно.

Керенский говорил долго, гораздо дольше, чем то было нужно и возможно. К самому концу в его речи слышалась не только агония его воли, но и его личности. Словно желая прекратить эту муку, зал на какой-то случайной точке оборвал оратора бурными аплодисментами. Керенский почти замертво упал в кресло.

Двадцатого августа пала Рига. Двадцать второго мы с Савинковым выехали в Ставку, где на двадцать третье было назначено собрание комиссаров и представителей армейских комитетов для заслушания и обсуждения выработанного Политическим управлением нового армейского законоположения.

Открыв заседание и произнеся программную речь, Савинков передал председательство мне, так как сам был занят гораздо более важными для него переговорами с Корниловым. Тема этих переговоров не была для меня тайною, но активного участия я в них не принимал.

Не могу точно сказать, когда Савинков впервые заговорил со мною о необходимости преобразования центральной власти, во всяком случае это было до Московского совещания. По замыслу Савинкова Корнилов,

которого он не без задней мысли выдвигал на пост Главнокомандующего, должен был сыграть решающую роль в деле освобождения Временного правительства и прежде всего самого Керенского из-под власти Центрального исполнительного комитета, который представлялся Борису Викторовичу огромною губкою, неустанно впитывающей в себя и разбрызгивающей по всей стране смертельный яд большевизма. Относительно безболезненное проведение этой оздоравливающей операции представлялось Савинкову возможным лишь в том случае, если она будет осуществлена не в порядок военной контрреволюции, а в порядке самообуздания революционной демократии. В конце концов, дело сводилось к осуществлению военной директории – Керенского, Корнилова и Савинкова. В своих беседах с Главнокомандующим комиссар-верх Филоненко так прямо и говорил ему: «Наша политическая окраска для вас тот щит в бою, который так же необходим, как меч».

Я не знаю, был ли Савинков всегда и во всем со мною вполне откровенен, не говорил ли он с Филоненко в иной тональности. Хорошо помню только то, что в наших разговорах Савинков всегда защищал мысль, что обойтись без Керенского нельзя, не скрывая, однако, своей боязни, что Керенский и при новом положении будет большою помехой энергичному и последовательному проведению необходимых мероприятий. Корнилов относился к Керенскому, по словам Савинкова, еще отрицательнее. Поначалу он высказывался решительно против Керенского, но, в конце концов, все же примирился с печальною необходимостью идти рука об руку с министром-председателем. Состоялся ли между Савинковым и Корниловым окончательный сговор о составе директории, я сказать не могу, но ручаюсь за то, что в одном из наших частых разговоров

с Борисом Викторовичем речь шла о комбинации: Корнилов, Керенский, Савинков и Филоненко. Этот разговор отчетливо остался у меня в памяти, потому что я не мог не рассмеяться, когда Савинков выдвинул кандидатуру Филоненко на пост министра иностранных дел. Мой смех явно обидел Бориса Викторовича, и между нами произошла легкая размолвка.

Вызволение Керенского из-под власти Советов должно было по плану Савинкова совершиться следующим образом: надлежало вызвать с фронта надежную конную часть, объявить Петроград на военном положении, в два счета ликвидировать большевиков, провозгласить диктатуру директории и немедленно же приступить к проведению намеченных оздоравливающих мер. Вопрос о том, как поступить со Всероссийским советом и его Центральным исполнительным комитетом, оставался, как мне представляется, для Савинкова не вполне ясным. Думаю, что то или другое решение ставилось им в зависимости от поведения самого Совета.

Что касается центрального вопроса всего «дела Корнилова», т. е. вопроса об участии в «заговоре» самого Керенского, то должен сказать с полною определенностью, что разговоры с Савинковым не оставляли во мне ни малейшего сомнения, что предстоящий переворот подготовляется с ведома и согласия министра-председателя. Зная Керенского, я, конечно, понимал, каких мук должно было ему стоить согласие на задуманное дело, но загипнотизированный твердою уверенностью Савинкова, что Керенский наконец-то понял, что, кроме сговора с Корниловым, ему никакого выхода не остается, я выезжал в Ставку с доброй надеждой на благополучный исход.

Неожиданное выступление Корнилова на Совещании комиссаров и комитетчиков сразу же нанесло

тяжелый удар моему оптимизму. Главнокомандующего не ждали. Он появился совершенно внезапно. Перед тем, как начать говорить, он несколько секунд молча и зло смотрел на собравшихся. Начав говорить, он прежде всего высказал свое неудовольствие по поводу того, что мы, несмотря на падение Риги и угрозу Петрограду, занимаемся бесплодными разговорами. Перейдя затем к предмету наших занятий, он безапелляционно заявил, что некоторые положения выработанного законопроекта о военных организациях противоречат духу воинской дисциплины и допущены быть не могут. Не пожелав выслушать объяснений, он без одного слова привета и пожелания успеха дальнейшей работе быстро покинул собрание, отнюдь не как союзник Керенского, а как его явный противник.

В своих комментариях к «Делу Корнилова» Керенский заявляет, что «верность Савинкова революции и его непричастность к заговору» были для него, Керенского, несомненны. Я очень сомневаюсь, что это всегда было так. Доказательством того, что поначалу Керенский вовсе не был так уверен в Савинкове, как он впоследствии заверяет в своих показаниях, является для меня следующая сцена.

Мы с Савинковым сидели за громадным столом сухомлиновского кабинета. Передо мною лежали бумаги для доклада. Внезапно распахнулась заставленная серыми ширмами дверь в противоположном конце кабинета и к нам вбежал, в сопровождении двух лиц, Керенский. Потрясая какими-то бумагами в поднятой руке, он резко бросил в лицо Савинкову и поныне еще звучащую у меня в ушах полуутвердительную, полувопросительную фразу: «Это ваших рук дело, Борис Викторович?»

Мое убеждение, что Керенский не безусловно доверял Савинкову, доказывается еще тем, что он не сразу

обратился к заведующему военным министерством за разъяснением и советом, а только после того, как он при поддержке Некрасова решил идти до конца в борьбе с генералом Корниловым. Будь Керенский безоговорочно уверен в безусловной преданности) Савинкова, он должен был прежде всего обратиться к нему, только что вернувшемуся из Ставки и только что оповестившему все газеты, что «генерал Корнилов пользуется абсолютным доверием Временного правительства» и что «мероприятия Верховного главнокомандующего по оздоровлению фронта и тыла и восстановлению дисциплины в армии будут незамедлительно осуществлены». Да и как мог Керенский совсем не сомневаться в Савинкове, когда в преданных министру-председателю эсеровских кругах не прекращались толки, что Савинков ведет какую-то весьма рискованную собственную игру. Такую игру Савинков бесспорно и вел. Конечно, не в смысле совместного с Корниловым заговора против Керенского (в предательстве я Савинкова не обвиняю), но в смысле насильнической попытки во что бы то ни стало, своею волею и по своему плану связать Керенского с Корниловым. Для меня не подлежит сомнению, что, ведя с Главнокомандующим переговоры о преобразовании власти, Савинков превышал свои полномочия, как заместителя Керенского по военному министерству, и тем вводил Корнилова в заблуждение в отношении истинных намерений и настроений Керенского. Нельзя же себе на самом деле представить, чтобы Керенским было Савинкову поручено сговариваться с Главнокомандующим о принятии «самых решительных и беспощадных мер против членов Совета рабочих и солдатских депутатов, в случае, если бы они выступили одновременно с большевиками», а ведь просьба Савинкова о таких мерах определенно зарегистрирована протоколом того, по общему тону весьма

осторожного, разговора между начальником военного министерства и Верховным главнокомандующим, который происходил еще 24-го августа.

Учитывая такую игру Савинкова, которому во всем крикливо и патетически вторил Фелоненко, можно допустить, что, отправляя в Петроград 3-й конный корпус для проведения операции против большевиков, Корнилов имел основание верить в то, что действует в полном согласии с Временным правительством и его главою. Да как ему было быть не уверенным в этом, когда на основании своих постоянных служебных сношений с Савинковым в этом же был уверен и я.

Так обстояло дело в лагере Корнилова-Савинкова. Как же оно обстояло в лагере Керенского?

Для каждого, знающего Керенского, ясно, что на савинковскую программу maximum Керенский своего согласия никогда дать не мог. Я думаю, что Керенский принял лишь те основные положения корниловской программы, которые, по компетентному свидетельству Станкевича, совпадали с его собственными предначертаниями. Думаю также, что ожидая выступления тех вражеских сил, которым он грозил на Московском совещании, Керенский решил вызвать в Петроград надежную фронтовую часть и объявить Петроград на военном положении. Несомненно для меня, наконец, и то, что Керенский думал о концентрации власти в нескольких сильных руках.

Но на этом, полагаю, кончается все то, на что он был готов. Не думаю, чтобы он был готов на «решительные и беспощадные меры против демократии» и уже совсем не допускаю мысли, чтобы он приветствовал Корнилова как главу нового кабинета или вождя Директории, как выражался Савинков. Такая мысль не могла придти Керенскому в голову уже по одному тому, что он ждал удара не столько слева, сколько справа,

и генералов боялся чуть ли не больше, чем большевиков. Такому неправильному пониманию политической обстановки, ускорившему падение «Февраля», способствовали: выжидательная тактика большевиков, инерция привычной для Керенского борьбы с реакцией и атавистическая в русском левом интеллигенте враждебность к армии.

Допуская переговоры Савинкова с Корниловым, Керенский ни минуты не думал о смещении власти вправо, а лишь о том, как при помощи Корнилова утвердить власть подлинной демократии, т. е. свою собственную.

Всем сказанным с достаточною, думается, ясностью вскрыты те полусознательные разноустремленности Керенского и Корнилова, благодаря которым насильнически подготовлявшийся Савинковым сговор между Керенским и Корниловым внезапно обернулся заговором Верховного главнокомандующего против министра-председателя.

Такого трагического оборота развитие событий могло бы, быть может, и не принять, если бы не внезапное вмешательство нового лица, прокурора Святейшего синода, Владимира Николаевича Львова, который, желая все устроить и всем помочь, всех запутал и всех погубил.

Эпопея Львова началась для меня лично с того, что 26-го августа Политическим управлением была получена телеграмма, в которой все было темно и загадочно: и адрес «Керенскому для Львова», и содержание – «на обратном пути заезжайте за Родзянко» и подпись «Добрынин».

Глухо зная, что за несколько дней до получения телеграммы В. Н. Львов был у Керенского и они о чем-то конфиденциально беседовали, мы в Политическом управлении ломали себе голову над тем, что может означать такая телеграмма. Непонятен был самый факт

какой-то связи между леволиберальным Львовым, недавним членом Временного правительства, и хорошо известным нам Добрыниным, одним из наиболее темных заправил право-заговорческих элементов при Ставке. Непонятно было и упоминание о Родзянко. Неужели и он примкнул к черносотенным заговорщикам? И, наконец, как понять, что отъявленный враг Керенского, Добрынин, шлет телеграмму на его имя, раскрывая тем самым какие-то свои планы.

До позднего вечера не расходились мы по домам. Было снова тревожно и смутно на душе. Одна догадка сменяла другую. Чувствовалось, что надвигается что-то новое и страшное…

Уже в разгар восстания я увидел Львова в кабинете Керенского. Его ввели под конвоем для какого-то дополнительного допроса. Грузный и сырой, с лицом растерянным и недоумевающим, Львов произвел на меня впечатление безусловно добродушного, искреннего человека, но одновременно и человека на редкость неотчетливого, невнятного, быть может, даже и не вполне нормального. Помню, что на неприятно строгий, следовательский вопрос Керенского, как он, Львов, мог то-то и то-то сделать, Владимир Николаевич с безусловно подлинным душевным волнением ответил: «Только чтобы спасти вас, Александр Федорович».

Подробное изучение злосчастной путаницы, которую Львов внес в развитие и без того сложных взаимоотношений между Корниловым и Керенским, может привести в полное отчаяние не только социолога, верящего в законы исторического развития, но и всякого человека, не считающего, что мир – сумасшедший дом. Единственная возможность примирения с тем, что случайный и незначительный Львов бесспорно сыграл роковую роль в развитии событий, заключается в том, что Львов никогда не впутал бы в свои нелепо-

благонамеренные планы Керенского и Корнилова, если бы они сами не путались в своих противоречивых чувствах и намерениях.

С одной стороны, Корнилов шел как будто бы легко навстречу Временному правительству. Еще 24-го августа он обещал Савинкову немедленно арестовать каждого, причастного к каким бы то ни было противоправительственным заговорам и даже согласился на то, что все исходящие из Политического отдела Ставки телеграммы и бумаги будут поступать на предварительный просмотр комиссар-верха Фелоненко. Но одновременно он допускал, что за завтраком в Ставке велись товарищеские разговоры о том, «нужна ли смерть Керенского, как вытяжка возбужденному чувству офицеров, или нет». Такие беседы велись неспроста, ибо одновременно по рукам ходили, как нам в Политическом управлении было хорошо известно, списки будущего правительства, обращение нового правительства к солдатам и даже какая-то аграрная программа, обещавшая каждому солдату, который поддержит будущего диктатора, по восьми десятин земли. Все эти разговоры велись не при Корнилове, но вокруг него. И вряд ли возможно сомнение, что какою-то частью своей души он им хотя бы бессознательно сочувствовал.

Войдя каким-то образом на Московском совещании в соприкосновение с темными силами Ставки, Львов пришел в ужас от их замыслов и тут же рассказал заговорщикам о своих собственных планах, вполне совпадавших с савинковскими. «Нужно, – доказывал Львов, – чтобы Корнилов и Керенский, Боже упаси, не ссорились, а действовали бы сообща: Корнилов как начальник всех вооруженных сил, а Керенский, как председатель нового национального правительства».

Через несколько дней собеседники Львова сообщили ему, что его план при Ставке принят к сведению.

Окрыленный успехом, Львов предложил съездить к Керенскому, чтобы попытаться убедить его перестроить правительство и успокоить страну. Заговорщики, по своим соображениям, о которых тут распространяться не приходится, ответили, что Ставка согласна. Так доверчивый и неискушенный в политических интригах либерал Львов появился в кабинете Керенского в качестве парламентера черносотенной контрреволюции.

Для разговора между Керенским и Львовым характерно то, что Львова интересовал вопрос спасения России, Керенского же, в связи со Львовым, исключительно планы заговорщиков, так как он был уверен, что центр заговора надо искать в Ставке; на это указывали секретные сведения о настроениях политиканствующего окружения Главнокомандующего. Не называя себя посланцем Ставки, Львов несколько таинственно все же давал понять, что он таковым является и, не отделяя, по неосведомленности, Корнилова от заговорщиков вокруг него, грозил Керенскому от имени пославших его кровавою расправою, если он не протянет руки тем, кого он до сих пор отталкивал.

Разговор кончился тем, что Керенский дал Львову, правда в весьма туманных выражениях, некоторое полномочие подробнее выяснить желания и требования его единомышленников. Это скромное задание обернулось в восторженной и миротворческой душе Львова весьма ответственным поручением – вернуться в Ставку в качестве полномочного представителя Керенского для дальнейших переговоров с Корниловым. Такое превратное понимание Львовым своей миссии доказывается показанием брата Львова, которому Владимир Николаевич по приезде из Петрограда говорил, что «Керенский согласен на преобразование правительства в духе желаний военных властей» и что он, Львов, имеет

от министра-председателя формальное полномочие на ведение переговоров по этому поводу как с общественными деятелями, так и с генералом Корниловым.

Прибыв в Ставку, Львов доложил Главнокомандующему, что Керенский «не держится за власть и что он готов уйти», (фраза эта в другой связи была Керенским действительно сказана), но лишь при условии законной передачи власти в другие руки; заявил Львов и то, что Керенский готов на совместную работу со Ставкой.

Нарисовав в мрачных красках положение страны, и повторив свои обычные обвинения Керенского в бездействии и потакании большевикам, Корнилов высказался за диктатуру, не обязательно свою, и кончил беседу неожиданною просьбою передать Керенскому и Савинкову приглашение прибыть в Ставку, где он обоим гарантирует полную безопасность. Кроме того, Корнилов еще прибавил, что намеревается обоим предложить портфели в будущем правительстве: Керенскому – портфель министра юстиции, Савинкову – военного министра.

После этого разговора с Корниловым Львов завтракал в Ставке; за столом заговорщики – Завойко и Добрынин откровенно развивали свой план свержения Временного правительства и установления диктатуры Корнилова, придавая при этом вызову Керенского в Ставку совершенно иной смысл, чем тот, о котором говорил Корнилов.

Прибыв в Петроград в нервном и взбудораженном состоянии, Львов передал Керенскому следующие требования Корнилова: 1) Объявление Петрограда на военном положении, 2) передача всей власти, военной и гражданской, в руки Верховного главнокомандующего, 3) отставка всех министров, не исключая министра-председателя, и передача управления министерствами товарищам министров впредь до образования нового кабинета Верховным главнокомандующим.

В дополнение к этим, по настоянию Керенского, письменно сформулированным требованиям, Львов, уже в секретном порядке, сообщил Керенскому, что Главнокомандующий просит его и Савинкова немедленно выехать в Ставку. Тон, которым расстроенный разговорами с Завойко Львов передал Керенскому это предложение, был, очевидно, таков, что Керенский имел основание усомниться не только в желании Корнилова видеть его министром в новом кабинете, но и в том, что он действительно будет в Ставке в полной безопасности.

Ясно, что перед лицом таких требований Керенский должен был придти к выводу, что в Ставке действительно подготовляется переворот. Это не могло не привести его в ярость, тем более, что всего только за два дня до приезда Львова в Петроград, Корнилов через Савинкова передавал ему, что «министр-председатель может рассчитывать на всемерную поддержку Ставки, ибо это нужно для блага родины». Внезапное вероломство Корнилова должно было внушить Керенскому мысль, что Верховный главнокомандующий сознательно усыплял его бдительность, дабы вернее нанести удар. При таких условиях времени терять не приходилось. Надо было действовать быстро и решительно. Он это и сделал: немедленно арестовал Львова и послал Корнилову телеграмму об отрешении его от должности.

Действуя так, он не знал, что Львов предлагал ему не с неба свалившийся ультиматум Корнилова, а лишь согласие Верховного главнокомандующего на те решительные меры, которые Львов, явившийся в Ставку в качестве посланца от Керенского, самовольно предлагал Корнилову от лица министра-председателя, будто бы готового подать в отставку.

Корнилову все должно было представляться в совершенно ином свете. Уже Савинков, желая во что бы то ни стало объединить Корнилова с Керенским,

преувеличивал, как я уже отмечал, готовность министра-председателя идти на все меры, которые Главнокомандующему представлялись необходимыми. Невыдержанный и авантюристический Фелоненко шел в этом отношении, безусловно, еще дальше. Оба они, как я уверен, говорили с Корниловым не только о ликвидации большевиков, но также и других членов Совета и о преобразовании центральной власти. Что же удивительного в том, что, беседуя со Львовым, Корнилов был уверен, что продолжает все те же переговоры, которые начались с его «докладной записки» Временному правительству?

Ведя те же разговоры, он вел их с беспомощным, растерянным Львовым, конечно, в совершенно другом тоне, чем с умным, бдительным и твердым Савинковым, вел их, как озлобленный, несговорчивый, забирающий власть союзник, но, я уверен, не как заговорщик.

Заканчивается история этого трагического недоразумения двумя поистине чудовищными актами: обращением Корнилова, провозгласившего себя в ответ на отрешение от должности правителем России, к русскому народу, в котором он заявлял, что Временное правительство отрешило его от должности под давлением большевиков и в полном соответствии с планами германского Генерального штаба, и воззванием Савинкова, в котором Корнилов обвинялся в том, что он в грозный час, когда противник прорвал наш фронт, поднял мятеж против Временного правительства и стал тем самым в ряды врагов революции и изменников отечеству.

При всей несправедливости корниловского обращения к народу, оно в ослепленных отставкою глазах Главнокомандующего не было ложью. Отрешение его от должности он не мог объяснить иначе, как новою победою Совета над Керенским. Совет же он привык считать за сборище изменников отечеству.

К сожалению, того же нельзя сказать о воззвании Савинкова. Называя Корнилова «изменником отечества», он, конечно, прекрасно понимал, что клевещет на горячего патриота, с опасностью для жизни бежавшего из немецкого плена. (О том, что симпатии Савинкова во время и после конфликта были на стороне Корнилова, свидетельствуют, как его показания на следствии, так и его воспоминания).

Надо, впрочем, отдать справедливость Савинкову: он не сразу отошел от Корнилова. Даже и после отставки Главнокомандующего Савинков страстно боролся за примирение. Он при мне дважды говорил по прямому проводу с Корниловым, пытаясь вернуть его на путь подчинения, но все было тщетно. Тогда, поставленный перед необходимостью выбора между Керенским и Корниловым, Савинков, скрепя сердце, выбрал Керенского. Иначе поступить он не мог. Выбор Корнилова, восставшего на демократа и социалиста Керенского, означал бы для него отказ от всей прожитой жизни.

К тому же Савинков не мог быть уверенным, будет ли ему в правом лагере предоставлена роль достаточно значительная для спасения правды революции. Безусловного доверия к нему в Ставке не было. Было уже пущено крылатое слово, что еще неизвестно, кому Савинков хочет воткнуть нож в спину: Керенскому, или Корнилову.

Решив идти против Корнилова, Савинков предложил Керенскому свои услуги в качестве генерал-губернатора Петрограда, а тем самым и Главнокомандующего всеми антикорниловскими силами.

Первым актом нового генерал-губернатора и было вышеупомянутое воззвание.

Трудно сказать, не был ли историей уготовлен для Савинкова и совершенно иной путь, путь возглавления революции. Кое-кто об этом во всяком случае думал.

Предельно утомленный событиями дня, я очень поздно вернулся в «Асторию», где меня, как каждый вечер, ждала с чаем Наташа. Мы только что собрались ложиться спать, как кто-то громко постучал в дверь. Выйдя в коридор, я увидел перед собою бледного, еле стоявшего на ногах Станкевича. Невольно заглянув в открытую дверь и увидав Наташу, о пребывании которой в Петрограде он не знал, он с укоризной посмотрел на меня и смущенно проговорил: «Нехорошо, дорогой, такая страшная ночь, а у вас женщина». (Как жаль, что большинство политических деятелей никогда не предъявляли ни себе, ни другим таких строгих нравственных требований. Предъявляйся они чаще, наша политическая жизнь была бы много выше).

Оправдываться и объясняться было некогда. По виду Станкевича было ясно, что он пришел с чем-то очень важным. Мы присели на белый плетеный диванчик в коридоре и Валентин Борисович в двух словах сообщил мне свой план замены, в случае согласия Ставки, Керенского Савинковым. Я ни минуты не задумываясь отверг предложение, сказав, что Савинков не тот человек, да уже и поздно, дело зашло слишком далеко. Очевидно, Станкевич и сам не очень верил в найденный им выход из положения. Во всяком случае он сразу же согласился со мною и, крепко пожав мне руку, как бы прося прощения за вырвавшееся у него наставление, поспешно зашагал по красному ковру к лестнице.

Вернувшись в номер, я долго думал, правильно ли я поступил. К утру решил, что правильно. Вопрос заключался ведь не в том, чтобы безболезненно удалить Керенского, а в том, чтобы примирить Корнилова с антибольшевистской демократией и, что было еще важнее, – демократию с Корниловым. На эту роль Савинков был не пригоден, так как его имя даже

и в праводемократических кругах было одиознее имени Корнилова. Корнилова считали только врагом, Савинкова, выдвинувшего Корнилова, еще и предателем. Замена Керенского Савинковым и оставление у власти «мятежного генерала», не могло не создать впечатления, что Временное правительство в лице Савинкова сознательно подготовило выдачу демократии на разгром военной контрреволюции. Такой поворот вещей означал бы усиление политической позиции большевиков, давно уже кричавших, что «церетелливщина» только и мечтает, как бы задушить рабочего генеральской пятерней.

Сколько я ни думал, я приходил все к тому же выводу; раз оздоровление революции с помощью Корнилова не удалось, надо, как бы это ни было трудно, осуществлять его иными путями. В том, что за Корниловым нет никаких реальных сил, я был твердо уверен. В 1917-м году контрреволюция справа была исключена: и штыки, и пушки – всё находилось в рабочих и крестьянских руках.

Подавление корниловского восстания происходило на моих глазах. Находясь почти безотлучно при Савинкове, я имел возможность с минуты на минуту следить за развитием событий на фронте и в Петрограде.

Подробно рисовать картину столкновения корниловских и правительственных войск на подступах к столице не входит в мою задачу. Меня интересует лишь общественно-политическая и психологическая стороны событий. Победоносное продвижение корниловских войск к Петрограду длилось недолго. Как только подходившие к столице войска поняли, что их ведут не на защиту Временного правительства и Центрального исполнительного комитета от большевиков, как им было то разъяснено, а на борьбу с Временным правительством и Советом, они смутились,

приостановились и тут же стали быстро «разлагаться». Во всех частях начались митинги, на которых представители армейских комитетов и высланные им на подмогу петроградские агитаторы, не всегда щадя истину, разъясняли растерявшимся солдатам смысл «предательского» покушения Главнокомандующего на завоеванные революцией священные права рабочих и крестьян. «Товарищи, Корнилов изменник России, хочет вести вас в бой на защиту иностранного капитала. Он большие деньги за то получил. А Керенский хочет мира, он за свободу и счастье народа, а генерал за дисциплину и смертную казнь. Неужели вы с Корниловым?» Такие и подобные речи произносились как социалистами-демократами, так и большевиками, которые, прекратив на время борьбу против Керенского, били Керенским по Корнилову. Было бесконечно скорбно и тошно на душе.

Слушая агитационные речи, некоторые части тут же арестовывали своих офицеров, более умеренные отказывались идти дальше в Петроград, а наиболее справедливые – снаряжали ходоков в Совет для выяснения вопроса: кто же предатель?

Почти так же обстояло дело и в верных Временному правительству войсках. Проливать кровь за Керенского было не слаще, чем за Корнилова. Солдаты обоих станов требовали от своих начальников мира и без дальних разговоров втыкали штыки в землю.

Если Керенский все же одержал легкую победу, то это объясняется тем, что, кроме братающихся солдат, в его распоряжении была непримиримая по отношению к Главнокомандующему и энергично руководимая советскими организациями рабочая армия. Железнодорожники с восторгом разбирали пути, по которым двигались корниловские эшелоны, не давали локомотивов, а иногда угоняли эшелоны в обратном направлении.

В это же время Центральный исполнительный комитет без ведома Временного правительства закрывал газеты и производил обыски и аресты. В одной «Астории» было арестовано до 40-ка человек, главным образом, офицеров, заподозренных в контрреволюции. В Пскове арестовали бывшего военного министра Гучкова.

В лагере Главнокомандующего все обстояло совершенно иначе. В распоряжении Корнилова не было никаких подсобных сил. Вся цензовая буржуазия и часть зажиточного крестьянства были безусловно на его стороне. В случае победы они с радостью присоединились бы к нему, но во время борьбы они, ввиду своей неорганизованности и не вооруженности оставались пассивными.

Правда, в помощь Корнилову собирались выступить какие-то, связанные с контрреволюционными деятелями Ставки подпольные организации, но они не выступили, хотя настроение Петрограда, по крайней мере 27-го и 28-го августа, было скорее благоприятно их выступлению. Почему они не попытались поддержать Корнилова, решить трудно. В своей интересной книге «В плену у обезьян», Записки контрреволюционера, В. Ф. Вейнберг объясняет этот загадочный факт не политическими, а скорее бытовыми причинами, прежде всего тем, что отпущенные на поднятие восстания суммы были прокучены и что глава заговора Гейманн решающую ночь провел в «Вилла Роде». Сидорин же и де-Симитьер, от которых все ждали выступления, оказались «в нетях». Нравственно сомнительный образ всех этих контрреволюционеров весьма характерно дорисовывается признанием полковника Дутова, что между 29-м августа и 2-м сентября он должен был со своими ребятами выступать под видом большевиков, что ему не удалось, хотя он и бегал в «Экономический клуб» (правая организация октябриста Крупенского) звать народ на улицу. Но никто с ним не пошел.

Надо ли добавлять, что такие помощники могли только скомпрометировать Корнилова. Если верно сообщение Вейнберга, что отпущенные на выступление деньги были ими пропиты, то этому можно только порадоваться. Если бы они были употреблены по назначению, то это, не дав победы Корнилову, стоило бы моря крови фронтовому офицерству…

Победа над Корниловым оказалась для Керенского, как и надо было ожидать, пирровой победой. Разбив, правда не без непрошенной помощи большевиков, Корнилова, Керенский вышел из борьбы «корниловцем». То, что его работа над восстановлением боеспособности революционной армии кончилась походом Главнокомандующего на Петроград в целях разгона Временного правительства и Советов, нанесло престижу демократа Керенского такой удар, от которого ему уже не суждено было оправиться. Первым проявлением недоверия со стороны Советов было требование отставки Савинкова, только что одержавшего победу над Корниловым. Уступая Совету, Керенский расстался с Савинковым, но это ему не помогло.

Справедливость требует признать, что советская демократия была со своей точки зрения права. Останься Савинков у власти, он безусловно продолжал бы вести свою прежнюю линию. Глубина симпатий Савинкова не только к Корнилову, но и шире, к корниловщине, окончательно вскрылась для меня в странном чествовании отставленного военного министра офицерами той, особо реакционной «Дикой дивизии», отправка которой в Петроград, вопреки данному Временному правительству обещанию заменить ее другой, вменялась Корнилову в особо тяжелое преступление.

Чествование происходило в подвале уютного кавказского ресторанчика. Под заунывные звуки зурны мы пили терпкое кавказское вино, заедая его традиционным шашлыком.

Савинков был в прекрасном настроении, в несравненно лучшем, чем в штабе военного округа, откуда мы с ним отправляли советские делегации для «разложения» солдат «Дикой дивизии». Чувствовалось, что здесь он дома, среди своих людей. Он много пил, остроумно шутил и даже произносил приветственные речи. Офицерам «Дикой дивизии» было с ним просто и уютно. Непонятным образом никому из них даже и в голову не приходило, что накануне еще неизвестно чем чреватого суда над арестованным Главковерхом, они, как ни в чем не бывало, пируют с его вчерашним другом и сегодняшним врагом – демократом, революционером, террористом Савинковым.

Очевидно офицеры «Дикой дивизии» чувствовали, что и после победы над Корниловым Савинков в душе оставался корниловцем.

С заменой Савинкова Верховским кончилось мое активное участие в политической жизни. Присмотревшись ближе к молодому генералу, с которым я раньше лишь мельком встречался, я решил просить об отставке. Человек бесспорно умный, талантливый, энергичный и по своим политическим взглядам кое в чем даже более близкий мне, чем Савинков, Верховский сразу же оттолкнул меня от себя. В его уме было больше выдумки, чем мысли, в его энергии больше натиска, чем стойкости, в его правильных взглядах какое-то искажение правды. К тому же в нем чувствовался честолюбивый карьерист, который в стремлении к своей цели не будет слишком разборчив в средствах. По своему внешнему облику – аристократ, по своему внутреннему стилю – большевик, Верховский начал свою деятельность как типичный демагог. Его план, очевидно, заключался в том, чтобы опираясь на левый фланг революционной демократии, стать тем диктатором, которым Корнилов стать не сумел.

Вернувшись из Ставки, Верховский в начале сентября выступил перед Центральным исполнительным комитетом Совета и его солдатской секцией с программным докладом, в котором мало благородные нападки на несчастного Корнилова сочетались с сентиментальными сентенциями на тему о том, что здоровые начала в армии надо насаждать не пулеметами, а распространением в солдатских массах идей права и справедливости. В связи с этой идиллической программой, Верховский обещал товарищам новую чистку офицерского состава с целью замены всех старорежимных служак, как бы они ни были ценны с профессиональной точки зрения, безоговорочно преданными делу революции и демократии начальниками.

В прениях после этого доклада кто-то спросил Верховского об его отношении к смертной казни. Его не мужественное и хитроумное уклонение от прямого ответа, со ссылкой на свою молодость и малоопытность в политике, возмутило меня. Смотря на красивое, холодное, но одновременно и бредовое лицо готовящегося в Наполеоны якобинца, я ясно чувствовал, что этот молодой генерал или так скоро сорвется, что с ним идти не стоит, или так далеко пойдет, что с ним идти не след.

В ответ на мое прошение об отставке, Верховский вызвал меня к себе для личных объяснений. Час был им назначен весьма неестественный – шесть утра. Смутно помню пасмурное, холодное утро, которым я шел от Исаакия в министерство по еще пустынному городу. На душе были тот же туман и свинец, что и в воздухе. В сердце ныла тупая боль, которую чувствую и сейчас: скорее смертельная скука, чем живая скорбь. Я был в те дни в какой-то летаргии. Поздоровавшись, Верховский сразу же нервно и гневно обрушился на меня за мое нежелание работать с ним над оздоровлением армии.

Он с горечью упрекал меня в том, что я покидаю его, зная до чего мало людей, и что у него каждый человек на счету. Все, что он говорил, было правильно, но все же я чувствовал, что во всех его правильностях не было правды. Он говорил горячо, но я оставался холодным. Так мы и расстались.

Быть может, в моей твердости, кроме недоверия к Верховскому, сыграло большую роль то, что трагедия корниловского восстания окончательно раскрыла мне глаза на мою полную неспособность на такого рода политическую деятельность, которою я занимался в Политическом управлении.

Возвращаясь от Верховского в «Асторию», я, к своему стыду испытал радостное чувство возврата к себе самому: в правду и сущность своей подлинной природы.

В последние шесть недель, оставшиеся до большевистского переворота, я уже не принимал никакого участия в революции, а только издали созерцал ее в качестве редактора «Армии и Флота свободной России».

Диктуя по утрам передовые статьи, которые я к пяти часам привозил в редакцию, я отдавал себе ясный отчет в их полной бездейственности, а потому и ненужности: революция, очевидно, вступала в период, когда слова, независимо от их правильности и талантливости, теряли не только всякую власть над жизнью, но и вообще всякий смысл. Наступало время рассекающих решений и решающих действий. Это отвлеченно понимала буржуазия, которая, не действуя, настойчиво требовала действий от «главноуговаривающего» Керенского. Лучше буржуазии это понимали большевики, с бешеною энергией рвавшиеся к своей цели. Правда, в Петроградском совете, в их главной цитадели, так же днями и ночами лились многословные речи, как и во всех других учреждениях, но здесь они лились как масло в огонь действия – были настоящим действием.

На заседаниях Петроградского коммунального совета господствовала совершенно другая атмосфера, чем во Всероссийском, где все еще коноводили Церетелли и его единомышленники.

Назвать заседанием то, что непрерывно творилось в Смольном, впрочем, никак невозможно. Это мирное, спокойное слово здесь неприменимо. Сборища Петроградского совета были не заседаниями, а столпотворениями. Здесь все находилось в движении, куда-то неслось, куда-то рвалось. Это была какая-то адская кузница. Вспоминая свои частые заезды в Смольный, я до сих пор чувствую жар у лица и помутнение взора от едкого смрада кругом. Воля, чувство и мысли массовой души находились здесь в раскаленном состоянии. С подиума эстрады точно и злостно, словно удары молота на наковальню, падали упрощенные формулы и страстные призывы вождей международного пролетариата. Особенно блестящ, надменен и горяч был в те дни Троцкий, особенно отвратителен, нагл и пошл – Зиновьев. Первому хотелось пустить пулю в лоб, второго – растереть сапогом. Унижало чувство бессильной злобы и черной зависти к тому стихийно-великолепному мужеству, с которым большевики открыто издевались над правительством, раздавали купленные на немецкие деньги винтовки рабочим и подчиняли себе полки петроградского гарнизона. Конечно, задача большевиков облегчалась тем, что заодно с ними действовали и все низменные силы революции: ее нигилистическая метафизика, ее народно-бунтарская психология, требующая замирения на фронте и разгрома имущих классов, ее марксистская идеология, согласно которой задача пролетариата заключалась не в овладении государственным строем, а в окончательном разрушении его. Все это так, но надо все же признать, что в искусстве

восстания, изучением которого особенно увлекался Ленин, большевики показали себя настоящими мастерами.

Полную противоположность Петроградскому совету представлял собою открытый Керенским 7-го октября Совет республики, так называемый Предпарламент.

Привлекши сразу же после победы над Корниловым в новое коалиционное министерство не только кадетов, но и представителей крупного промышленного капитала, Керенский не мог рассчитывать на дальнейшую поддержку Всероссийского совета. Управлять же страной, не опираясь на организованное общественно-политическое мнение, он не считал для себя возможным. В результате такого положения вещей и возник Предпарламент, созванный на приблизительно тех же основаниях, что и Московское совещание.

В Мариинском дворце, отведенном под новосозданное учреждение, был собран весь цвет русской интеллигенции. Направо сидели либеральные профессора, адвокаты, наиболее просвещенные промышленники, военные и духовные лица, кооператоры; налево – представители «государственно мыслящего социализма», правые эсеры и меньшевики-оборонцы – старые советские знакомые: Церетелли, Дан, Либер, Авксентьев, Гоц и др.

Все эти люди отдавали себе ясный отчет в том, что происходит в России, и прекрасно понимали, что нужно сделать, чтобы спасти ее. Но никто из них не знал, как сделать то, что сделать нужно, как найти точку приложения своей, направленной против большевиков, воли. Программные вопросы не вызывали больших разногласий, но вопросы тактики, раскалывая Предпарламент надвое, не давали ни одной из частей устойчивого большинства. Все были согласны, что надо предупредить захват власти большевиками. Но в то время, как цензовая Россия требовала вооруженной

борьбы, социалисты все же надеялись сговориться. Большевики же, открыто готовя восстание против буржуазии и «лакействующего» социализма, не отказывались от переговоров с «лакеями», но, как господа положения, сознательно затягивали их.

Так пропускались последние сроки для разрыва с большевиками, с которыми социалистов Предпарламента ничего не объединяло, и для соединения с либеральной буржуазией, от которой их кроме марксистской идеологии мало что отделяло.

Предпарламент – мое последнее впечатление от скорбной памяти «Февральской революции». Все дальнейшее – непонятный хаос, в котором я не участвовал, который я только претерпевал.

В утро переворота 17-го октября я с какими-то милыми и приятными мне людьми шел в Мариинский дворец. Надо было, перед тем как написать передовицу, посмотреть, что там делается. Хотя на то не было никаких оснований, я чувствовал себя бодро и легко.

Перед нами шло несколько солдат, за которыми, как собачки на цепочках, катились ,по пятам пулеметы. Ни мне, ни моим спутникам не пришло в голову, что это верные Троцкому Кексгольмцы направляются в Мариинский дворец, чтобы разогнать Предпарламент, демонстративно покинутый большевистскими представителями уже на второй день после его созыва.

Разгон почтенного учреждения произошел тихо и благородно, так как на его защиту не поднялось ни одной вооруженной руки. К удивлению самих депутатов, они не были арестованы, а просто распущены по домам. Лишь я, не бывший членом Предпарламента, да еще кто-то случайный, были взяты под стражу и препровождены в казарму Кексгольмского полка.

В светлой комнате, в которую меня ввели, сидело человек 15–20 самых разнообразных людей: несколько

офицеров, несколько холеных буржуев, бедно, но чистенько одетый старичок, с перепуганными глазами и бороденкой клинушком, и типичная мать-командирша, толстая, кирпичного цвета мещанка-лавочница. Последнюю особо хорошо помню, так как, сидя рядом со мною, она словоохотливо пыталась втянуть меня в свое возмущение: «Скажите, пожалуйста, и откуда они такие взялись, что против них и слова сказать нельзя?». Я благоразумно отмалчивался.

Хорошее настроение, в котором я был с утра, не покидало меня и в казарме. Зная большевиков, я имел полное основание предполагать, что они со мною церемониться не будут, но это трезвое сознание почему-то не превращалось в неприятное чувство. Предстоящий допрос меня не беспокоил. Я почему-то был уверен, что отверчусь.

Допрос подвигался медленно. Вероятно, арестованных было много и кроме нас. В ожидании вызова я просидел более трех часов.

Когда меня ввели в комнату, сидевшие за длинным столом подвыпившие солдаты, представлявшие собою, очевидно, некий революционный трибунал, встретили меня дружным громким хохотом: «Экого полосатого бобра поймали»…

То, что меня после допроса отпустили домой, а не бросили, как товарища военного министра, князя Туманова, в Мойку, я не могу не считать счастливейшею случайностью моей жизни. Но что есть случай? Быть может только атеистический псевдоним чуда?

Спасшее меня чудо началось с того, что за несколько недель до переворота мне до того опротивела военная форма, что я попросил Наташу съездить в Москву и привезти мне штатскую одежду. Поездка по железной дороге представляла собою в то время величайшие трудности и даже опасности. Наташе только чудом

удалось привезти мне вещи. На обратном пути в ее вагоне загорелась ось. Темною ночью, посреди открытого поля ей пришлось перебираться в другой вагон. Лишь с громадным трудом и волнением, изнемогая от тяжести огромного чемодана, вскарабкалась она с насыпи на площадку уже двигавшегося вагона, где и простояла всю ночь на страшном сквозняке, так как окна были разбиты.

Когда я узнал обо всем этом, я не мог простить себе своей привередливости. Но эта жестокая по отношению к Наташе затея спасла меня от тюрьмы, а может быть и от смерти. Слова, которыми меня встретил трибунал, относились к моей, непривычной для русского глаза, светло-серой английской шубе в косую черную полосу. Рассмешив своим видом моих судей, я тем самым уже наполовину выиграл дело. Остальное довершила моя прибауточная оправдательная речь, в которой моя чудная штатская шуба играла роль вещественного доказательства моего миролюбия. Говорил я что-то о наших черно-белых пограничных столбах, которые революция повырывала, чтобы на земле стало привольно жить, о себе самом, как об остолбеневшем полосатом чёрте. Нес я, одним словом, явную недостойную чепуху, но говорил, очевидно, забавно. Солдаты покатывались со смеху и поддакивали мне. Кончилось тем, что со словами: «Иди, полосатый чёрт, но смотри, в другой раз не попадайся», меня отпустили на свободу.

За те четыре часа, что я провел в казарме, Петроград окончательно утратил свой мирный, утренний облик. На улицах не было и следа обывательской жизни. Пустынные, они как бы ждали событий. Чувствовалось, что где-то, в каких-то тайных центрах, готовится что-то большое и страшное. Было жутко идти. Не нарушая, а подчеркивая пустынность улиц, проносились набитые

солдатами грузовики. Неожиданно появилась какая-то храбрая извозчичья пролетка. В ней сидели: присяжный поверенный Редкозубов и редактор «Утра России», Раевский. Увидав меня, они на минуту приостановились и сообщили, что большевики уже обстреливают «Асторию». Беспокоясь за Наташу, я со всех ног помчался домой.

К счастью, на площади перед «Асторией» – были сложены заготовленные на зиму дрова. Пробираясь между ними под треск пулеметов, я подкрался к гостинице и, выждав тихую минуту, бросился в подъезд.

Большинство постояльцев толпилось в коридорах. Тут же в шляпе и шубе стояла Наташа. Всеми командовал и всем распоряжался офицер «Дикой дивизии», князь Нестор Эристов. Он был бледен, гневен и очень красив. Клялся, что офицеры женщин не выдадут и живыми большевикам в руки не дадутся.

Попортив пулеметным огнем штукатурку гостиницы и разбив несколько окон, большевики внезапно прекратили обстрел «контрреволюционного гнезда». Мы ждали появления войск, обысков, арестов. Но всего этого почему-то не последовало.

К вечеру этого же дня мы решили пойти в Городскую думу, где, по слухам, организовывалось какое-то сопротивление «захватчикам власти». Пришли и увидали, что оппозиционеров много, а организации никакой – одна суета, растерянность и безголовость. Кому-то пришла в голову нелепая мысль двинуться к Зимнему дворцу, в котором, охраняемое юнкерами, но уже окруженное большевистскими отрядами, находилось Временное правительство. Бессмысленность предложения была всем ясна, но так как оно давало выход общему волнению и жажде действия, то оно было принято. Шли по старой революционной привычке шеренгами, подцепив друг друга под руки. Рядом со мною шагал редактор «Северных записок» Сакер.

На Невском безоружную демонстрацию остановил большевистский патруль и потребовал, чтобы мы разошлись. В ответ на требование кто-то обратился к матросам с укоризненной речью, неужели-де они не понимают, что позорят революцию и предают свободу. В ответ раздалась грубая брань и угроза, что будут стрелять. Солдаты для острастки вскинули ружья. Тогда тот же голос, что стыдил товарищей, с достоинством произнес ту трафаретно-сакраментальную формулу: «мы уступаем физической силе», которая была сказана и в Предпарламенте. После этого все покорно повернули обратно. Было бесконечно стыдно, точно тебя высекли…

Не могу сказать, было ли в Петрограде достаточное количество сил, чтобы оказать большевикам успешное сопротивление, но во всяком случае их было не мало. Несчастье заключалось лишь в том, что они были не организованы и никем не руководимы. Штаб округа бездействовал. А действовать можно было без большого труда и с надеждой на успех, так как сознательность и стойкость перешедших на сторону большевиков войск были невелики.

Офицеры Политического управления, желая хоть что-нибудь предпринять, решили ночью проверить большевистские посты у мостов на Неве. После поверки они пришли ко мне. По их рассказам, на постах стояли совсем еще неотесанные молокососы, которых им ничего бы не стоило снять с дежурства. Рассказывая это, всегда спокойный Балашевский взволнованно требовал от меня, чтобы я как-нибудь пристроил его с товарищами к какому-нибудь настоящему делу: нельзя же, будучи при оружии, сложа руки смотреть, как большевики захватывают власть.

Я от души сочувствовал Евгению, но ничего другого предложить ему не мог, как отправиться в только что

организованный Комитет спасения родины и революции, рассказать там о своих впечатлениях и попросить у председателя Авксентьева немедленно же дать ему и его друзьям какое-нибудь ответственное задание.

Полные негодования и недоумения вернулись Балашевский с товарищами из Комитета спасения. От Авксентьева, этого «барана с львиной головой», им ничего не удалось добиться, кроме как предложения оставить на всякий случай свои адреса в секретариате: в случае нужды офицеры будут немедленно вызваны. Мне Авксентьев просил передать просьбу как можно скорее зайти в Комитет для составления какого-то воззвания. Воззваний было и так довольно, и я не пошел.

Этот рассказ – не обвинение Авксентьева. Я и сам в те решающие часы абсолютно ничего не делал. Антибольшевистских сил в Петрограде было довольно, но возможности их применения, благодаря политике Временного правительства, ни у кого не было, и быть не могло. Деятельный Станкевич попытался было с ротою юнкеров отбить у большевиков телеграфную станцию, но это предприятие кончилось полною неудачею…

О положении правительства в Зимнем дворце до нас не доходило никаких сведений. По городу ходили самые страшные слухи. Войска, за которыми Керенский уехал на фронт, все еще не прибывали. В том, что они так и не прибудут, людям, убедившимся в корниловские дни в полном нежелании фронтовиков за кого бы то ни было проливать свою кровь, сомневаться не приходилось.

Когда крейсер «Аврора», матросы которого за всю войну не нюхали пороха, вошел в Неву и направил свои дула на Зимний дворец – стало ясно, что всё кончено.

Вскоре ли после этого, или лишь через несколько дней, не помню, время и неслось и ползло одновременно,

в «Асторию», которую мы все еще не покидали, несмотря на опасность пребывания в ней, были введены войска. Обыск был произведен неожиданно корректно. У меня отобрали только револьвер и взяли подписку о невыходе из гостиницы. Эта подписка послужила нам последним сигналом. Было ясно, что большевики скоро вернутся за мною. Туго набив кобуру газетною бумагою и впервые за всю революцию прицепив красный бант, который Наташа наскоро смастерила из какого-то лоскутка, я почувствовал себя достаточно вооруженным для предстоящей борьбы с часовым у входа.

Перед тем, как выйти из номера, мы простились друг с другом, как перед долгой разлукой, и совсем налегке, без вещей, тихо двинулись по лестнице: казалось, что всюду засады.

Спускаясь с последней площадки, мы увидали стоявшего в вестибюле часового. В дверях, неприятно задрав вверх по лестнице свое злое дульце, угрожающе торчал пулемет.

Вынув из обшлага шинели какую-то бумажку с печатью, долженствовавшую играть роль пропуска, я сознательно замедлил шаги, чтобы с наивозможно независимым видом подойти к часовому. Подойдя, я махнул перед его носом фальшивкой и быстро двинулся вперед. Заградив нам путь винтовкой, совсем еще молодой солдат твердо заявил, что никого выпускать не приказано. Я не знаю, как бы мы выбрались, если бы на меня внезапно не накатилось то бешенство, которое уже не раз спасало меня.

Оттолкнув солдата, я так зверски накинулся на него, так дико и безобразно принялся распекать его, что он опешил и опустил винтовку. В ту же минуту Наташа перепрыгнула через пулемет, я за ней. Выскочив на площадь и пробежав несколько саженей, мы спрятались за те же спасительные дрова, между которыми я

несколько дней тому назад пробирался к «Астории». Убедившись, что погони нет, мы с радостным чувством миновавшей опасности, направились на Васильевский остров, где у своих родственников проживал мой приятель по 12-й бригаде.

По Петрограду шли грабежи. Обитатели дома решили организовать самооборону. Так как мы с Паскевичем были единственными военными людьми, то чуть ли не каждую ночь мы и просиживали с одиннадцати до рассвета в воротах нашего небольшого двухэтажного домишки.

Из-за Невы грозил вражий Петроград, уже окончательно отданный большевикам; оставалась еще слабая надежда на Москву, куда мы собирались перебраться при первой возможности. Ходили слухи, что она еще сопротивляется. Поддерживая друг в друге эту последнюю надежду, мы в глубине своих душ этим слухам не верили: слишком много было пережито разочарований.

Когда вдали раздавались шаги, мы выскакивали из дворницкой будки, в которой прятались от непогоды, и с унизительною тревогою всматривались в тускло освещенную далеким фонарем улицу. До чего все было иначе на наблюдательном посту в Галиции: чисто, честно и достойно. Эту разницу чувствовал не только я, но и такой безоговорочный пацифист, как Паскевич. Боже, сколько прекрасных людей, сколько верных товарищей пало в Галиции и под Ригой: и чем же всё кончилось – проиграна война, посрамлена Россия…

У Паскевича оставалась еще вера, что, захватив власть, большевики опомнятся, смягчатся, у меня ее не было. Мысля в политических категориях, он видел в большевиках прежде всего левых социалистов. Мысля в образах, я видел в них «бесов». Минутами это разночувствие невольно бросало легкую тень на нашу фронтовую дружбу…

В вечер нашего отъезда в Москву, на Николаевском вокзале царил неописуемый хаос. Вся предвокзальная площадь была залита серо-шинельной солдатчиной; каменной глыбой темнел среди этого моря тяжелый памятник Александру III-му.

В дверях вокзала, как в водовороте, крутились вливающиеся и выливающиеся из него массы. Узнать, какие куда идут поезда, не было никакой возможности. Сквозь густую толпу, над которой висели ругань и вонь, беспрестанно проталкивались то к закрытым кассам, то к запертым выходам на платформу солдатские ходоки, тщетно пытаясь чего-нибудь добиться. Граница между залами и буфетами разных классов была снята, всюду стояла, сидела и лежала одна и та же солдатская толпа. Лишь в буфете первого и второго классов у самой стойки ютилось еще несколько покрытых грязными скатертями столиков, за которыми последние буржуи, мужественно охраняемые лакеями, за громадные деньги доедали последние котлеты из конины.

Толпа нервничала, в ней то и дело возникали слухи, что сейчас подадут состав.

Тогда все со злою решительностью, давя друг друга, начинали протискиваться к выходу. Слухи оказывались ложными и народ опять валил обратно.

Наконец, состав все же подали. Когда солдатская волна вынесла нас на платформу, поезд оказался уже до отказу набитым солдатами, которые штурмом брали вагоны, подсаживая друг друга в разбитые окна и помогая взбираться на крыши.

Нам ничего не оставалось, как вернуться на старое место и ждать следующего поезда, может быть и до утра. Просидев час-другой, я решил отправиться на разведки. Наташа осталась сидеть на чемодане. После долгих поисков мне удалось найти носильщика, который за очень большие деньги обещал тайком посадить

нас в следующий поезд: вероятно, у него были свои связи с кассой и с кондукторами.

Когда я в радостном чувстве достигнутого успеха возвращался к Наташе, внезапно погасло электричество. Движение, шум, говор, ругань – все сразу оборвалось, и наступила гробовая тишина… Толпа инстинктивно чувствовала, что если она не замрет, то наступит столпотворение.

Эта невидимая, почти неощутимая толпа, в которой я час простоял без движения, была еще более гнетуща и грозна, чем только что шумевшая и волновавшаяся.

Носильщик не обманул меня. Часа через два он внезапно появился у столиков и, не говоря ни слова, повел нас через кухню буфета какими-то задворками на запасные пути; там он посадил нас в еще не освещенный пустой вагон первого класса.

Когда поезд пойдет, носильщик сказать не мог, но нам это было и не важно. Величайшим наслаждением было уже то, что можно было лечь и в тишине отдохнуть от физической маяты и нравственной муки последних дней.

Было, помнится, около полуночи, когда наш таинственный поезд, состоявший из нескольких вагонов первого и второго классов, неожиданно вздрогнул и тихо, как бы с нечистою совестью, без всяких звонков и свистков тронулся в путь.

На следующее утро разнесся слух, что дальше не пойдем. Но, очевидно, какие-то таинственные силы были за нас; после часовой стоянки на какой-то станции нас везут дальше.

Подъезжаем к Химкам. В прозрачном воздухе неожиданно светлого после петербургской хмури и грязи дня, вереницею плывут забитые на зиму подмосковные дачи. За заборами, рядом с уже оснеженной хвоей, кое-где еще краснеет последняя рябина. Мир, тишина, безлюдье.

Я смотрю на все это совсем новыми глазами, словно удивляюсь тому, что все это привычное, милое, тихое еще существует на свете.

Наташа с волнением смотрит в окно: ей очень хочется показать мне дачу, в которой много лет жили ее родители. «Вот», – торопливо восклицает она и радостно показывает мне на стоящую на высоком берегу реки почти скрытую густым садом дачу.

Смотря на ее просветлевшее и затихшее лицо, я живо представляю себе ее двенадцатилетним подростком, неспешно расцветающим в кругу крепкой дружной семьи. Как мне хотелось бы показать ей Кондрово, в котором протекло мое незабвенное детство. Образы прошлого с такою силою завладевают душой, что в ней внезапно подымается радостная уверенность, что мы скоро вернемся в свою настоящую жизнь.

Москва. Чья она и как то она нас встретит? Невольно оглядываясь по сторонам и на все готовые, мы с опаскою выходим из вагона. На первый взгляд все как будто бы в порядке. Никаких солдат, постов, никакой проверки документов. Выходим на площадь. Кроме небольшого числа приехавших с нами пассажиров – ни души. Город как мертвый. Лишь от Казанского вокзала, наискось пересекая площадь, трусит порожний извозчик.

Боясь, что его у нас перехватят, я со всех ног бросаюсь к нему. Сначала старик отказывается везти нас на Тверскую – больно близко к Совету, как бы чего не случилось, но потом, соблазняясь ценою, соглашается. Дорогой рассказывает: «два дня носу нельзя было показать на улицу, до того пуляли, а нонче с утра затихло. Слышно, товарищи одолевают, хотя юнкера в Кремле еще держатся».

Я стараюсь выведать подробности и узнать на чьей стороне народ, но мне это не удается, старик отмалчивается, очевидно он очень перепуган.

Во избежание задержки на Тверской, мы въезжаем с переулка прямо во двор, быстро расплачиваемся и бежим наверх.

Серафима Васильевна вскрикнув и густо покраснев со слезами выбегает в переднюю. За нею, как всегда медленный и спокойный, но с расширенными от волнения горячими глазами, выходит Николай Сергеевич. Вслед за родителями появляется и вся семья.

После горячих объятий, поцелуев, приветствий, радостных восклицаний, вопросов, идем в столовую, где несмотря на поздний час, все еще кипит самовар. За чаем мы беспорядочно рассказываем о последних днях Петрограда, о которых в Москве достоверно ничего не было известно. Родители страшно беспокоились за нас и бесконечно рады, что мы вырвались… Они тоже натерпелись страху, особенно когда с колокольни Страстного монастыря начали стрелять из пулеметов, и вся Тверская была оцеплена большевиками.

Несмотря на все бывшие и ждущие нас в будущем ужасы, мы с чувством давно не испытанного покоя сидели за большим столом. После страшного, призрачного, безбытного для нас Петрограда, после ненастоящей жизни в безличной «Астории», набитой военными и шпионами, здесь, в родном кругу, в своей Москве, все казалось таким надежным и прочным.

Не довольно ли в самом деле великих исторических событий, в которых, быть может, и нет ничего великого? Не пора ли домой: в тесноту и тишину своего быта, в высоту и глубину подлинного бытия. Уже четвертый год, как я не живу среди своих стен, не слышу по вечерам Наташиного рояля, не беседую со своею стареющею матерью, которая все более и более тоскует по мне, ничего настоящего не читаю, ничего не пишу.

Вечером, сидя на сафьяновом турецком диване Наташиной девичьей комнаты, на котором уже много

раз решались самые важные вопросы нашей жизни, мы долго думали и говорили о том, как жить дальше. Изредка слышались ружейные выстрелы, иногда сухо трещал пулемет. Все это напоминало о действительности, о той страшной опасности, в которой находилась Россия. Все это обязывало к продолжению борьбы. И все же мы твердо решили, что я от политической борьбы отойду, так как я явно не создан для нее.

Будущее это решение отменило. Помимо моей воли, вся моя дальнейшая жизнь встала под знак борьбы с большевиками.

Разрушители не только политического строя, но и всего духовно-плотяного образа России, провозвестники не только религии социализма, но и воинствующего безбожия, большевики с такою беспощадною страстностью начали борьбу за свой новый мир, что уйти от этой борьбы было некуда. Ни быт, ни бытие не спасали.

18 октября 1943 года.

Глава II
ОКТЯБРЬ

Монументальность, с которою неистовый Ленин, в назидание капиталистической Европе и на горе крестьянской России, принялся за созидание коммунистического общества, сравнима разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге Бытия.

День за днем низвергал он на взбаламученную революцией темную Россию свое библейское: «да будет так».

Да будут солдаты дипломатами и да заключают они на собственный риск и страх перемирие с неприятелем…

Да будут рабочие контролерами промышленности: пусть раскрывают торговые книги фабрикантов, пусть сами устанавливают размеры производства и цены на фабрикаты.

Да будут бедняки хозяевами земли.

Да перейдут помещичьи земли в распоряжение земельных комитетов.

Да будут народы России хозяевами своей судьбы: если им мало самоопределения в пределах России, пусть отделяются от нее.

Да будут школьники хозяевами школы: пусть их коллективной воле подчиняются учителя и родители: в детях, а не в стариках залог счастья грядущего мира.

Да будут художники глашатаями будущего.

Да здравствуют футуристы, ломающие старые формы искусства, как революция ломает формы старого быта.

Да не будет Бога, да не будет церкви, да будет коммунизм.

Декреты оглашались один за другим, но коммунизма не получалось.

В ответ на ленинские «да будет так», жизнь отвечала не библейским «и стало так», но всероссийским

«и так не стало». Перенесенное в плоскость человеческой воли творчество из ничего не созидало новой жизни, а лишь разрушало старую.

Увидав это и испугавшись сделанного, большевики решительно переменили курс. Как бы вспомнив победоносцевское: «Россию надо подморозить», они отказались от своего анархо-коммунистического законодательствования и повели энергичную борьбу за централизацию и бюрократизацию власти.

Под наркозом соответственно измененной агитации началась быстрая демобилизация всякой власти на местах. Рабочий контроль был перемещен в «главки». В Москве появились всевозможные «главбумы», «главлесы», «главсахары» и т. д. Власть волостных земельных комитетов была сильно урезана. Власть в школах была возвращена учителю-коммунисту, а в армии комиссару и красному офицеру. Национальностям, входящим в состав России, было объявлено, что самоопределяться вплоть до отделения могут только свободные, т. е. управляемые коммунистическими советами народы. Практически это означало, что отделяться от Р.С.Ф.С.Р. имеют право лишь те национальности, которым и в голову не может придти отделиться от Красной Москвы. За желающими же отделиться нациями это право признано быть не может, так как принцип интернационала не совместим с пережитками мелкобуржуазного национализма.

Под знаком этой своеобразной, но вполне последовательной, с большевистской точки зрения, логики, большевики и начали свое кровавое собирание грозившей распасться России, оправдывая своей политикой мудрое слово Жореса, что малая доля интернационализма удаляет от национализма, а большая – возвращает к нему.

Нельзя сказать, чтобы новая, бюрократически-централизованная система управления устраивала бы

жизнь лучше анархо-коммунистической. На починку сарая мужику в «Главлесе» было еще труднее получить тесу, чем в «Волисполкоме». Бумага «Главбумом» отпускалась исключительно на партийную литературу. О сахаре в России в те времена никто и не мечтал.

Управу на продолжавшую произвольничать местную власть в высших инстанциях можно было найти только тому, у кого в Москве были личные или партийные связи. Людям без связей лучше было и не соваться в центр, так как вокруг «красных» председателей всевозможных «главков», красных директоров и даже красных писателей и ученых сразу же начала слагаться такая густая атмосфера интриг, доносов, шпионажа и взяточничества, что было трудно дышать и страшно двигаться. Со дня на день креп террор, людей преследовали не только за их деяния и мысли, но и за их бездейственное, немое бытие. Смертные приговоры выносились и приводились в исполнение не в порядке наказания за преступление, а в порядке ликвидации чужеродного и потому не пригодного для социалистического строительства материала. Помещики, буржуи, священники, кулаки, белые офицеры так же просто выводились в расход, как в рационально поставленных хозяйствах выводится в расход одна порода скота ради введения другой.

Под угрозою этого хладнокровного, рационального террора во всей не пролетарской России начался небывалый по своим размерам процесс внутреннего и внешнего перекрашивания в защитный цвет революции.

Тысячи и тысячи людей, насильнически выгнанных революционным законодательством и произволом масс из своих помещичьих усадеб, городских особняков и даже скромных интеллигентских квартир, бросали вместе с накопленным добром и весь свой миросозерцательный багаж, дабы хоть кое-как устроиться

под спасительной крышей марксистской идеологии. Толпы этих обнищалых, внутренне неприкаянных переселенцев заполняли собою в качестве служащих, а зачастую даже и руководителей всевозможные советские учреждения, придавая жизни неуловимо-призрачный, двоящийся характер. Охваченные со всех сторон партийным шпионажем, эти новоявленные «товарищи» легко запутывались в нем и, спасая себя, выдавали других. Нет сомнения, что безликий и вездесущий шпионаж был самою страшною стороною террористической системы большевизма. Сердце каждого человека билось не в собственной груди, а в холодной руке невидимого «чекиста».

Несмотря на этот ужас, в нашей советской жизни первых лет было нечто, по своей значительности, весомости, а минутами даже и просветленности решительно несравнимое со всем, что мы переживали до революции в России и после нее в Европе. Быть может, В. В. Розанов наиболее точно указал на это ни с чем несравнимое, назвав свои записки о советской жизни «Апокалипсисом нашего времени». Действительно, в первые годы большевистской революции во всех кругах было чувство, что старый мир кончился и что на смену ему идет новое и небывалое.

Для коммунистов кончилась «предыстория» и началась история, кончилось царство буржуазии и началось царство социализма, кончилось царство необходимости и началось царство свободы, в которое они, следуя известному слову Маркса, стремились не постепенно перейти, а мгновенно «переброситься».

Антибольшевистской Россией события воспринимались, конечно, иначе. Православному сознанию и исповедничеству большевизм представлялся не началом истории, а ее концом, не утреннею звездою грядущего светлого царства, а вечернею зарею запутавшегося

в грехах мира. Многие ощущали Ленина антихристом и ждали Божьего суда. В гонимых церквах звучало «покайтесь» и в сердцах, наперекор творящемуся ужасу, крепла вера в новое небо и новую землю.

Неравная борьба этих в духе непримиримых, но в жизни сложно переплетавшихся апокалипсисов определяла собою и внешний быт, и внутренний смысл эпохи. Марксистская эсхатология злобно разрушала привычную жизнь и изо дня в день изменяла и перепластовывала древний образ России. Христианская, поскольку у нее хватало сил, осмысливала это разрушение углубленным созерцанием его, неведомого большевикам, сверхисторического смысла.

Насколько страшны были первые годы революции классоненавистническим растлением общества и революционным перекрашиванием России, настолько же значительны они были тем, что все вещи, чувства и мысли начали постепенно обнаруживать свой удельный вес, входить в истину своей сущности, своего подлинного значения. Не только верующим, но и неверующим становилась понятной молитва о хлебе насущном, так как вся Россия, за исключением большевистской головки, ела свой ломоть черного хлеба как вынутую просфору, боясь обронить хоть крошку на пол. Тепло, простор, уют исчезли из наших квартир, но в новых, часто убогих убежищах глубже ощущалось счастье иметь свой собственный угол, крышу над головою. Маленькие железные печурки, по прозванию «буржуйки», вокруг которых постоянно торчали холод и голод, благодарно и первобытно ощущались почти что священными очагами жизни. По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался к бытию. Становясь необычайным, все привычное своеобразно преображалось и тем преображало нашу жизнь. Сквозь внешнюю оболочку

вещей всюду видимо проступали заложенные в них первоидеи. Насаждая грубый материалистический марксизм, большевики, вопреки своей воле, возрождали платонизм и прежде всего, конечно, в сфере внутренней жизни.

В свете «красной звезды» всем нам становилось по-новому ясно, что есть любовь, дружба, чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего.

Распознавание сущности становилось жизненною необходимостью для каждого из нас, потому что на каждом перекрестке стояла судьба, потому что каждый поворот означал выбор между верностью себе и предательством себя.

В нашей внешней до убожества упрощенной жизни в те дни на каждом шагу совершались сложнейшие нравственные процессы, руководить которыми не могли ни привычные точки зрения, ни унаследованные нормы. Чтобы устоять, чтобы оградить себя от самого страшного, от гибели души и совести, надо было иметь живые, неподкупные глаза и владеть даром интуитивного распознавания «духов». Жизнь на «вершинах» становилась биологическою необходимостью; абсолютное «бытие» переставало быть возвышенным предметом философского созерцания и поэтического вдохновения, с каждым днем оно все больше становилось единственно возможною опорою нашей каждодневной жизни. Без веры в свой долг, в свою звезду, в свою судьбу, в Бога нельзя было трястись в тифозном вагоне за хлебом для стариков и детей, нельзя было быть уверенным, что близкий человек не предаст тебя на допросе, и что ты сам скорее умрешь, чем предашь его.

Так всякий час, всякий взор, всякий жест наполнялись предельною серьезностью и первозданным значением.

Это вынужденное восхождение душ – о, конечно, не всех, но тех, в которых спасалась душа России – к вечным ценностям глубже всего свершалось в Москве, которая отнюдь не была только грязным и разваливающимся, но и совершенно фантастическим городом, в котором призрачно переплетались все времена и пространства русской истории.

В центре и на окраинах высились недостроенные дома, леса и стены которых быстро разбирались населением на разные домашние нужды, главным образом на дрова и печки. Тут время текло не вперед, а как бы вспять. По-новому ощущались и пространства Москвы. По всему городу, в особенности же в кольце Садовых, просторными пустырями переливались через растасканные заборы, еще Герценом прославленные, московские дворы. По этим просторам в разные стороны разбегались утоптанные тропки, по которым с утра до ночи с оглядкой спешил нагруженный кладью люд. На привокзальных площадях «древними кочевьями» темнели толпы народа, сутками ожидавшие отхода поезда. Изредка, по заваленным мусором улицам проходили непривычные для городского глаза крестьянские обозы, запряженные мелкорослыми тощими лошаденками. По ночам от всеобщего беспорядка часто горели деревянные окраины города. Тогда казалось, что Москва бежит от француза и, спасаясь, сжигает себя.

Особенно призрачною бывала Москва зимою: сравненные с мостовой тротуары, суженные снежными заносами улицы, целые сугробы на площадях, и особенно на ветреных перекрестках; фонари не горят, окна темны. В Кремле злой и таинственный враг. В белесой от снега темноте изредка слышатся торопливые шаги запоздалых прохожих.

Помню, как мы с Наташей возвращались однажды ночью с Арбата на Тверскую. Может быть, потому,

что уж очень призрачен и мертвенен был лунный свет, идти было страшнее, чем обыкновенно. Шли мы, озираясь, нет ли где за углом чекиста-опричника, или просто пьяного хулигана с наганом за пазухой. Вдруг позади послышался скрип полозьев. Мы невольно остановились пропустить сани. Когда с нами поравнялись горой нагруженные розвальни, мы с ужасом увидали, что из-под прикрывающего кладь брезента торчат голые человеческие ноги…

За годы военного коммунизма всего не хватало в Москве. Люди тысячами умирали с голоду, от тифа и «испанки». Очереди на гроба были так же длинны, как на хлеб. Только одного было вдоволь – трупов в анатомическом театре. По свидетельству известного врача, у большинства из них были прострелены затылки.

Таков был апокалиптический круг, в котором протекала наша жизнь. Описывая ее, я в дальнейшем буду сознательно оставлять в тени ее кровавые ужасы. Ужасами теперь никого не удивишь: подлинный, инфернальный ужас нашей нынешней жизни в том и заключается, что мы окончательно перестали ужасаться творящемуся в мире безумию.

Величайшая разница между национал-социалистической и большевистской революциями заключается в том, что национал-социалисты все заранее продумали, большевики же в техническом отношении переворота не подготовили. Национал-социалисты пришли к власти с готовыми списками министров, гаулейтеров (губернаторов) и всех остальных, более или менее важных государственных чиновников и партийных руководителей. В портфелях этих будущих правителей задолго до переворота лежали детально разработанные планы постепенных мероприятий по переустройству либерально-парламентарного государства в однопартийную диктатуру вождя – Гитлера. Революционный беспорядок

длился в Германии всего только несколько дней. С тревогою «древнего хаоса», которая охватила Россию осенью 1918-го года, немецкий беспорядок не имел ничего общего. Это был тот простой профессиональный беспорядок, что неизбежен на всякой фабрике во время расширения дела и установки новых машин. Наскоро установив свои идеологические двигатели, и повсюду проложив свои узкоколейные организационно-административные рельсы, национал-социалисты так быстро вынесли сор и вымели двор, что приехавшему извне человеку никак нельзя было догадаться, что в Германии только что произошла величайшая революция.

Казалось бы, из такого положения вещей должна была бы вытекать гораздо большая, чем в большевистской России, свобода. На самом же деле получилось как раз обратное. По крайней мере год в большевистской Москве можно было говорить и творить вещи, за которые в Германии тебя сразу же посадили бы в концентрационный лагерь. Объясняется это, конечно, не большею либеральностью большевиков, а тем, что в насквозь проорганизованном гитлеровском государстве властям все до последней мелочи было видно и слышно. В России же, благодаря недохвату пригодных для управления людей, долгое время царил такой хаос, в котором осмотрительному человеку было возможно укрыться от глаз Чека.

Удайся Ленину сразу же на немецкий лад прозрачно заморозить Россию, никому из помещиков, буржуев и политических противников большевизма не удалось бы пережить первого периода революции. Спасибо марксизму за его теорию необходимого разрушения буржуазно-государственного аппарата. Не последуй Ленин этому учению, ему было бы легче скрутить непокорную Россию. Но он последовал. Сразу же разрушил недоразрушенные Временным правительством

учреждения и принялся все строить заново. Наскоро созданный им партийно-государственный аппарат работал решительно, но технически из рук вон плохо. Его беспомощность и была нашею свободою. Каждую минуту можно было быть ни за что расстрелянным, но одновременно было возможно безнаказанно не исполнять прямых приказаний власти.

Вслед за правительством, переехавшим в Москву в феврале 1918-го года, перебрались в нее один за другим и центральные комитеты политических партий. Несмотря на то, что торгово-промышленникам, кадетам и социалистам развертывающиеся события представлялись в весьма разном свете, была сделана попытка создать общий фронт борьбы против большевиков. Уже с ранней весны начал свою деятельность ряд контрреволюционных организаций: «Союз общественных деятелей», «Национальный центр», «Союз возрождения России». Зная понаслышке об этих политических объединениях, я и сознательно и бессознательно держался в стороне от них. Не то, чтобы я отрицал возможность всякой борьбы, возможность как будто была (усиливались слухи, что избалованный большевиками петроградский гарнизон ненадежен, что кронштадтцы требуют отставки ленинского правительства, что петроградская конференция рабочих вынесла резолюцию с постановлением передачи власти Учредительному Собранию, что на юге крепнет добровольческая армия), но я уже не верил ни в себя, как политического деятеля, ни в политические способности разогнанных большевиками сил. Мне казалось, что люди, не сумевшие удержать так легко доставшуюся им власть, вряд ли смогут вернуть себе ее при гораздо более сложных обстоятельствах. В те дни мною владела уверенность, что чашу большевистского яда России придется выпить до дна.

Даже с Савинковым, появившимся в Москве в качестве представителя добровольческой армии, я решил

не встречаться, хотя меня и очень тянуло к нему. Быть может, я инстинктивно боялся влияния этого обаятельного для меня человека, боялся того, что он поколеблет во мне решение уйти от активной политической борьбы.

Избегая Савинкова, я охотно встречался с его помощниками, моими товарищами по фронту, которые часто заходили к нам поесть, переодеться, выспаться. От них я знал, что Савинков держит себя в Москве с вызывающею храбростью: ходит по улицам в черном френче и желтых сапогах, утверждая, что это не очень опасно, так как любой большевистский чекист при встрече с ним первый постарается скрыться.

Летом 1918-го года, когда Савинков собирал свою офицерскую рать для поднятия восстания в ряде окружающих Москву городов, о чем я знал очень глухо, большевики объявили регистрацию бывших офицеров. Вопрос – идти ли мне на регистрацию, или нет, был одним из самых трудных вопросов, что мне пришлось решать за свою советскую жизнь.

Было ясно, что большевики заинтересованы не в пополнении рядов красной армии контрреволюционным элементом, а в прекращении его просачивания в ряды Добровольческой армии и савинковского Союза защиты родины и свободы. В то, что явившиеся будут расстреляны, тогда еще не верилось, но в том, что все явившиеся будут арестованы, сомневаться не приходилось. Не идя, можно было проскочить, но в случае ареста приходилось считаться с расстрелом за неявку, особенно мне, ввиду той активной роли, которую я играл в министерстве Керенского. Придти к какому-нибудь решению на основе рациональных соображений было невозможно. Но идти было до того противно и стыдно, что я, недолго думая, решил не идти, будь что будет. Наташина интуиция не оспаривала моего решения, а скорее присоединялась к нему. Наше решение

оказалось правильным: ни один из пошедших на регистрацию знакомых офицеров не вернулся обратно. Я же в сутолоке событий был забыт. Были ли забыты и другие не явившиеся, мне неизвестно. В то время все жили и действовали в одиночку, на свой личный риск и страх.

В моей памяти, как, вероятно, в памяти каждого человека, хранятся часы, как будто бы незначительные, на самом же деле исполненные глубокого значения.

Что было? В сущности ничего, кроме того, что за несколько дней до регистрации офицеров мы с Наташей и Евгением Балашевским пошли в «Эрмитаж» послушать знаменитую шведку Эмми Гистэд, которою в то страшное лето вместе со многими москвичами увлекался и Евгений.

Перед началом спектакля мы ужинали в саду. Был самый обыкновенный летний вечер, как всякий летний вечер в городе, томительно скучный. Над пыльною зеленью сада, над праздно фланирующей по дорожкам серою публикой лениво проплывали бесцветные облака. С открытой сцены, не веселя души, неслись веселые звуки вальса, а с улицы слышались звонки трамваев и ленивое цоканье извозчиков.

По террасе, некогда первоклассного ресторана, привычно суетились половые, разнося по столикам жалкое подобие знаменитого салата «Оливье», названного так по имени его изобретателя, попавшего в русский плен солдата наполеоновской армии. Запивая салат времен Наполеона кавказским вином, мы полушёпотом говорили о судьбе великих исторических деятелей. Окажется ли Ленин великим и что останется от него? До сих пор помню острую боль этого разговора. По некоторым темным намекам я догадывался, на какое трудное и страшное дело решился Евгений. Любуясь им, его молодою верою, его готовностью на всякую

жертву, я все же с грустью слушал его: веры в то, что поединок Савинкова с Лениным кончится победою Савинкова, во мне не было. Дать это понять Евгению казалось недопустимою жестокостью, утаить же свои сомненья – нечестностью перед другом, с которым было так много пережито на галицийском фронте, просветленные воспоминания о котором и в этот смутный вечер ни на минуту не отходили от нас. Да как им было и отойти? Ведь Балашевский решился на борьбу до конца не как демократ, а как офицер, не ради восстановления прав разогнанного Учредительного Собрания, а ради того, чтобы отомстить большевикам за всенародное поругание чести русской армии.

Театр был полон. Ни проигранная война, ни попранная свобода, ни свирепствующий террор, ни надвигающийся на страну голод, ни даже все это взятое вместе, не было в силах убить в людях древней жажды зрелищ и наслаждений. Остра была эта жажда и в Евгении. Восторженно смотря своими горячими, скорбными глазами на прелестную смуглую женщину в желтом, которая танцевала и пела на сцене, он почтительно ухаживал за Наташей, которая с первой же встречи покорила его нежное и пылкое сердце. С любовью и мукой смотря на своего друга, я смотрел в ту глубину его души, в которой не чувствовалось ни времени, ни граней, в которой все сливалось воедино: отчаяние, что прошлое безвозвратно погибло, с верою, что оно неминуемо воскреснет; готовность умереть за его воскресение с обостренною жаждою жизни в настоящем; холодное сладострастие мести с горячею мечтою о любви, отчетливое созерцание непереступаемости грани между добром и злом с ее действенным отрицанием ради защиты своего добра от «добра» своих врагов.

Прощаясь с Евгением под сиреневым фонарем ночного «Эрмитажа», целуясь с ним и крепко пожимая

его руку, я не чаял, что мы когда-нибудь увидимся. Предчувствия мои сбылись. Не вынеся неудачи Белого движения, Евгений, накануне отплытия остатков армии в Галлиполи, лишил себя жизни.

Приехав в ноябре из Петрограда на Тверскую к Никитиным, мы так и остались у них жить. По весне Серафима Васильевна отправилась хозяйничать в Ивановку. Николай Сергеевич и Лидия Васильевна остались в Москве, лишь изредка наезжая отдохнуть в деревню.

Настроение и в московской квартире и в Ивановке было крайне подавленное: и тут, и там царили безысходная грусть и полная растерянность перед событиями. По внешности наша жизнь была как будто бы еще та же, на самом деле все было уже иным. Прошлое еще присутствовало в нашем домашнем обиходе, но лишь так, как угасающий больной присутствует среди здоровых. Всякое слово о нем было словом прощания с ним.

Несчастный Николай Сергеевич целыми вечерами ходил из столовой через гостиную в кабинет и обратно, все раздумывал: как быть и что делать. Продавать ли ему дело, или вести дальше? Продать было бы, конечно, спокойнее, даже не будучи уверенным, что полученные деньги останутся в цене. Но, конечно, хотелось продолжать любимое дело. Неизвестно было только, как продолжать, когда расходы с каждым днем росли, а доходы падали, когда нужные материалы исчезали с рынка и не было никакой возможности починить протекающий павильон, когда подмастерья, отбившись от рук, требовали громадной прибавки, а дочь горничной Аксюши желала получить для себя и своей матери лучшую комнату в квартире. Да и Серафиму Васильевну было страшно оставлять одну в деревне, где к ней начинали придираться земельные комитеты.

Не зная, как быть, Николай Сергеевич приглашал к чаю посоветоваться своих старых служащих: гравера по дереву Федорова и заведующего гальванопластикой Щукина.

Тонкие знатоки, любители своего мастерства и преданные Николаю Сергеевичу люди, двадцать с лишним лет помаленьку и по старинке расширявшие вместе с ним дело, они во внезапно создавшемся положении разбирались еще хуже него и посоветовать ничего не могли. Но они утешали Николая Сергеевича своим сочувствием и полным согласием на все его планы. Продавать, так продавать; продолжать, так продолжать. Если нужно для продолжения превратить дело в товарищество на паях, или в трудовую артель, как кто-то советовал, то они конечно и на это были согласны. На этом разговор о будущем быстро обрывался и начинался бесконечный разговор о прошлом.

Нечто похожее на то, что происходило в Ивановке и в доме Бахрушина на Тверской, происходило и в Малаховке, на даче моей матери, к которой я часто ездил с ночевкой.

Овдовев в 1914-м году, она вскоре после большевистского переворота вторично вышла замуж за того самого элегантного балтийца с польскою фамилией, который изящно прогарцевал на первых страницах этих воспоминаний. Мать решилась на этот шаг только потому, что в жуткие революционные годы стало страшно жить в деревне без мужской защиты. Каких-либо внутренних изменений этот брак в жизнь моей матери не внес, если не считать, что старый друг нашего дома и прежде всего моего отца получил право называться ее мужем.

Павел Карлович, или попросту Панечка, как мы все его звали, был менее кого бы то ни было приспособлен к жизни в советской России. Честный, мало гибкий немец-балтиец по матери и заносчивый, гонористый поляк по отцу, всю свою жизнь прослуживший в качестве инженера-конструктора в больших иностранных, швейцарских и английских фирмах и привыкший

к вольному воздуху этих стран, он не представлял себе жизни в большевистской Москве, он физически задыхался в ней.

После опубликования Центральным исполнительным комитетом (в декабре 1917-го года) декрета о независимости Эстонии, Литвы и Латвии, он сразу же принялся хлопотать о возвращении в родную Ригу. С налитым кровью лицом, с рыскающими безумными глазами и высоко поднятым кулаком метался он по кабинету построенной им для матери дачи и требовал, чтобы она решилась на переезд в Прибалтику. Хотя мама и боялась, что Панечка сойдет с ума, если останется в Москве, она своего согласия на переезд дать не могла, так как переезд означал бы разлуку с детьми, для нее равносильную смерти.

Волнения, подобные описанным, происходили в московских домах лишь до тех пор, пока неналаженность партийно-государственного аппарата создавала иллюзию возможности распоряжаться свою судьбою. В зиму 1919-го, 1920-го года, после жестокого уплотнения квартир, которое в большинстве случаев означало вселение в каждую семью по шпиону, и национализации торговли, жизнь всей внебольшевистской Москвы окончательно замерла: уже никто никуда не рвался и никто ничего не решал. Все, как мыши, сидели в захлопнувшихся мышеловках и с замиранием сердца ждали того часа, когда кухарка, уже ставшая, согласно ленинской формуле, «министром внутренних дел», ошпарит их кипятком и выбросит на помойку.

Говоря о жалком остатке свободы, которым мы первое время пользовались в большевистской Москве, я сознательно не касался вопроса о свободе печати. Этой свободы беспорядком не объяснишь: ведь газеты и журналы не прятались в подполье, а открыто выходили с разрешения, или, по крайней мере, с попущения

власти. Казалось бы, чего проще: взять и запретить всю антибольшевистскую печать. Большевики этого не сделали. Почему?

Ответа на этот вопрос, думается, надо искать в том, что такие мероприятия, как отмена частной собственности, расширение меньшинственного права на самоопределение, вплоть до выделения из состава Республики, и демобилизация русской армии в самый разгар германского наступления, с передачей защиты русской революции немецкому пролетариату, ощущались большевиками подлинным революционным творчеством, мужественным «отречением от старого мира». В удушении же печати не было ничего нового, ничего революционного и парадоксального. Закрывая газеты, большевики не могли не чувствовать, что они возвращаются в ненавистный им старый мир и это в глубине души было им, быть может, все же неприятно. Дух творческого радикализма и рассекающей жестокости был им исконно свойственен, скудный же дух реакции завладевал ими лишь постепенно.

Утверждение наших либералов и социалистов, что дух большевизма с самого начала был духом реакции, социологически конечно не верно. Несомненно, большевики войдут в историю наследниками Великой французской революции, а не наследниками романтически-националистической реакции против нее, как властители фашистской Италии и национал-социалистической Германии. В том, что большевики во Второй мировой войне оказались на стороне западных демократий, есть безусловно своеобразная историческая логика.

Роясь недавно в ящиках своего письменного стола, я натолкнулся на папку с газетными статьями, опубликованными мною между ноябрем 1917-го и августом 1918-го года, и был глубоко поражен ныне непостижимою резкостью их тона. Такого тона не могла бы допустить ни одна уважающая себя власть, даже и самая

либеральная забыть может, единственным исключением Временного правительства. Вот выдержки из сохранившихся у меня статей:

«Вчера в Брест-Литовске открылись мирные переговоры. Каковы бы ни были их результаты, армия 19-го ноября большевикам не простит. Не простит потому, что 19-го ноября большевики у каждого солдата и каждого офицера украли их мечту о мире, как о праведном избавлении от ужаса и насилия войны, о мире, как о часе возвращения всего мира в разум истины и справедливости, о мире, в котором согласно забьются все русские сердца, в котором обнимутся на фронте солдаты и офицеры, в котором безмерное счастье превратит всех людей в друзей и братьев…

Но что за дело некоронованным самодержцам революционной России, наезжим эмигрантам и тыловым прапорщикам, до священной мечты русского солдата о светлом и великом дне замирения. Что им за дело до того, что наша родина уже превращается для многих из нас из родины в чужбину. Что им за дело до того, что час замирения с врагом превращается в час народного раздора, что он восходит над Россией не в благообразии, а в безобразии, не как торжество правды, а как торжество насилия и что он ведет за собою со связанными за спиной руками тех оплеванных и избитых офицеров, что после тяжелых ранений добровольно возвращались на фронт, чтобы защищать родину? Что им за дело, наконец, до того, что вестниками и глашатаями своего мира они вынуждены посылать предателей, убийц и громил, что лицо их мира восходит над Россией с каиновой печатью на лбу, озаренное зловещим заревом пылающих городов и поместий?

Я знаю, до всего этого им дела нет, но пусть они потому и не говорят, что русский народ с ними». («Воля России»).

Еще резче статья от 18-го июля 1918-го года, написанная по поводу Съезда советов:

«Отсутствие на Съезде мысли и совести мы ещё могли бы простить большевикам. Но отсутствие всякого масштаба – непростительно. У смертного одра (а кто может

сомневаться, что Россия при смерти) допустимы, в конце концов, и фигура идиота, т. е. безответственного утописта, и фигура палача. Но решительно невыносимы пустословие, перебранка и те краснозвонные шутовские бубенцы, которыми Троцкий цинически пытается развлечь умирающую Россию».

Дальше идти некуда. Такой свободы слова не существовало даже в свободолюбивейшей веймаровской Германии. В ней, как известно, существовал закон о защите республики, не допускавший таких прямых призывов к низвержению господствующего строя, которые поначалу встречались на страницах антибольшевистской социалистической печати.

Торопясь использовать эту недолговечную свободу, правые эсеры решили издавать большую политическую и литературную газету. Душою нового начинания был мой старый гейдельбергский знакомый Илья Исидорович Фондаминский-Бунаков. Ему, влюбленному во французскую культуру, французский язык и французскую журналистику, старому парижскому эмигранту, уже давно начавшему разочаровываться в политике, как таковой, страстно мечталось создать в Москве большую газету нового типа, некий социалистический «Temps».

В предварительном обсуждении общего плана и политического направления нового органа, я, не будучи членом партии, никакого участия не принимал. Ко мне обратились, когда все уже было решено, не как к политическому деятелю (в этом отношении мне, часто защищавшему «еретические» взгляды, не очень доверяли), а как к писателю-философу.

Задумывая постановку серьезного культурно-философского отдела, редакция «Возрождения», так было решено назвать газету, предложила мне взять на себя его редактирование, на что я с радостью согласился.

Дело окультуривания русского демократического социализма было мне близко и дорого еще со времен моего сотрудничества в «Северных записках»; к тому же предложение газеты и с внешней стороны устраивало мою жизнь. Идти на службу в какое-нибудь большевистское учреждение было для меня неприемлемо. Зарабатывание же пропитания случайной публицистической работой было крайне трудно. Вполне достаточное месячное вознаграждение за интересную работу сразу же разрешало все трудности практической жизни.

Вспоминая о своем сотрудничестве в «Возрождении», я с недоумением останавливаюсь перед тем фактом, что из моей памяти почти бесследно исчезли политический образ и политическая борьба газеты. А ведь в лето 1918-го года на всех фронтах революции и во всех концах России происходили исключительно значительные события.

На экономическом фронте спешно ликвидировался введенный по демагогическим соображениям «рабочий контроль» и упорно проводилась национализация не только крупной промышленности, но даже и мелкой частной торговли, что, конечно, означало отказ от социалистического углубления революции и, по крайней мере, временный перевод ее на запасные пути государственного капитализма.

Нечто аналогичное происходило и в военной сфере: разбойничьи красноармейские банды начинали постепенно превращаться в дисциплинированные рабоче-крестьянские части. Большинству из нас, ослепленных справедливою ненавистью к большевикам, это еще не было видно, но такой внимательный наблюдатель, как генерал царской армии Новицкий, отнюдь не закрывая глаз на разнузданность и недисциплинированность большевистских войск, уже писал в «Возрождении», что «критиковать красную армию вне рамок

переживаемой нами революции – невозможно; только в революционном освещении можно понять ее и предусмотреть те пути, по которым ей предстоит развиваться и видоизменяться. Да, красная армия – это армия революции и только в революционные дни она возможна. Но зато в это время никакая другая армия немыслима. И потому, когда я наблюдаю неприглядных, неряшливых красноармейцев, я не прихожу в отчаяние, я не считаю армию погибшей».

В то же лето не только нарастает, но после убийства председателя Петроградского Совета Урицкого идеологически и оформляется большевистский террор. В сентябре 1918-го года в «Правде» появляется статья Оссинского, определяющая красный террор, как «систему уничтожения буржуазии, как класса», а вслед за ним, в ноябре, приобретает широкую известность признание чекиста Лациса, что на путях этого истребления партией будут уничтожаться и ни в чем неповинные люди. «Не ищите в следственном материале доказательств того, что обвиняемый действовал делом, или словом, против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, образования, профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысле и сущность красного террора».

Удивляться тому, что большевики, начавшие с отрицания смертной казни, в условиях Гражданской войны очень быстро пришли к неслыханному в мире террору, было бы наивно. Но не потрястись их чудовищной по своей сознательности, откровенности и жестокости теорией террора, было как будто бы невозможно. И, тем не менее, я не могу припомнить этого потрясения ни в себе, ни в редакции.

Быть может, еще важнее этих перемен во взглядах и настроениях партии (по крайней мере, для ежедневной

политической прессы) были те внешнеполитические события, которые за время выхода «Возрождения» совершались на всех фронтах Гражданской войны. Но и о них я, на основании своей памяти не мог бы рассказать ничего более или менее точного. Не встреться я впоследствии с Бунаковым, Авксентьевым и Зензиновым и не изучай я истории революции, я так до сих пор и не знал бы об отношении правых эсеров, в органе которых работал, к Волжскому фронту, к организованному там комитету Учредительного Собрания, так называемому «Комучу» и его народной армии, к двусмысленной политике Чернова, к отряду полковника Капеля, к чехам, которые боролись на этом фронте рука об руку с добровольцами русской демократии, к союзникам, которые обещали помочь ей, но так и не помогли.

От всех вопросов внешней политики осталось в памяти лишь недовольство Бунакова передовицами заведующего политическим отделом, Сталинского, от которых веяло раздражавшим и меня духом двуличного интернационализма.

Что касается событий, которые происходили на Украине, Дону и Кавказе, где благодаря борьбе союзнических влияний с немецкими и белой идеи «единой и неделимой России» с меньшинственными национализмами создавался непроницаемый хаос политических домогательств и военных столкновений, то о них я уже совсем ничего не могу сказать.

Объяснить себе этот непростительный провал памяти я могу лишь тем, что вместе с «Февралем» во мне почти совсем погас живой интерес к чисто политическим сторонам революции. Подтверждение этому я нахожу и в случайно сохранившихся у меня статьях «Возрождения». Чисто политической активности в этих статьях нет. Происходящими событиями они

не занимаются, на вопрос – как быть и что делать – не дают никакого ответа. Кое-где в них вспыхивает надежда, что большевистская власть падет, но нигде не чувствуется веры в то, что она может быть свергнута: их центр – в анализе прошлого, но не в построении образа будущего. Они с горечью нападают на безрелигиозность русского освободительного движения, объясняя этою безрелигиозностью тот царствовавший в левом стане идеологический утопизм, который привел к победе Ленина. Они призывают к покаянию, к трезвости и конкретности, к тому, чтобы широко раскрыть глаза на мир Божий и отказаться от произвола своих собственных точек зрения. (Первая статья так и называлась: «Глаза и точки зрения»).

Весь этот Строй моих мыслей и чувств был глубоко чужд эсеровской идеологии. Тому, что мои статьи безоговорочно печатались, я, вероятно, обязан Бунакову, который, судя по тому, к чему он впоследствии пришел, должен был уже и в 1918-м году двигаться в том же направлении, что и я. Сам он в «Возрождении» писал редко, но то, что он писал, было веско, просто, четко и очень нравилось мне.

Насколько я слабо помню идейно-политическую сторону работы в «Возрождении», настолько же отчетливо стоит у меня перед глазами ее профессионально-бытовая сторона, с которой связаны немалые радости моего редакторствования.

Главная радость заключалась, вероятно, в том, что после напряженнейшей деятельности на разлагающемся фронте, в кипящих злыми страстями Советах, в Политическом управлении, где часто приходилось брать на душу непосильные для человеческой души решения, я неожиданно для самого себя был вовлечен в соразмерную человеческой душе, интересную, живую, дружную работу, слава Богу, безвластную над жизнью

и смертью людей. В Политическое управление я ежедневно направлялся с тяжелым сердцем, в редакцию же «Возрождения» я шел налегке.

Не то, чтобы я не чувствовал свершающихся в мире ужасов, как было не чувствовать, когда кругом лилась кровь близких тебе людей, да и ты сам мог быть ежедневно расстрелян. Но не будучи связанным с этими ужасами постоянным, лично ответственным участием в них, я ощущал их совершенно иначе, чем в Петрограде: скорее космическими грозами, чем историческими событиями, скорее чумой, чем безумием. И это ощущение успокаивало душу, возвращало ее в тихую, личную жизнь.

Так проходя в редакцию мимо Страстного монастыря, с колокольни которого в октябрьские дни трещали большевистские пулеметы, я думал уже не о революции, а о тех ранних темных утрах, которыми мы с братом в продолжение многих школьных зим садились в допотопную конку, еле освещенную двумя маленькими керосиновыми лампочками по углам.

Спустившись как будто бы еще своею, но уже и ускользающей от тебя Москвой по Тверскому бульвару к Никитским воротам и миновав церковь Вознесения, где венчался Пушкин, светлое имя которого еще в раннем детстве таинственно прозвучало мне в соседнем с нашим Кондровым «Полотняном заводе» Гончаровых, я с неизменною радостью подымался в редакцию «Возрождения», помещавшуюся в новопостроенном доме на углу Спиридоновки и Гранатного переулка.

Среди постоянных сотрудников культурно-философского отдела наиболее интересным человеком был, бесспорно, Илья Эренбург, который, начав свою политическую карьеру с добровольческой защиты царской России в рядах французской армии, уже давно славословит Советский союз и Сталина. Что толкнуло бесспорно

талантливого и очень умного Эренбурга на этот тяжелый и бесславный путь, мне не ясно. Может быть, обида на то, что его «Еврейских колыбельных песен» русская читающая публика как-то не заметила, а «Молитвам о России», несмотря на его добровольчество, не поверила.

Сколько времени выходило «Возрождение», я точно сказать не могу. Думаю, что после ряда неприятных столкновений с цензурою, оно было закрыто уже к осени. Попытка его возобновить, в качестве «Сына отечества», увенчаться успехом, конечно, не могла. Очень быстро «Сына отечества» постигла та же участь, что и «Возрождение».

В закрытии нашей газеты сыграл значительную роль Валерий Брюсов, бывший редактор модернистически-аполитических «Весов» и либеральной «Русской мысли». Это обстоятельство в свое время не только удивило, но и потрясло меня. Лишь недавно после прочтения опубликованной в советском «Литературном наследстве» интереснейшей переписки между Брюсовым и Горьким от 1905-го года, я как будто понял, как это могло случиться. В этой переписке утонченнейший эстет, поклонник французского символизма, прилежный исследователь древних культур, большой библиофил и библиограф, Брюсов с пеною у рта проповедует разгром тех самых музеев и библиотек, в которых он, по собственному признанию, привык с наслаждением работать.

«Его, – пишет Брюсов, имея в виду весь дореволюционный строй нашей жизни, – я ненавижу, ненавижу и презираю. Лучшие мои мечты о днях, когда все это будет сокрушено. О, как весело возьмусь я за топор, чтобы громить хоть свой собственный дом, буду жечь и свои книги»… В том же письме находится и переложение этих погромных желаний в типично брюсовские, но не по-брюсовски слабые стихи:

В руинах, звавшихся парламентской палатой,
Как будет радостен детей свободный крик,
Как будет весело дробить остатки статуй
И складывать костер из бесконечных книг.

С чего это? Какой, хочется спросить, белены объелся Брюсов? Ведь он не Блок и не Белый, в Бакунинской мистике разрушения, в религиозном иконоборчестве его не заподозришь. Что же это? Купеческое варварство, российское хулиганство, или головной футуризм? Не знаю. Знаю только то, что, чем больше занимаюсь историей нашей революции, тем больше нахожу в ней скрытых большевиков.

Во что обошелся Брюсову переход от теоретической проповеди скифского погрома к его практически-полицейскому осуществлению в должности советского цензора, решить трудно. Но, что он обошелся ему все же очень дорого, говорит то, что Брюсов-поэт не написал в Советской России ничего достойного себя, а Брюсов-чиновник покончил жизнь самоубийством.

В посвященном Брюсову некрологе Ходасевич сообщает, что в ящике письменного стола советского цензора Брюсова был найден морфий и ржавый шприц, завернутый в окровавленную газетную бумагу.

Моралисты всех эпох и народов всегда призывали к подавлению страстей. В моей душе всю жизнь жили две страсти: лошади и театр. Никогда безоглядно не отдаваясь им, я никогда не гнал их от себя. Раскаиваться в этом не имею ни малейшего основания: если бы не эти страсти, моя жизнь в годы революции вряд ли сложилась бы так удачно, как оно случилось.

Еще на литературных вечерах в доме Гуриных мы с братом познакомились с талантливым учеником Московского театрального училища Михаилом Францевичем Лениным.

В 1904-м году, отбывая лагерный сбор в Клементьеве, я близко сошелся как с Мишей, так и с его женою,

окончившею вместе с ним театральное училище, но не ставшей актрисой. В 1914-м году мы с Лениным в одном и том же поезде выехали из Москвы в Сибирь в наши части: он в Красноярск, а я – в Иркутск.

На фронте Ленин пробыл недолго. В Раве-Рузской, куда его дивизию отбросило наступление Макензена, он патетически заявил мне, что уходит с фронта в штаб Московского военного округа, где честные независимые офицеры нужнее, чем в окопах. «Бессмысленно, – шипел он мне на ухо, тем театральным шёпотом, о котором любил говорить, что его слышно и на галерке, – умирать за отечество, возглавляемое преступным и бездарным правительством. Необходимо проведение радикальных реформ, чему можно содействовать только в центре».

Несмотря на то, что за всеми этими звонкими фразами решительно ничего не скрывалось, кроме утробного бунтарства и элементарного желания разделаться с фронтом и вернуться в привычную, удобную, веселую жизнь с волнующими рукоплесканиями, бурными романами и ежевечерними ресторанными ужинами, они производили впечатление искреннего и объективного горения.

Как и Несчастливцев Островского, Ленин был всегда готов «рыдать» и проклинать.

Остаться в стороне от революции такой человек, конечно, не мог. Вовремя ощутив в себе сына простого народа (отец Ленина, по фамилии Игнатюк, был простым лесничим в Полесье), которому, чтобы попасть на сцену, пришлось без гроша в кармане чуть ли не пешком бежать в Москву, Ленин сразу же после переворота сделал отчаянную попытку сломить «тираническую диктатуру» популярного в Москве актера и драматического писателя князя Сумбатова-Южина и стать во главе труппы Императорского Малого театра.

Попытка не удалась. Умный, образованный и дипломатически выдержанный князь пошатнулся, но все же устоял.

Тогда Ленин решил создать свой собственный театр. Привыкший за долгие годы нашего знакомства обсуждать со мною свои роли и свои планы, он, естественно, пришел ко мне с просьбой взять на себя идейное возглавление затеваемого им театра.

Первое «Учредительное собрание», которое Миша созвал у себя на квартире, прошло с большим подъемом. Среди собравшихся я хорошо помню только двоих: товарища Ленина по Малому театру, Худолеева, большого мастера на маленькие роли, которого за изящный, холеный вид и исключительное умение носить фрак, в труппе звали «Ванькой-листократом» и несравненную Варвару Массалитинову.

Актриса огромного дарования, но чуждая по стилю своего таланта всем московским театральным направлениям, во всем своезаконная и своевольная, Массалитинова к моменту своего вступления в труппу Государственного Показательного театра, как в последствие было названо ленинское предприятие, только еще искала своего пути, только что ждала своего расцвета. Встретив ее у Ленина, я был очень обрадован предстоящей совместной работой, так как всегда ценил совсем особый, пророчески-метафизический звук массалитиновского дарования. Как ни изумительно играла Ольга Осиповна Садовская «Пошлепкину» в «Ревизоре», Массалитинова была в этой роли все же ближе к тому подлинному Гоголю, которого открыли символисты. Мне кажется, что вполне найти себя Массалитинова могла бы только в Достоевском. Будь у нее другие внешние данные, она могла бы сыграть изумительную Настасью Филипповну («Идиот»). Родись она мужчиной, она была бы недосягаема в ролях Мити Карамазова и Парфена Рогожина.

В основу прочитанного мною у Ленина доклада была положена мысль, что задачею создающегося театра не может быть служение пролетарской культуре за полною бессмысленностью этого словосочетания. Всякая культура, утверждал я, творится нацией, а не классом, что в достаточной степени доказывается тем, что у пролетариата нет и не может быть своего языка, этой ничем не заменимой плоти духовного творчества, а есть, в лучшем случае, своя идеология, своя терминология и свои интересы в сфере устроения социально-экономической жизни страны.

Театру, выросшему, как показывает его история, из религиозных глубин человеческой души и издревне стремившемуся к тому, чтобы «глаголом жечь сердца людей», с безрелигиозно-науковерческой идеей «пролетарской культуры» делать нечего.

Отмежевываясь, таким образом, от марксистского понимания революции, я отнюдь не отмежевывался от нее самой. Наоборот, я убежденно доказывал, что театр в большей степени, чем все остальные искусства, должен чувствовать себя связанным с текущим моментом исторической жизни. В дни, когда, очевидно, навсегда отходит в прошлое веками слагавшийся быт России и меняется народная психология, мы не можем удовлетворятся ни утонченным психологизмом Художественного, ни бытовым натурализмом Малого, ни западническим артистизмом Камерного театров. Вместе с развертывающимися событиями и мы в предстоящей нам работе должны будем смело восходить от вчерашнего быта к вечному бытию. В момент, когда на исторической сцене действуют не отдельные люди, а Бог, дьявол и народы, нельзя предлагать зрителю пьес, в которых серые люди в серых пиджачках обывательски мучаются не существующими перед лицом, вечности вопросами и безысходно томятся в растлевающих душу настроениях.

Необходимо создать костюмно-героический театр, театр больших идей и пламенных страстей, театр возвышенного жеста и трубного судного гласа, театр вечного слова, с которого начался мир, а не театр лукавых словес, театр жизни, а не переживаний. Намечая репертуар, я рекомендовал прежде всего обратиться к Шекспиру и к античной трагедии.

На возможный вопрос партийных инстанций, почему мы решили идти таким путем, я предлагал отвечать, что рассматривая пролетария будущего, как некого «сверхчеловека», мы ничем достойнее не сможем приветствовать его прихода к власти, как сверхискусством прошлого. Я говорил с актерами и потому невольно говорил в несколько приподнятом, декламационном тоне.

Доклад мой лишь отчасти понравился Мише Ленину. Защищаемой мною формулы – «от быта через событие к бытию» (Вячеслав Иванов) – он в отличие от Массалитиновой, понять не мог, зато мое требование костюмно-героического театра, театра как «страшного суда» принял с восторгом.

После доклада, мы долго не расходились по домам, чуть ли не до утра обсуждая связанные с будущим театра вопросы: кого, кроме Худолеева, пригласить в качестве режиссера, каких привлечь к делу художников, какими крупными актерами пополнить труппу и кому идти в театральный отдел и к Луначарскому, чтобы окончательно оформить дело.

Когда все уже было налажено, надо мной внезапно нависла гроза. В связи с развивающейся Гражданской войной была объявлена мобилизация, которой подлежал и я. Игнорировать приказ военного комиссариата на этот раз было уже нельзя. Надо было идти на осмотр во врачебную комиссию.

Сняв за сутки до осмотра ортопедический бинт со своей раненой ноги, я предъявил доктору вместо нее

столь страшное на вид, багрово-лиловое в кровоподтеках бревно, что он тут же признал мою полную непригодность к несению фронтовой службы и дал мне «категорию», согласно которой я мог быть назначен только на тыловую должность. Самое страшное и нравственно неприемлемое что могло случиться: необходимость воевать против Белой армии, идеологии и надежд которой я не разделял, но с которой был связан многими нитями глубоких, личных отношений, миновало меня. Но этого мне было мало; я и в тылу не хотел защищать большевиков; почему и решил отстаивать себя до конца. Продумав свое положение, я остановился на плане пойти к Луначарскому и откровенно переговорить с ним. В связи с весьма доброжелательным приемом, оказанным комиссаром народного просвещения Мише Ленину, Худолееву и мне, во время аудиенции по вопросу о задуманном театре, мой рискованный план не казался безнадежным.

Добыть пропуск в Кремль по личному, да еще весьма деликатному делу было нелегко. Все же я его как-то получил. Уже при входе в круглую белую башню у Александровского сада у меня были затребованы пропуск и документы. На другом конце моста, в воротах Боровицкой башни контроль был повторен с еще большею строгостью. Лишь после телефонного запроса в канцелярию Луначарского, действительно ли комиссаром ожидается такой-то, я получил разрешение войти в Кремль. Идя через мост, я спиною чувствовал взоры не спускавших с меня глаз чекистов.

Быть может, оттого, что при вторичном посещении Кремля я был один, меня резко поразила господствовавшая в нем особая атмосфера. Здесь не было ни грязи, ни тесноты, ни беспорядка. Здесь все было чисто, чинно и просторно. Чисто и бело от нетронутого снега на площадях, четко и порядливо от желтого песка на тротуарах и по-старинному подтянутых солдат. Менее

чем в любом ином месте Москвы, была здесь видна революция. Здесь, откуда она исходила, еще царило старинное благообразие. В Кремле большевизм ощущался не разнузданным произволом революции, а твердою революционною властью.

Анатолий Васильевич Луначарский, рыжеватый, козлообразный мужчина в пенсне – смесь русского интеллигента с парижским bohemien, встретил меня не без напускного величия, но и не без прирожденной любезности.

Я, не таясь, рассказал ему, что призван на военную службу и что, ввиду ранения, буду назначен на какую-нибудь тыловую должность, что мне не по вкусу и не по силам. Стрелять меня в царской армии, с грехом пополам, выучили, но ведению батарейного журнала обучить не смогли. Практическая жизнь мне чужда, администратор я плохой и потому очень прошу устроить меня в Советском союзе на какую-нибудь более соответствующую моим дарованиям работу. Мне кажется, что на культурном фронте я смог бы принести Союзу гораздо больше пользы, чем на военном. Я был бы очень благодарен и счастлив, если бы меня назначили литературным руководителем того нового театра, о котором мы недавно беседовали с товарищем комиссаром.

К моему величайшему удивлению, Луначарский очень быстро согласился с моими доводами. Очень тактично, то есть без тени миросозерцательного допроса, побеседовав со мною на разные литературно-философские темы, он вызвал из соседней комнаты свою секретаршу и, привычно приняв не лишенную изящества позу власть имущего человека, бегло продиктовал письмо товарищу Троцкому, в котором просил военного комиссара предоставить тяжело раненого и потому не пригодного к фронтовой службе товарища

Степуна в распоряжение Комиссариата народного просвещения для назначения его на соответствующую должность.

Подписав письмо, Луначарский сказал мне, чтобы я через неделю пришел за ответом. Просьба Луначарского была удовлетворена, и я в мобилизационном порядке был назначен на должность идейного руководителя Государственного показательного театра.

Так часто мешавшие моей научной работе страсти – лошади и театр, спасли меня от службы в красной армии, в которой я был бы, безусловно, или убит, или расстрелян.

Покойному Луначарскому за его внимательное отношение ко мне приношу искреннюю благодарность.

Как только театр встал прочно на ноги, было приступлено к окончательному формированию труппы. Из известных на всю Россию артистических сил было приглашено всего только два человека: служившая в театре Корша, Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина, лучшая после несравненной Садовской «комическая старуха», надежная, правдивая актриса с большим природным юмором, теплым сердцем и прекрасным русским говором и Илларион Николаевич Певцов, стяжавший себе громкую славу главным образом исполнением роли Павла I-го, в одноименной драме Мережковского. В сущности Певцов не был актером того типа и репертуара, который был нужен нашему героическому театру, но он был свободен, известен, а главное настолько талантлив и своеобразен, что не пригласить его было бы большой ошибкой.

Начиная новое дело, Ленин обязательно хотел испросить благословения глубоко чтимой им и протежировавшей ему Федотовой, которая была особо крепко спаяна с традицией Малого театра.

Попасть в дом к уже давно сошедшей со сцены больной старухе, которую и по дому возили в кресле,

было трудно. Силы Федотовой уходили, боли мучили, и она мало кого принимала, хотя все еще горячо интересовалась всем, что касалось сцены, в особенности ее театра.

Нам посчастливилось. В назначенный для приема день Гликерия Николаевна чувствовала себя исключительно хорошо. Она по-старинному поцеловала в висок Ленина, благоговейно склонившегося над ее изуродованною болезнью рукою, и ласково поздоровалась со мною. Ленин подробно рассказал ей о задуманном театре, подчеркнув, что он уходит из нынешнего Малого театра в целью возродить в своем новом театре славные традиции, хранительницей которых Москва считает прежде всего ее, Гликерию Николаевну Федотову.

Разговор сразу же перешел на доброе старое время. Федотова была еще совсем молоденькой, но уже с большим успехом сыгравшей несколько ролей актрисой, когда со словами: «молись и постись» Самарин вручил ей роль Катерины в «Грозе» Островского. Слова обожаемого артиста и режиссера она поняла и исполнила в точности. С благоговением и страхом Божиим работала над ролью. На первую репетицию шла в невероятном волнении. Играя, чувствовала, что всею душою входит в роль. Ждала похвалы. Но вот, по окончании репетиции, Самарин, все время сидевший в партере за суфлерской будкой уткнувшись в газету, подходит и говорит: «Мало молилась, плохо постилась, но не унывай, трудись дальше».

«Домой, – рассказывала Федотова, – я шла, как с похорон. Поститься было легко: с горя все равно кусок в горло не лез. Наплакавшись, опять принялась за роль. То читала про себя, то в голос и вот опять пришла на репетицию. Во время большого монолога с ключом, мельком взглянула на Самарина. Вижу, газета на коленях, очки в руках, а глазами весь ко мне тянется. Меня

словно на крыльях подняло. Как кончила роль – не помню. После занавеса со слезами вошел ко мне в уборную, обнял, поцеловал, перекрестил: «Можешь, деточка, играть»…

Конечно, одно дело пост и молитва, другое – вино, но все же рассказ Федотовой, произведший на меня незабвенное впечатление, защищает ту же теорию сценического творчества, что и признание Певцова. Не оформляя постоянно теми или другими средствами своей души и даже своего тела (у Федотовой – пост, у Певцова – алкоголь), нельзя выработать из себя настоящего актера, ибо материал творчества для всякого искусства так же важен, как и его оформление. Актер же, в отличие от скульптора или живописца, творит свой образ не из внешнего материала, камня, глины, красок, а из себя самого, из своего одушевленного тела.

Приходя в театр, я поначалу каждый день заставал в нем кого-нибудь из вновь приглашенных актрис и актеров, в большинстве случаев совсем еще зеленую молодежь. Беспечная и горячая, полная веры в свои силы и надежды на будущее, она вносила в новое дело тот энтузиазм, без которого невозможен театр, и заставляла нас забывать о творящемся кругом ужасе. Впрочем, мы все были еще не стары. Мне было 34 года, Ленину 36 лет; Певцов, Массалитинова и Худолеев были немногим старше.

Еще до начала репетиций я начал свои лекции по философии и психологии театра, которые должны были спаять труппу и ввести молодежь в дух нашего «героического театра всенародной революции». Слушали по-разному: одни с большим интересом, другие – с упрямым протестом. Миша Ленин часто отсутствовал, занятый всевозможными техническими делами и хлопотами, но горячо поддерживал меня, рассматривая мой курс как оправдание своей главенствующей роли

в труппе. Мятущаяся, бурлящая, вечно алчущая нового слова и высокого звука в искусстве, Массалитинова была всею душою за меня. Певцов восставал против всякого умствования. Проповедуя Божью искру, наитие минуты и, главное «нерв», он, не без злорадства намекал мне, что моими теориями интересуются, главным образом, бездарности, по недоразумению попавшие в труппу.

Начались репетиции «Меры за меру» Шекспира. Чем дальше они шли, тем все более изящно одетым и все менее бритым появлялся на них Худолеев. Все удобоносимые костюмы уходили понемногу в обмен на масло и крупу, а бриться было трудно из-за холода в квартире и из-за невозможности согреть воду. Вспоминая милого «Ваньку-Листократа» к концу сезона, я вижу перед собою одетого в шикарную визитку поверх рваного свитера человека в лаковых штиблетах под грязными бежевыми гетрами, покрасневшие глаза слезятся, посиневшие губы и заросшие рыжею щетиной щеки трясутся мелкой дрожью.

Несмотря на полную неустроенность своей холостяцкой жизни, на вечный голод и холод, Худолеев с восторгом работал над постановкою Шекспира. Я помогал ему, занимаясь с отдельными актерами. Мише Ленину очень не нравилось, что центральною фигурою пьесы я считал не наместника Анджелло, которого играл он, а короля-философа, но я примирил его с моим толкованием, сказав, что при его таланте он с легкостью превратит любую роль в главную.

Бороться с актерским самолюбием – невозможно: это стихия; но при некоторых дипломатических способностях им можно владеть.

День открытия театра был уже назначен, но у нас еще ничего не было готово, даже нельзя себе было представить, как справимся. Но ничего – поналегли

и справились. Дня за четыре до премьеры Жорж Якулов, тот самый художник-армянин с лицом фавна, с которым читатель знаком по описанию Литературно-художественного кружка, и спал и ел в театре. Ночи напролет дописывал он со своими учениками талантливо задуманную декорацию: все четыре акта шли в разных углах и даже этажах одной и той же композиции. Актрисы сами дошивали костюмы. Несмотря на прекрасное настроение и подъем, в воздухе стояли крики и брань. В театре было неуютно, холодно: грелись коньяком и мимолетными объятиями. Премьера опоздала всего только на полчаса.

Я не помню, как к спектаклю отнеслись пресса и партия. Но у публики, состоявшей на добрую половину из «революционной демократии», он имел безусловный успех. Особенно живо рабочие и солдаты реагировали на диалоги палача с шутом: может быть, они чувствовали современность этих образов.

Одновременно с репетициями «Меры за меру» началась работа над «Нитью Ариадны» Метерлинка и над «Собачьим вальсом» Андреева. Обе пьесы, под которые было весьма трудно подвести идеологический фундамент, ставил Василий Григорьевич Сахновский.

С Сахновским, которого до начала совместной работы я знал лишь поверхностно, мы впоследствии сошлись близко. Могу сказать, что я от души привязался к этому богато одаренному человеку, с очень своеобразною, несколько римскою внешностью: бритый череп, прямая переносица и тяжелая нижняя челюсть. Я не знаю, стал ли бы Сахновский режиссером, если бы не революция. Его влекло и к науке и к писательству. В Народном университете Шанявского он читал лекции по истории русской литературы. Незадолго до нашей высылки за границу, осенью 22-го года, вышла его талантливая книга об Островском, которую я еще успел просмотреть.

Мечтая о новом театре, Сахновский мечтал и о новом актере. Трафаретность второстепенного русского лицедея, заштампованность его чувств, жестов, всей повадки выводили его из себя; особенно его раздражали молоденькие актрисы, которые играя, не переставали с кем-то кокетничать. «Запомните, – кричал он на них, прерывая репетицию, – что настоящая актриса похожа в жизни на учительницу. Те же, которых и в бане ни за кого, кроме как за актрис принять нельзя, всегда бездарности. Не актрисничайте, тезйатез, – играйте, творите».

Спектакль «Ариадны» на меня большого впечатления не произвел. То, что Сахновский хотел показать, зритель увидеть не мог, замысел остался не осуществленным.

«Собачий вальс» Андреева прошел с громадным успехом, но это был, главным образом, успех Певцова. Я с нетерпением ждал «Леса»: мне казалось, что в Островском Сахновский окончательно найдет и осуществит себя. Его мечтою было показать всю поэзию уходящей России: ее дали, ее дороги, неприметно цветущие в ней тихие, но горячие девичьи души, подпочвенно кипящие в ней благородные страсти.

– Несчастливцев, – проповедовал Василий Григорьевич, – не только актер, но и русский Карл Мор, творящий с высоты своего актерского призвания нелицеприятный суд над окружающим его миром лжи и несправедливости.

– Не то, не то, – останавливал он Ленина-Несчастливцева, выходящего в первом акте навстречу Аркашке. – Прежде всего, опустите ваши генеральские плечи. Увидя вас, зритель должен увидеть дорогу и березы, под которыми часами шагал Несчастливцев…

И потом, больше усталости в коленях и глазах. Посмотрите, как ходят богомольцы, загляните им в глаза. И глаза и походка не только от молитвы, но и от дороги.

Ленин выходил и раз, и два, и три. Но того, чего добивался Сахновский, у него не получалось. Да при данных его торжественной фигуры получиться и не могло. Помню, как выведенный из терпения, Ленин запальчиво заявил Сахновскому, что актер может играть только людей, а не пейзажи: «изображать пейзажи – дело живописцев»…

– Не говорите, – замахал на него Василий Григорьевич из-за своего режиссерского столика и, взбежав на сцену, с вдохновением, которого я никогда не забуду, рассказал нам о своей недавней встрече с Садовской у Страстного монастыря.

– Стоит, одета в старую шубенку, повязанная белым платком, как будто неприметная, а все же во всем особенная и ото всех отличная; кругом народ, ждет трамвая, усталый, раздраженный. Смотрю и вижу, стоит не комическая актриса Малого театра, а сама согбенная, замученная Россия.

С детства знакомого, мелко-подвижного бабьего лица не узнать. Такой в нем покой и важность. Выцветшие глаза широко раскрыты и подняты к серому, скучному небу. Невольно и я посмотрел вверх и вдруг увидел синее надднепровское небо своего детства и острый треугольник высоко летящих журавлей, я даже их трубный клекот услышал. И все это без слов сыграла Садовская: – чем – предсмертной тоской об отошедшей России и своей молодости. А вы, Михаил Францевич, говорите, что актер не может сыграть пейзажа: дайте мне фигуру бродяги-странника, дайте лицо актера-бунтаря, исполненного чувства своего высшего призвания, и фантазия зрителя сама дорисует остальное. Если же вы этого не дадите, декорация не поможет.

Рассказ о Садовской был не совсем ясен; ясность вообще не была сильной стороной Сахновского, но в его устах он был и убедителен и прекрасен.

Так шла наша работа, своею горячею напряженностью отвлекавшая нас от голода и холода и от более страшных ужасов советской жизни.

Изо всех постановок театра я своею, как по замыслу, так в значительной степени и по исполнению, могу считать только постановку «Царя Эдипа». Показ трагедии Софокла приурочивался М. Ф. Лениным к созыву первого съезда 3-го Интернационала в марте 1919-го года, в связи с чем нам было предоставлено право привлекать к спектаклю все необходимые для постановки силы, где бы они ни были заняты. Эдипа играл, конечно, Ленин. Роль Иокасты была предложена Наталии Николаевне Волоховой, имя которой мне было давно знакомо и дорого по тем магическим стихам, что были ей посвящены Александром Блоком:

Я в дольний мир вошла, как в ложу.
Театр взволнованный погас,
И я одна лишь мрак тревожу
Живым огнем крылатых глаз.

При всем своем очаровании действительная Волохова показалась мне не на высоте блоковского образа. Может быть, я и сам был виноват в этом: избранная и воспетая большим художником женщина мне всегда представлялась таким же священным и таинственным существом, каким убежденному монархисту представляется богопомазанная особа Государя-императора. Таких ожиданий Волохова оправдать не могла уже по одному тому, что была замужем за рыжеватым комиком Сашей Крамером и жила не в снежных далях, а в самой обыкновенной квартире с ребенком и гувернанткой.

Продумав постановку «Эдипа», я предложил нашему художественному совету следующее:

– Никакой архаизации – наша задача не показ древней Греции, а показ современной России. Мы раскрываем нашу трагедию в трагедии Софокла лишь потому,

что современная русская драма недостаточно монументальна и глубока, чтобы в ней можно было отразить всю глубину наших дней. Над Россией, как и над древними Фивами, тяготеет непроницаемый рок. Даже мудрейшие из нас не знают что делать. Тиф, как чума, косит людей, во всей стране стоит стон. Как и Фивский царь, мы не знаем, в чем наша вина, но мы чувствуем ее тяжесть на наших плечах. Ослепшие, с лицом, залитым кровью, идем мы в черную ночь… Господи, что будет с нами? Вот что надо довести до зрителя.

Как внешне оформить спектакль? Не стремясь дать историческую Грецию, нельзя сооружать натуралистический античный дворец и жертвенник у храма. Надо дать отвлеченно конструктивную декорацию с легким намеком на архитектурные мотивы древней Эллады – таков был выработанный мною принцип постановки. Якулов с тактом, как мне в свое время, по крайней мере, казалось, разрешил эту трудную задачу. На авансцене он дал интересную конструкцию из лестниц и площадок, а задний план заполнил круто восходящим вверх архитектурным построением, представлявшим собою стилизованную вариацию античного театра. При открытии занавеса по лестницам и мостикам заднего плана, символизируя смертоносное шествие чумы, спускалось под траурную музыку к ступеням дворца торжественно печальное шествие горожан. Музыку к Эдипу писал Глиэр. Она, как и декорация, представляла собою современно-вольную транскрипцию античных мотивов.

Дольше всего не удавалось разрешить проблемы хора. После долгих сомнений и обсуждений, мы решили построить с обеих сторон сцены по большому, выходящему в зрительный зал выступу, затемнено расположить на них хор и лишь в минуты особого его волнения прожектором вырывать из полумрака лица протагонистов.

Внутреннюю сущность хора и его назначение в трагедии я свел к упрощенной формуле, что он есть и глас народный и глас Божий. Исполнение хорических песнопений легко разнообразилось приближением то к одному, то к другому полюсу этого мистического двуединства.

Труднее всего было найти новый и правильный стиль речевого исполнения трагедии, уйти от традиционной ложноклассической декламации 18-го века, одним из крупнейших представителей которой был знаменитый Моннэ-Сюлли. Как ни блестящ был Сюлли как раз в Эдипе, идти по его стопам мне представлялось невозможным. Его псевдо-патетический стиль казался мне одинаково чуждым как религиозной сущности античной трагедии, так и духу русской речи, не переносящей, в отличие от французской, никакой условной патетики. Гастролировавший накануне войны в Москве берлинский театр Рейнгарта, сумел, правда, в лице Моисеи преодолеть ложноклассическую декламацию, но это преодоление было делом личной гениальности итальянского актера, игравшего на немецком языке. Мне же хотелось не импровизации, а открытия нового речевого канона для исполнения Софокла.

В поисках такового я и пришел к мысли о возможности применения к исполнению античной трагедии метрической схемы православного богослужения. Речь шла, конечно, не о простом перенесении этой схемы из церкви на сцену, а об ее вольном переложении, различном для героев и хора. Мне хотелось, прежде всего, уйти от произвола психологического индивидуализма, чуждого религиозной сущности трагедии и добиться чтения свободного от всякой аффектации, искреннего, глубокого и простого, лишь изредка прерываемого гневными, скорбными и ликующими возгласами изнутри страстными, но извне столь же строго

закованными в канонически напевную схему, как протодиаконские возглашения в церкви.

Актеры, в особенности молодые, с увлечением работали над поставленной им задачей; Ленин же, Эдип, временами приходил в отчаяние от моей «обедни», так как по своим данным – необъятный, благородный голос и от природы величественный жест – он был создан для риторической декламации Моннэ-Сюлли, которого он видел в Париже и который произвел на него неизгладимое впечатление. Тем не менее, и он с интересом работал над осуществлением нового трагедийного стиля.

Продав за гроши московское дело, Никитины переехали в Ивановку. Им казалось, что на нескольких десятинах земли, обрабатываемых своими руками, будет легче не умереть с голоду, чем в Москве. О большем тогда никто не думал. Мы с Наташей остались жить в родительской квартире на Тверской. С нами осталась ничего не понимающая и ничего не принимающая тетя Лида, не любившая деревни.

Зима 1918–19-го года была ужасной. В квартиру по всевозможным ордерам въехали неизвестно что собою представляющие жильцы. Самую лучшую комнату заняли наша бывшая горничная со своею дочерью, быстро превратившейся из скромной, услужливой, некрасивой девушки в развязную, напудренную «сов-барку», чувствующую себя не только хозяйкой квартиры, но и всей России. У мамаши с дочкой завелся какой-то шофер, который доставал им всё, чего у нас уже давно не было: сахар и пшено, сало и дрова. Дочка стала одеваться как барышня, ей не хватало только «мехового боа», но она была уверена, что шофер и это для нее достанет.

В бывшей столовой поселилась какая-то хромая, растрепанная армянка, вылитая ведьма с Лысой горы.

Жить ей было не на что; голодая, она у всех нас воровала припасы и жаловалась, что ее обворовывают. Очевидно, она была не совсем нормальна.

В задней комнате изнурительно кашляла неизвестно откуда взявшаяся немка.

Ввиду расхищенности кроватей жильцами, мы с Наташей спали на турецком диване. По ночам в нем пищали крысята. Их старая обалдевшая от голода мать на рассвете подолгу дежурила перед нашим ложем; я бросал в нее башмаками – она скрывалась, но вскоре снова появлялась на том же месте: казалось, она ждала нашей смерти, желая накормить нами своих детей.

«Испанка» немки осложняется воспалением легких. Испанкой же в легкой форме заболевает Наташа и в тяжелой – тетя Лида. Сама больная, Наташа ухаживает за двумя больными. Доктор прописывает лекарства, но достать их нет никакой возможности. Наконец, после бесконечных хлопот, знакомые знакомых добывают кое-что в кремлевской аптеке. Но важнее лекарств – тепло. Дров у нас нет, наш сарай реквизирован. Приходится ночью в страхе взламывать свой собственный сарай и выкрадывать из него свои собственные дрова, чтобы спасти умирающих. Спасти их не удается: сначала умирает немка, а через несколько недель и тетя Лида.

И тут выясняется, что быть похороненным в Советской России гораздо труднее, чем быть расстрелянным.

Чтобы похоронить безродную немку, надо было получить удостоверение о ее смерти у председателя домового комитета, которого никогда не было дома. С удостоверением надо было идти в какие-то учреждения и простаивать там часами для получения разрешения на покупку гроба и права на рытье могилы. Но кто ее будет рыть? Бывший дворник требует или полбутылки водки, или пять фунтов хлеба. Хлеба достать не удается,

но через знакомого бактериолога, заведующего лабораторией, достаем спирт. Все это длится несколько дней, В наконец-то добытый гроб мы кладем покойницу с выжранными крысами щеками и обглоданными ступнями…

Когда умерла тетя Лида, гробов уже не было. Гроб смастерили сами из нескольких досок, оторванных от коридорной перегородки и сами же отвезли покойницу на маленьких салазках по голым камням, залитым осенней грязью на далекое Ваганьковское кладбище.

Вспоминая всё это, я и поныне, несмотря на то, что живу в Германии, на города которой ежедневно падают сотни тысяч бомб, продолжаю не понимать, как мы могли в зиму 1918–19-го года часами биться над расстановкою статистов в массовых сценах и многократно переставлять эмоциональные ударения в софокловском хоре…

Очевидно, ставя людей перед непосильными как будто задачами, жизнь отпускает им необходимые для их преодоления силы.

Удивительнее всего было то, что мы в театре не только с увлечением работали, но подчас шумно и беспечно веселились, устраивая литературно-музыкальные вечера на манер знаменитых капустников Художественного театра, кончавшиеся иной раз даже и танцами. На этих вечерах бывал Луначарский. Появлялся он в весьма великолепном виде: в роскошной, очевидно, только что полученной по ордеру, меховой шубе. Надо отдать справедливость Анатолию Васильевичу, барственная шуба весьма шла ему: распахнутая, она складно свисала с его плеч, придавая своим темно-бурым воротником колоритную интересность его рыжеватой голове. Комиссар хорошо сознавал это и явно любовался собою. Сие невольное самоупоение делало его счастливым, а потому и мягким в обращении с нами,

его подчиненными. В театре Луначарский чувствовав себя, что называется, вполне в своей тарелке, если не считать того, что сан комиссара социалистического правительства, побуждавший его ко всякому женскому имени прибавлять нелепое «товарищ» – «товарищ Нина, товарищ Белевцева», явно мешал пышности его цветения на наших вечерах. Было комично, но и трогательно видеть, как этот «сан» холодящим изолятором не вовремя прослаивался между нежно розовеющей щечкой актрисы и козлиною бородою комиссара. Луначарский не только ухаживал, но и ораторствовал. Надо сказать, что речи и беседы этого типичного bohemien были остроумны, а часто и содержательны. В них чувствовались природная артистичность, большая для советского сановника терпимость и разносторонняя начитанность. Как-никак Анатолий Васильевич переводил «Олимпийскую весну» Шпиттелера. Кто из русских интеллигентов, даже и среди писателей, читал это скучноватое, но все же замечательно произведение?

Помню, как на диспуте в театре Корша, разбирая только что прошедшую «с блестящим успехом» пьесу Луначарского, я откровенно говорил о том, что, как ни старался автор внушить публике любовь к выведенной им идейной женщине пролетарского происхождения, ему это не совсем удалось и, конечно, лишь по той причине, что его бессознательная симпатия была на стороне ее буржуазной соперницы.

– Смотря пьесу, – говорил я не без ядовитости, – публика, безусловно, чувствовала, с какой радостью автор-социалист забежал бы к буржуазной прелестнице, перед тем, как ввести в ее будуар своего героя.

То, что, отвечая мне, Луначарский, которому я был, в конце концов, обязан и своею должностью и своим освобождением от военной службы, не позволил себе ни малейшего комиссарского нажима на мою совесть,

я ему ставлю в большую заслугу. Ничего подобного Геббельс никогда не позволил бы драматургу своего берлинского театра. Но, конечно, толерантность и мягкость Луначарского не распространялись на политические вопросы. Это угнетало меня и заставляло избегать встреч с ним вне служебной обстановки. Лишь раз ужинали мы с ним вместе у талантливого человека и незадачливого драматурга, Волькенштейна. Вечер прошел мирно и оживленно. И все же я возвращался домой с чувством стыда за совершенное мною предательство своей сущности. От вторичного приглашения на вечер с Луначарским я потому отказался.

Как почти все революционные министры, Луначарский интересовался лишь идейным руководством своего министерства. Для технического управления им, а в частности и нашим театром, ему не хватало ни времени, ни навыка. Выплата ассигновок на художественные и хозяйственные нужды театра постоянно опаздывала. Заведующий административной частью, изворотливый, провинциальный антрепренер, целыми днями метался по всевозможным инстанциям и советским заведениям, выклянчивая холст для декораций, материю для костюмов, дрова и жалование для труппы, которое, запаздывая на месяц, непрерывно уменьшалось, ввиду возроставшей инфляции. В конце концов, все мы жили почти что на собственном иждивении и собственным изворотом. Спасибо спекулянтам-мешочникам, которые, постоянно откупаясь от милиционеров и большевистских агентов, целыми таборами жили в Замоскворечье, Грузинах, у Немецкого рынка и Павелецкого вокзала. Скупая с ежеминутным риском для жизни, пшено, муку, масло и сало, главным образом, у прислуги приходивших с фронта санитарных поездов, эти герои вольного рынка оборотисто обменивали скупленные продукты на обувь, одежду, мебель или продавали их за баснословные деньги.

Пронюхав о прибытии поезда, можно было, конечно, и самим съездить за продуктом, но это было много труднее и опаснее. Раз съездив, чтобы уже не очень переплачивать, я от дальнейших поездок отказался.

Указания, полученные мною от верного человека, были весьма приблизительны. Надо было в заборе, тянущемся вдоль полотна железной дороги, нащупать две, лишь на одном гвозде державшиеся тесины, отодвинуть их, прошмыгнуть в этот лаз, спуститься правою тропкою по откосу к красному фонарю и, найдя на пятом, или шестом запасном пути, приблизительно в полуверсте от вокзала облупленный классный вагон санитарного поезда, спросить товарища такого-то.

Никогда не забуду, с каким чувством стыда, злобы и страха поднимался я на глазах у подкупленных милиционеров с пудом пшена и муки в чемодане вверх по откосу к дожидавшемуся меня неподалеку извозчику. Веры в честность продажных милиционеров у меня не было. Получив мзду с продавцов санитаров, они могли захотеть получить ее и с покупателей. Рассказывали и о более сложных операциях: сначала милиционеры брали вторую взятку, а потом отбирали провиант, да еще с угрозою отправить на Лубянку за попытку подкупить неподкупную пролетарскую власть…

Мои старания зайти в тыл пролетарской культуре и создать при комиссариате народного просвещения не театр марксистской агитации, а «театр трагического действа», увенчаться успехом, конечно, не могли. Сознавая это, я не очень удивился, когда вскоре после постановки «Эдипа» в нашем театре в качестве полуофициального представителя комиссариата появился Всеволод Эмильевич Мейерхольд и, собрав труппу, принялся сплеча разносить нашу «реакционную идеологию и эклектически-упадочный репертуар».

Речь этого талантливейшего режиссера, всю жизнь горевшего желанием являть собою последнее слово

эпохи, была типичнейшим образцом революционного футуризма, который в то время вел наступление по всему культурному фронту «Октября». Перед нами продефилировали если и не все понятия, то все же все слова кубистически-преломленной марксистской идеологии. Обвинительно-программная речь была произнесена с большим, но чисто актерским подъемом.

В результате выступления Мейерхольда последовало радикальное преобразование театра. В новом театре мне места уже не было. Так, не успев расцвести, была оборвана моя театральная деятельность.

Рассказывая в своих воспоминаниях о борьбе нового искусства с традиционными течениями в русской культуре, я мимоходом уже говорил, что встреченный прогрессивной печатью в штыки, футуризм был впоследствии признан большевиками за единственно полноценное художественное выражение духа октябрьского переворота. Для уразумения основной сущности большевистской стихии, этот факт имеет очень большое значение. Ни с социализмом, ни с пролетариатом, ни с интернационалом русский футуризм никогда не имел ничего общего. Это революционно-художественное течение было всегда вне политики и потому с самого начала таило в себе опасную возможность приспособления к любому, лишь бы радикальному политическому течению. В 1914-м году его вождь, Владимир Маяковский, громыхал стихами, в которых похвалялся вытереть окровавленные русские штыки о шелковые юбки венских кокоток.

Если футуристы все же стали не то, чтобы придворными певцами, но все же весьма преуспевающими агитсотрудниками новой власти, то объяснение этому факту надо искать не в социалистических убеждениях футуристов, а в общей большевикам и футуристам бакунинской вере, что страсть к разрушению есть

подлинно-творческая, то есть созидающая страсть. Крайность большевистских точек зрения, неумолимая последовательность в их развитии и осуществлении, предельное бесстрашие и безоглядность большевистских декретов и действий – все это было глубоко созвучно футуристической стихии.

Послав к чёрту лиры и свирели и засучив рукава, они наглою, молодою толпою высыпали на революционную улицу и самотеком влились в комиссариат народного просвещения.

Ни одна советская выставка, а выставки шли одна за другой, не обходилась без их участия. Устраивал ли наркомздрав выставку по борьбе с сыпняком, или союз народного хозяйства выставку сельских машин – с выставочных стен свисали все те же расписанные квадратами, треугольниками и кубами футуристические плакаты. По красным, протянутым под потолком из угла в угол, полотнищам пьяно и пестро плясали врассыпную буквы, как бы предлагающие сложить их в звучные социалистические лозунги. От этой абстрактно-геометрической иероглифики и шарадообразной эмблематики нельзя было укрыться даже и на улице: по капитальным стенам домов, по уцелевшим заборам, по охотнорядским палаткам, по холстам грузовиков, по вагонам агитпоездов – всюду, утомляя мозг и раздражая нервы, несся все тот же заумно красочный кордебалет футуристического конструктивизма.

Оскорбительнее всего эта назойливая декоративность была там, где ее обезформливающая страстность посягала на формы старого искусства, а то даже и самой природы. В октябрьские торжества в Петрограде «стройно-монументальный Александрийский столп был, – как рассказывает Эфрос, – уродливо расчленен какими-то пришпиленными к нему разноокрашенными холстяными квадратами и секторами». В майские же

торжества 1919-го года в Москве газон и кусты в цветниках театральной площади были, в целях вовлечения их в общую праздничную конструкцию, густо выкрашены фиолетовой клеевой краской. Очевидно «формовщиков» новой жизни одинаково возмущало как «невозмутимая величественность подлинного искусства», так и самодовлеющая жизнь вечной и равнодушной к революциям природы.

Недаром футуристы и их многочисленные соратники, как я уже писал, рассказывая о «Бродячей собаке», именовали небо трупом, а звездную россыпь гнойною сыпью.

Войдя в доверие власти, футуристическое искусство само превратилось во власть. Засев в отделе изобразительного искусства народного комиссариата просвещения, в так называемое «Изо», футуристы немедленно же организовали во всех провинциальных городах его подотделы, по которым неустанно растекались распоряжения из центра: «К первому мая, – приказывало Изо, – украсить город формами нового революционного искусства… Представителей старого искусства к этому делу не допускать… пролетариату не нужна реалистическая жвачка».

В ответ на такие декреты, подкрепляемые весьма пристрастным распределением пайков, провинциальные города то по одному, то по другому поводу украшались все тою же футуристическою иероглификою разрубленных на слога и перемешанных с разноцветными геометрическими фигурами агитлозунгов. В некоторых из них, на поросших травой милых провинциальных площадях возникали, кроме того, футуристически деформированные фигуры гипсовых Марксов и Лениных. В Витебске, возведенный в чин комиссара талантливейший Марк Шагал расписал, как рассказывает тот же Эфрос, все вывески характерными «шагалесками»

и поднял над городом стяг, изображавший его, Шагала, верхом на зеленой лошади и трубящим в рог: Шагал – Витебску.

Триумф футуристов длился недолго. Когда прошел первый пыл, глубоко реакционная и малограмотная в вопросах искусства партия поняла, что ей с футуристами не по дороге. Удалить футуристов было трудно: уж очень их поначалу вознесли. А потому решили уравнять их в правах со всеми иными течениями. Втайне большевики, вероятно, надеялись, что здоровый художественный инстинкт простого народа сумеет справиться с «последышами разлагающейся буржуазной культуры», как снова начали именовать футуристов, и поможет пролетариату открыть среди старых художников-реалистов более близких ему по духу глашатаев социалистической революции. Мечтая о поражении футуристов, наркомпрос раздал их врагам, натуралистам, громадное количество заказов на сооружение памятников русским писателям и революционным вождям. Обрадованные переменою ветра в верхах, старые мастера с рвением принялись за работу. Чуть ли не каждую неделю бегали мы смотреть на вновь открываемые памятники. Но, увы, среди них не оказывалось ни одного, подлинно монументального по духу и стилю сооружения, хотя бы приблизительно соответствующего размаху революции. Все было безразмерно и комнатно, все дышало безнадежною вчерашностью, а частично даже и глухим провинциализмом. Если в футуризме и не было искусства, то в нем все же была революция; в привлеченном же к революции старо-идейном натурализме не оказалось ни искусства, ни революции, а всего только ремесленная рутина и идеологическое приспособленчество.

Порвав с Государственным показательным театром, я некоторое время еще продолжал преподавать в театральных школах и студиях: у Корша, в Студии Лебедева

и в Студии молодых мастеров. О последней сохранил наиболее приятное воспоминание. Несмотря на ее задорное, как будто бы даже рекламное название, и на чрезмерно большую ловкость, с которой ее юный руководитель маневрировал среди бесчисленных политических и финансовых трудностей, в ней все же господствовал не практически-карьерный, а товарищески-идеалистический дух. Работа велась с большим подъемом, с горячею верою в великое будущее русского театра. Настоящими праздниками среди ежедневной работы были редкие уроки Станиславского.

Окружив обожаемого Константина Сергеевича тесным кольцом, студийцы, затаив дыхание, ловили каждое его слово и напряженно следили за каждым его жестом, а он, наивный, сереброголовый шестидесятилетний ребенок, не чувствующий ни своей единственности, ни веса своей мировой славы, как-то уютно и почти смущенно стоял среди них и, не зная, чем дарит, одарял их и присутствовавших на его уроках преподавателей неоценимыми сокровищами своего гения и своего опыта. Обучал Станиславский тому, чему, кроме него, обучать никто не мог: умению вслушиваться в себя и различать в себе подлинное художественное творчество от его поверхностной имитации. Пользовался он при этом своими собственными, долгою практикой выработанными приемами.

– Вот диван, – говорил он, улыбаясь своею очаровательною улыбкою и своими солнечными агатовыми глазами, – вообразите, что в него воткнуты булавки, обшарьте его и постарайтесь вынуть их, но так, чтобы не уколоться. (В опубликованной впоследствии «Системе» этот пример развернут Константином Сергеевичем в более сложный драматический сюжет).

Ученики и ученицы по очереди подходили к дивану и делая вид, что боятся укола, как будто бы осторожно шарили по нему руками.

– Не видно, друзья, чтобы вы верили в булавку, – говорил он юным мастерам, вкалывая в диван несколько вынутых из отворота пиджака булавок. Ученики снова шарили по дивану. Руки их, однако, уже иначе двигались по подушкам. Это, почти неуловимое для невнимательного глаза «несколько иначе», Станиславский и вскрывал ученикам в тех простых, ему одному свойственных намеках, которые сразу же вводили актера в живую правду сценического творчества.

От таких простых задач Станиславский переходил к более сложным. Молодой талантливой ученице он предложил сымпровизировать какую-нибудь немую сцену. Актриса решила сыграть радостное ожидание свидания, мучительные сомнения и, наконец, горечь, боль и гнев обманутой надежды. Сыграно все это было на поверхностный взгляд хорошо. На любой провинциальной сцене актриса была бы награждена бурными аплодисментами. Но Станиславский только нахмурился, весь как-то непроницаемо занавесился.

– Ну, хорошо, – сказал он после общего недоуменного молчания, – вот я вам сам дам тему.

При этих словах он вынул записную книжку и начал ее листать: медленно, задумчиво, о чем-то сам с собою рассуждая и что-то как будто прикидывая. Выражение его лица все время менялось: то оно просветлялось улыбкою, то хмурилось, все равно, мол, ничего не выйдет, трудно.

Вместе с ученицей и мы все ждали решения и не спускали со Станиславского глаз: перед нами стоял настоящий актер, то есть человек одним своим видом приковывающий наше внимание к происходящим в нем душевным движениям.

Продержав всю студию в таком напряжении несколько минут, Станиславский вдруг захлопнул книжку и лукаво улыбаясь обратился к ожидавшей темы ученице со словами:

– Ну, вот, ожидание темы вы сыграли гораздо лучше любви. Новой темы вы действительно ждали, а «его» нет. С самого начала решили, что не придет. В чем тут дело?

И Станиславский начал медленно, как бы со скрипом вращать перед нами свою сложную теорию актерской игры. Все, что он говорил, было совершенно замечательно, быть может, логически не вполне ясно, но зато интуитивно потрясающе точно.

В Студии Лебедева вместе со мною преподавал князь Сергей Волконский: итальянец по виду и француз по своим взглядам на сценическое искусство. Ближе познакомиться мне с ним не пришлось. По сравнению с педагогическим творчеством Станиславского, уроки этого знаменитого теоретика театральной речи были бесконечно сухи и беспредметны, не чувствовалось в князе и никакой любви к своим ученикам.

У Лебедева моя деятельность не ограничивалась одним преподаванием истории и философии театра. Вместе со студийцами я должен был еще разъезжать на размалеванном грузовике по заводам и фабрикам и произносить перед поднятием занавеса наставительные речи о новых задачах театра. Делал я это и с неудовольствием и со смущением в душе: с неудовольствием потому, что рабочие в ожидании спектакля не были расположены слушать рассуждение о театре, со смущением же потому, что на фабриках мне уже нельзя было развивать свои теории, а надо было произносить не совсем свои слова.

Но что было делать? Переехав во время подготовки «Эдипа» в Ивановку, мы с Наташей, ввиду частых поездок в Москву, не могли по-настоящему там работать; питаться же за счет только что налаживаемого, еле прокармливающего своих постоянных работников, хозяйства мы не хотели. При таких условиях казенный

паек был единственным спасением: как – никак он давал в месяц 7 фунтов мяса, обычно конины, 10–12 фунтов хлеба, немного крупы, полфунта сахару, соли, пачку махорки, коробку спичек и маленький кусочек мыла.

Частые зимние поездки из Ивановки в Москву были сплошною мукою. Хотя поезд со станции уходил только в 10 утра, вставать приходилось уже в пять. Быстро одевшись в холодной комнате (градусов пять по Реомюру) и наскоро напившись при свете ночника – ни керосина, ни свечей не было – свекольного кофе с кусочком хлеба, я выходил часто с лопатой для расчистки снега в конюшню. За отсутствием воды на дворе, лошадь надо было вести к проруби в пруду. Запрягать приходилось ощупью в совершенно темном каретном сарае. Пока я запрягал, Наташа окончательно допаковывала уже накануне собранные вещи. Так как в Москве достать ничего было нельзя, то мы везли с собою не только необходимые вещи и съестные припасы, но и дрова в мешке и салазки для доставки всего нашего добра с вокзала на Малую Никитскую, где за нами была оставлена комната в квартире моей сестры.

Зима 1918–19-го года стояла на редкость суровая: снежная и вьюжная. На особо ветреных перекрестках иной раз почти доверху заметало телеграфные столбы. Плуг уже давно не расчищал шоссе. Встреча с обозом была несчастьем: свернуть было некуда, тощие лошади в объезд по целине не брали. Двадцать верст до станции мы тащились больше четырех часов.

Особенно запомнилась одна февральская поездка. Не проехав и часа, мы замерзли почти до бесчувствия: разламывало череп, рвало и жгло пальцы рук и ног. Все хорошие теплые вещи были уже давно обменены на продукты. На Троицкой горе, где над озером всегда особенно зло выл предрассветный ветер, выбившаяся

из сил лошадь стала останавливаться и, наконец, совсем остановилась. Пришлось бросить ей охапку сена и дать хоть с четверть часа отдохнуть. На востоке забрезжило. В сереющем мраке зачернели сучья кладбищенских деревьев, за ними белесым пятном обозначалась церковная колокольня. Вспомнилось, как мы ехали мимо нее, отправляясь на войну: легкой и светлой стояла она тогда на зеленом откосе. Теперь в ней чувствовались скорбь и обреченность. Охлопывая плечи ладонями, чтобы хоть как-нибудь согреться, я с трудом шел в гору рядом с санями и, смотря на закутанную, неподвижную в санях Наташу, тщетно силился уловить хоть какой-нибудь смысл во всем происходящем.

В Москве расстреливают людей, деревня пухнет от голода и мрет от тифа. Люди думают только о куске хлеба и о том, как бы спасти свою жизнь, а я целую ночь мучаю Наташу, себя и лошадь, чтобы рассказать двадцати девицам и юношам об Элевзинских мистериях и о ложных принципах французского театра восемнадцатого века. Кому это нужно? Не сплошное ли это безумие?..

Уже и раньше со мною бывало, что в иные призрачные, преимущественно ночные минуты я настолько отчуждался от себя самого, что произнося вслух свое имя, не узнавал его звука и не связывал с ним своего бытия. В революцию эти уходы от себя самого, эти почти болезненные размыкания личности, быть может, связанные с голодом и заболеванием сердца, стали все чаще повторяться со мною. В то утро я подъезжал к станции почти что душевно больным человеком.

Перед станцией у розвальней суетилось и шумело множество народу. Протискаться в зал можно было только с величайшим трудом. Приехавшие спозаранку мужики вповалку спали на лавках и на полу. К кассе тянулся длинный хвост.

На основании всевозможных пропусков и бумаг с магическою подписью «Ленин» (о том, что в Москве могут быть несколько Лениных никто не догадывался), главным же образом, благодаря огарку и нескольким антоновским яблокам для кассирши, мы, как всегда, добыли билеты с заднего хода, вне очереди. Поезд, как обычно, опаздывал на несколько часов. Вовремя он ушел лишь однажды, опоздав ровно на 24 часа…

Звонок – спящие вскакивают, толпа стеною валит на платформу. С нечеловеческими усилиями, под ругань и насмешки «товарищей», втаскиваем мы наши пожитки в высокий, нетопленый товарный вагон без ступенек и, с риском заразиться тифом, или, по меньшей мере, набраться вшей, неподвижно вклиненные в толпу, едем два, а то и три часа 30 верст до Москвы.

Небольшой, типично московский особняк, второй этаж которого занимал женатый на моей сестре химик Дмитрий Николаевич Аксенов, тихий, болезненный человек и талантливый ученый, был, как и наша московская квартира, тесно набит нахлынувшим в него в первые же дни октябрьской революции случайным народом.

Первый этаж был реквизирован шоферами не то высокопоставленных сановников, не то советских учреждений, сытыми, наглыми парнями, все время грозившими распространиться на весь дом. Домовый комитет был всецело в их руках.

Во втором, кроме Аксеновых, за которыми остались две небольшие комнаты, и нас, жили преимущественно актеры, долго спавшие по утрам и бесцеремонно шумевшие по ночам.

В бывшей столовой жила красавица-актриса Камерного театра, со своим мальчиком; ее часто навещал бросивший ее супруг, по внешности жестокоглазый ястреб, по прозвищу «Синее божество». Рядом с нею

теснились две ее приехавшие из провинции сестры с матерью. Одна из сестер тоже собиралась на сцену. В последней по фасаду комнате целыми днями до бесчувствия упражнялась на рояле молодая армянка-консерваторка. Против нее, в самой большой, выходившей на двор комнате, проживал со своею женою молодой режиссер, убежденный пропагандист «театрального экспрессионизма и театрализации жизни». Рядом с ними в небольшой каморке ютилась его первая жена, очень красивая, бойкая женщина. Какие отношения связывали эту троицу никто из обитателей нашей квартиры разгадать не мог. Первая жена часто ездила на юг и привозила много муки, масла, сахару. Всеми этими благами, с отвращением оплаченными, по ее же собственным словам, романами с проводниками поездов, она щедро делилась с бывшим мужем и его женой. После ее приездов в угловой комнате всегда происходили какие то ночные пиры, распространявшие вкуснейшие ароматы по всему коридору. По утрам режиссер со своими дамами подолгу занимал ванну, мотивируя эту бытовую простоту необходимостью экономить топливо.

Сестра очень страдала от беспорядка и грязи в квартире, но сделать ничего не могла. Прибиваемые ею всюду записки с просьбами не ссориться в кухне из-за мест на плите, не пользоваться без спросу чужими примусами, не засорять уборной и убирать ее за собою, не занимать ванну больше чем на полчаса, не плевать и не растаптывать в коридоре окурков, вызывали лишь смех молодой богемы.

Заканчивая повествование о театральном периоде своей жизни, я не могу не рассказать о праздновании пятидесятилетнего служебного юбилея Марии Николаевны Ермоловой. Кажется, это событие было последнею – лицом к лицу – встречею старого московского общества с коммунистической партией.

Уже задолго до торжественного дня в театральных кругах стало известно, что Красный Кремль намерен преподнести Марии Николаевне звание «народной артистки», закрепить за нею в собственность ее собственный дом по Тверскому бульвару и подарить ей экипаж для поездок в театр. Более осведомленные люди, а может быть только более горячие головы утверждали, что лошади будут белые из царской конюшни. Все эти «великие милости» не радовали москвичей, так как ощущались попыткою «экспроприировать» у старой Москвы ее любимую актрису.

Старшее поколение, еще живо помнившее триумф молодой Ермоловой в роли Лауренции в «Овечьем источнике» Лопе-де-Вега, по поводу которого профессор Стороженко писал в рецензии, что игра Ермоловой достигла как раз в этой роли небывалой трагической силы потому, что в ней с особенною страстностью вылилась любовь Ермоловой к свободе и ненависть к тирании, было особенно возмущено. «Как, – говорили старые театралы, – тираны и душители народной свободы осмеливаются жаловать Ермоловой, этой "Татьяне" славного, вольнолюбивого Малого театра, нашего второго московского университета, звание народной артистки? Это ли не насмешка над Россией, свободой, народом и Ермоловой?»

Этот глухой протест искал хоть какого-нибудь выхода: нельзя же было на празднике своей Ермоловой и своей свободы так до конца и слиться с большевиками. Идеологический протест был, конечно, невозможен, оставался лишь внешний, стилистический. Поэтому юбилейным комитетом и было постановлено, что старая артистическая Москва и ее гости будут размещены на грандиозной сцене Большого театра и явятся на торжество в своем дореволюционном облике: мужчины во фраках, дамы в соответствующих туалетах. Я должен

был приветствовать юбиляршу от имени нашего театра. Фрак у меня еще был, но хотя бы сколько-нибудь соответствующих штиблет уже давно не было. Что-либо подходящее можно было достать только на Сухаревке.

Забрав в небольшой чемоданчик кое-какие вещи: венецианские бусы, вазочку для варенья, большой граненый флакон из-под духов, головную щетку с зеркалом и, наконец, в качестве главного козыря, светлые, фланелевые брюки, мы отправились в воскресенье на рынок к знаменитой петровской башне.

То разрешаемая, то запрещаемая, то открыто, то из-под полы в подворотнях торгующая, постоянно угрожаемая милиционерами, но и постоянно откупающаяся от них, мужественно несущая тяжелые жертвы не только товарами, но и жизнями, Сухаревка, которой многие из нас обязаны своею жизнью, являла в день нашего первого ее посещения на редкость оживленную картину.

В немногих еще стоявших, главным образом в районе Шереметьевской больницы, палатках по-старому торговали заправские торговцы поношенным платьем, рваною обувью, какими-то последними, неизвестно откуда добываемыми отрезами сукна и всякою, уже совсем непотребною рухлядью и ветошью. Откинувшись назад, с лотками на животе, важно расхаживали по рынку разносчики, снисходительно отпуская голодным покупателям за дикие деньги зеленоватую колбасу, подозрительный студень и прогорклое масло.

Сторонясь и побаиваясь этих старых хозяев рынка, в самой грязи под башней, на принесенных с собою складных стульях, а то и просто на перевернутых дырявых ведрах, гнездами ютилось новое торговое сословие: интеллигенция, буржуазия, главным же образом, беспомощная знать: замученные, землисто-серые, пергаментно-желтые лица, покорно потухшие или озлобленно

суетящиеся глаза, породистые руки с грязными ногтями, с болью и нежностью касающиеся продаваемых вещей, на многих мужчинах изящные пальто, на дамах костюмы «тайер», но под ними уже валенки, в дыры которых проглядывают пальцы.

Торгуют «бывшие люди» всем, чем угодно: лампами, люстрами, картинами, мелкой мебелью, платьями, книгами, марочными альбомами, лайковыми перчатками, душистыми «сашэ», кружевами, вазами, растениями, зонтами и палками с серебряными набалдашниками.

Новые властители жизни с жадностью осматривают и ощупывают всю эту обветшалую, но своею невиданностью все же поражающую роскошь, но, узнав цену, с независимым видом кладут вещи обратно. У всех одна и та же мысль: пусть еще поголодают «господа», через неделю за четверть цены отдадут. Но господа уже к концу дня отдают за бесценок: трудно нести домой, да и поиздержались, с голоду уже несколько раз брали колбасы и сопливой пшенной каши, которую из обмотанного тряпьем ведра продает сидящая на том же ведре, чтобы каша не стыла, бойкая спекулянтка. Впоследствии и я не раз соблазнялся этим основным советским блюдом. Сначала было противно, но потом привык, только блюдце и ложку приносил свои.

Кроме открытой мелкой торговли, в ближайших к рынку домах процветала недурно законспирированная крупная спекуляция валютой, драгоценными камнями и опиумом. Вдруг пробежит подозрительный субъект, быстро, словно спичкой на ветру, чиркнет перед тобою бриллиантом в чуть приоткрытом кулаке, и сипло шепнув на ухо «есть и доллары» – смотрит, пойдешь ты за ним или нет. Пойти страшно, может быть, тут же и арестуют, а не пойти, если нужны деньги и надо продать что-нибудь ценное – нельзя: ведь покупают ценности лишь те, что и продают их. С этим

чекистски-воровским миром мы впоследствии ближе познакомились, когда пришлось продавать драгоценности, чтобы купить лошадь для нашего ивановского хозяйства.

Но я не буду забегать вперед, пока что мы покупаем штиблеты, а не лошадь.

Долго рыщем мы в поисках подходящих – все нет и нет. Всюду либо ужасная работа, либо совершенная рвань. Но вот в руках типичного хитровца болтается то, что мне нужно: почти новые шевровые башмаки с лаковым носом, американской работы. Примерил – сидят как перчатки. Спрашиваем сколько стоят. Товарищ заламывает безумную цену. Торгуемся, уступает какие-то гроши, рублей тридцать. Нечего делать, надо платить. Подсчитываем деньги: принесенных с собою и только что вырученных от продажи мелочей не хватает. Даю задаток, оставляю бедную Наташу сторожить явного жулика и с грустью в сердце отправляюсь продавать брюки. Чтобы привлечь к себе внимание, кричу во все горло: «Товарищи, кому нужны брюки? Английской фланели, с ручательством; крепки, как буржуазные предрассудки».

Вокруг меня быстро собирается народ, я по дешевке спускаю брюки, спешу к Наташе. Слава Богу, оборванец еще стоит рядом с нею. Мы расплачиваемся и, забрав штиблеты, спешим домой.

К сожалению, Наташа на празднестве быть не могла: в хозяйстве было много неотложной работы. Нагруженная тяжелым мешком за плечами, она с рассветом отправилась на вокзал. Со станции она должна была идти пешком, ввиду постоянного опаздывания поездов, скорее всего ночью. В то время по дорогам не только грабили, но и убивали. Как раз за неделю убили и ограбили Знаменского кооператора, который вез товар в лавку.

Всё это очень мучило и волновало меня, но все же я одевался на юбилей так же тщательно, как к венцу.

В театр я пришел рано, зрительный зал был еще совсем пуст. Лишь за кулисами и по сцене за спущенным занавесом расхаживали группами и оживленно разговаривали артисты и московские театралы: много хороших знакомых и в новой обстановке особенно милых лиц. На женщинах светлые платья, шали, еще не проеденные последние меха и камни. Рядом с дамами белые фрачные груди и галстуки. У стариков даже белые перчатки в руках. Сквозь пыльный, клеевой запах кулис пробивается тонкий аромат французских духов.

Я чувствую себя на каком-то волшебном острове, внезапно выступившем из кровавого, взбаламученного революционного моря. При входе на сцену меня шумно приветствует неистовая Варвара Массалитинова: «Вот кому бы Чацкого играть, и лицо старинное и волосы длинные и душа восторженная. Эх, дорогой мой, ровно на сто лет запоздали мы с вами рождением». Что касается последних слов Массалитиновой, то она была безусловно права: я действительно родился романтиком и не «буржуй» во мне радовался сбору дореволюционной Москвы, а любитель старины. Смогу ли я когда-нибудь религиозно преодолеть в себе романтика, я не знаю; в том же, что мне никогда не освоить просвещенски-социалистической цивилизации, – я не сомневаюсь. Не тот это воздух, не мой.

Рассаживаемся, медленно поднимается занавес. Ярко освещенная рампа проводит резкую черту между серопиджачною массою партера в чуждом ей красно-золотом обрамлении роскошного зала и нарядною, амфитеатром размещенною театрально-художественною Москвою на сцене.

В царской ложе правительство. На авансцене, окруженная своими близкими, Мария Николаевна Ермолова

в закрытом белом платье. Взволнованная, растроганная, немного растерянная, но без малейшего следа усталости от предшествовавшего торжественному акту сборного спектакля, в котором она, после долгого перерыва, снова появилась на сцене.

Ни того, как играла Ермолова, ни того, как ее принимали, я описывать не буду: было много восторженных оваций и много тихих слез. Чествуя давно сошедшую со сцены и уже уходящую от жизни шестидесятивосьмилетнюю актрису, старая Москва, сама стоящая на пороге смерти, не только оплакивала свое прошлое, но с верою и надеждою передавала свои заветы и свои идеалы грядущим поколениям.

Первым приветствовал юбиляршу Луначарский. Ермолова слушала народного комиссара со свойственным ей достоинством позы и взора. Покорно благодаря власть за оказанные ей милости и пожалованный ей титул «народной артистки», она в своей краткой ответной речи сумела тонко отметить, что всегда служила народу и свободе. Это не звучало унизительным признанием: «я всегда была с вами», а гордым утверждением: «вся свободолюбивая Россия уже давно даровала мне звание народной артистки».

После Луначарского говорил директор труппы Малого театра князь Сумбатов-Южин, все еще грузный, изящный и великолепный. Несмотря на свойственную этому актеру ложно-классическую преизбыточность внешней выразительности, он до глубины души тронул меня своею речью, в которой было много живой любви к прошлому Малого театра и много искреннего преклонения перед юбиляршей, не раз на наших глазах захватывавшей его своим вдохновением и возносившей его игру на те высоты, на которые ему своими силами никогда бы не подняться.

За Южиным потянулись к юбилярше один за другим представители других театров, университета, консерватории, всевозможных, еще не разогнанных старых обществ и новых советских организаций.

Хотя я накануне тщательно продумал и в общих чертах даже набросал свою речь, я, как никогда, волновался, боясь, что мне не удастся кратко, осторожно и все же понятно выразить свою мысль. Сказать же мне хотелось приблизительно следующее: Все, кто ныне чествуют Ермолову, невольно склоняют свои головы перед тем верховным трибуналом истории, что представляет собою искусство. Будучи самосознанием народа и его вечною памятью, искусство является и высшим судом народа над самим собою. Бескровные приговоры этого суда неумолимы и не отменимы. Лишь то, что оказывается достойным художественного преображения, становится вечным достоянием народной истории. Остальное же, как бы значительно оно ни казалось современникам, отпадает в небытие. Да будет суд будущего русского искусства милостив ко всем нам и к новой власти, которая, чествуя вместе с нами великую трагическую актрису, заранее отдает свои помыслы и деяния на суд художественного гения России.

Произнося свою речь, я не сводил глаз с Ермоловой, с ее благородного, сурового старушечьего лица, тепло освещенного ласковыми, еще совсем молодыми глазами. Кончив, я с благоговением подошел к ее руке. Она гибким движением склонилась ко мне и поцеловала меня в лоб. В тот день я был счастлив.

Да, все относительно. Кто бы мог думать, что о страшных годах военного коммунизма, в продолжение которых было расстреляно около двух миллионов людей и десятки миллионов погибли от голода, тифа, в ссылке и в гражданской войне, пережившие «ежовщину» советские граждане будут вспоминать, как о сравнительно легком и даже чуть ли не счастливом времени.

Наслушавшись рассказов подсоветской интеллигенции, попавшей в Германию уже во время Второй мировой войны, о том, что творилось в СССР во время «ежовщины», я и сам начал смотреть на свою жизнь в Советской России до 1923-го года несколько иными глазами.

Ужасов в ней было достаточно, но все же она не была сплошным мраком. В ней еще горела напряженная духовная жизнь, еще дышала вера, что все, быть может, скоро сгинет, в ней еще ходило по сердцам и устам слово возмущения и протеста, во многих еще жила надежда на Белую армию.

Те литературные и религиозно-философские круги, о которых я рассказывал в 6-й главе, еще держались вместе, а частично даже пытались отстоять себя и свой мир в новой обстановке.

Ставя на футуристов, как на разрушителей буржуазной эстетики и глашатаев новой революционной культуры, власть инстинктивно понимала, что футуристы в учителя и педагоги не годятся. Создав в столицах очаги пролетарской культуры, так называемые «пролеткульты», она пригласила потому в качестве преподавателей лучших поэтов предшествующей эпохи. В стихотворном отделе Московского пролеткульта преподавали – Вячеслав Иванов, Андрей Белый и Владислав Ходасевич. Вячеслав Иванов, кроме того, работал поначалу еще и в театральном отделе наркомпроса. Попытка разъять символическую поэзию на приемлемую для пролетариата методику стихосложения и на неприемлемое для него содержание и механически перенести выработанные символизмом литературные приемы в мир революционно-пролетарских сюжетов удаться, конечно, не могла. Все же пока эта неудача выяснялась, «приявшие» по своему революцию поэты-символисты жили в какой-то иллюзии свободы творчества. Неко-

торые из них, как например Белый, имели среди молодой пролетарской аудитории определенный успех. Хорошо помню рассказ Белого о том, как горячо молодые пролеткультцы пытались защитить его от нападок узкоколейного марксиста Лебедева-Полянского.

Это подземное просачивание живой воды со временем, как известно, прекратилось. С зимы 1929–30-го года в наркомпросе начался период литературного террора. Писатели и поэты подвергались преследованиям и опале решительно за все, так как под категорию контрреволюционности начали подводить не только вредные для пролетарской революции произведения, но и мало для нее полезные. По сравнению с гнетущею скукою этого завершенного безумия мы жили еще богатою духовною жизнью.

В 1922-м году в книгоиздательстве «Шиповник» вышел под моей редакцией первый номер одноименного журнала. Выпустить его мне стоило больших усилий. Каждую статью и каждый рассказ приходилось зубами выдирать у цензуры, но зато и результат получился исключительный. В конце концов, мы с цензором Мещеряковым, старым большевиком, умным, внимательным и мягким человеком – спасибо ему – выпустили литературно-философский сборник, ни одним словом не свидетельствовавший о том, что он вышел в советской Москве, а не в эмигрантском Париже.

Интересно отметить, что, пропустив относительно легко статьи таких, с большевистской точки зрения, контрреволюционных авторов, как Бердяев, Муратов и я, а также и лучшие беллетристические вещи сборника: «Бурыгу» Л. Леонова и «Письма из Тулы» Пастернака, Мещеряков, несмотря на все мои старанья, не пропустил недурно написанного натуралистически беспристрастного рассказа Лидина из провинциально-революционной жизни. На мои доводы, что в статьях сборника гораздо

больше «ереси», чем в рассказе Лидина, Мещеряков не без иронии ответил мне, что наши мудрствующие статьи ни до кого не дойдут и души революции не отравят. От правдивого же рассказа Лидина веет такою скукой, такой революционно-бытовой обывательщиной, что даже ему, старому борцу, стало как-то тошно после его прочтения. Ощущения же скуки в революционное время надо бояться как огня.

Может быть, в этом замечании надо искать объяснение тому, почему поэтам-символистам до поры до времени разрешались некоторые «вольности дворянства». Конечно, власть поначалу многое разрешала философам и символистам только потому, что она глубоко презирала всякое духоверческое отношение к жизни.

Одною из наиболее центральных фигур философской, да и вообще духовной жизни советской Москвы был вплоть до нашей с ним высылки, Николай Александрович Бердяев. Большевистский вихрь не только взволновал его, как всех нас, но и оплодотворил, как немногих. В его голове и сердце неустанно клокотали тысячи мыслей и страстей. Ни раньше, ни позже не чувствовал я вулканической природы бердяевского духа так сильно, как в последние годы нашей жизни в Москве.

Гневно критикуя интеллигенцию и в особенности народников всех эпох и видов, начиная со славянофилов и кончая коммунистами, Бердяев не щадил и русского народа, не выдержавшего, благодаря слабо развитому в нем чувству чести, тяжелого испытания войны и оказавшегося «банкротом».

Хотя Бердяев в эмиграции и не примкнул к евразийцам (его бескомпромиссное свободолюбие отталкивалось от фашистских элементов их государственного учения), он уже в 1920-м году развивал евразийскую теорию, обвиняя интеллигенцию в том, что она насильнически

соединила восточную по своей стихии душу русского народа с западническим сознанием и тем помешала оформлению России в тот своеобразно-синтетический Востоко-Запад, каким она была задумана Господом Богом.

С этою центральною со времен спора славянофилов с западниками историософскою темою у Бердяева сливалась вторая: тема правильного соотношения мужского и женского начал в государственном и культурном творчестве народов.

Объяснение неорганического, сверх всякой меры разрушительного характера нашей революции Бердяев искал в том, что Россия не сумела своевременно пробудить в себе мужское начало и им творчески оплодотворить народную стихию. Уж очень долго она невестилась, ожидая жениха со стороны: то призывала древнего варяга, то современного немца и кончила чужеплеменным Марксом.

Явлением одновременно и своим, и мужественным был в России только Петр Великий. Но этот муж оказался насильником, изуродовавшим женственную душу России. Народ нарек его антихристом, и даже порожденная его реформами интеллигенция сразу же подняла знамя борьбы против созданного им на западный лад государственного механизма.

На почве такого неблагополучного взаимоотношения мужского и женского начал в России и развилась, по Бердяеву, своеобразная «метафизическая истерия», склонность к одержимости, кликушеству. К сожалению, православная церковь оказалась не в силах уврачевать этот недуг, так как в ее собственных недрах шла аналогичная борьба между чужеродным византийством и народной хлыстовщиной. Питая подвигами своих святых православную веру, она дала русскому народу возможность вынести его трудную историю, но закала личности, самодисциплины души и культуры она в нем выработать не смогла.

Теряя догматическую укрепленность веры, тонко подмечает Бердяев, французы становятся скептиками; теряя глубину мистической жизни – немцы становятся критицистами; русские же, утрачивая апокалиптическое чаяние царствия небесного, – становятся нигилистами. Большевизм, – формулирует Бердяев, – есть не что иное, как смесь подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством.

Исходя из такого понимания большевизма, Бердяев на лету переустраивал и переоценивал все основные понятия своей социальной философии. Идейно он все определеннее склонялся в сторону христианского консерватизма, но по темпераменту оставался революционером, а потому и насильником, как над историческими фактами, так и над чужими учениями.

Переоценка ценностей происходила в те дни не в одном Бердяеве. Хорошо помню очень показательное по своей тенденции выступление одного из «мусагетских юношей», Сергея Николаевича Дурылина, принявшего весьма для меня неожиданно священнический сан. В старенькой рясе, с тяжелым серебряным крестом на груди, он близоруко и немощно читал у Бердяева доклад о Константине Леонтьеве. Оставшись, очевидно, и после принятия сана утонченным эстетом, отец Сергий Дурылин убежденно, но все же явно несправедливо возвеличивал этого, в глубине души скептического аристократа и тонкого ценителя экзотических красот жизни, лишь со страху перед смертью принявшего монашество, за счет утописта, либерала и всепримирителя Соловьева.

Соловьевской веры в возможность спасения мира христианством в докладе Дурылина не чувствовалось. Речь шла уже не о том, как обновленным христианством спасти мир, а лишь о том, как бы древним христианством заслониться от мира.

Имена Жозефа де Местра, Шатобриана и Бональда становились с каждым днем все популярнее. Я сам засел за перечитывание «Философии мифологии и откровения» Шеллинга.

Если бы в моей памяти не темнел небольшой кабинет Николая Александровича, и не светилась бы красными бликами шелковая обивка его гостиной, мне было бы много грустнее вспоминать нашу подсоветскую жизнь. В те годы насильнического попирания свободы и личности с особою силою ощущались «первозданные» реальности жизни и общение в духе становилось такою же неотъемлемою потребностью, как еда и сон.

Всех, кто собирался за чайным столом Бердяева, освещенным керосиновою лампой (чай брусничный, пирог, по размерам символический, по субстанции ржаной), не припомню. Из старых членов Религиозно-философского общества многих уже не было в Москве. Князь Трубецкой был на белом юге, Вышеславцев жил где-то под Москвой и кормился при каких-то бывших помещиках, которые, как и Никитины, еще ковырялись на нескольких десятинах оставленной им земли.

Как и встарь, неугомонно бурлил на собрании седой, пунцоволикий Рачинский, как и встарь, радовал глаз своею внешностью и пленял дух богатством мыслей и изысканностью речи горько бедствовавший Вячеслав Иванов; бывал у Бердяева и Айхенвальд, переживавший тяжелую трагедию в связи с небезопасными для семьи коммунистическими настроениями сына. Жалкою тенью себя самого, но все же милым сердцу образом праздной, никчемной, но и богатой талантами дворянски-помещичьей России захаживал мой старый гейдельбергский знакомый – Базилевич. Из новых лиц наиболее живое участие в академии принимали: приехавший из Саратова профессор Франк, один из самых

значительных русских философов, и два доцента Московского университета – юрист Гольдштейн и экономист Букшпанн. На многих докладах бывали снедаемые в серой, грязной Москве тоскою по синей, светлой Италии редакторы «Софии» Грифцов и Муратов, а также, конечно, Гершензон и Андрей Белый. Последний, впрочем, реже других, так как он частично жил в Петербурге, где вместе с Ивановым-Разумником руководил Вольной философской академией.

Всего на дому у Бердяева собиралось человек 20–25 активных участников общей работы. В Мерзляковский переулок на большие собрания приходило человек 100, а на доклады более известных лекторов и много больше: в большинстве все знакомые по прежним философским собраниям лица.

На всех докладах и прениях неизменно присутствовала Ольга Александровна Шор, племянница известного в Москве пианиста Давида Шора, исключительно умная, многосторонне образованная и очень талантливая девушка, с большим успехом читавшая лекции по истории искусства на всевозможных рабочих курсах.

Гостеприимный дом ее родителей, в котором мы, приезжая из деревни в Москву, постоянно бывали, я вспоминаю с глубокою признательностью. У Шоров дольше, чем у других, держались кое-какие последние запасы, которые они, не заглядывая в будущее, радушно и беззаботно скармливали всем, кто попадал к ним: и старым друзьям, и случайным знакомым. У них, в относительно еще комфортабельной обстановке, мы довольно часто встречались с Вячеславом Ивановым, со Шпетом, с семьею редактора «Русских ведомостей» Игнатова и со многими «бывшими людьми». Бывали у Шоров изредка и иностранцы, главным образом, любознательные немцы, пытавшиеся разгадать душу России, а попутно и выяснить, будет ли для Германии

какая-нибудь польза от революции. Среди них наиболее интересным мне показался доктор Ионас, основавший впоследствии вместе с профессором русской истории Гешем Кёнигсбергский научный институт по исследованию Восточной Европы, а в частности России.

Как памятны мне поздние летние вечера на небольшом балконе у Шоров. Летняя Москва была по-старому полна своею милою провинциальною грустью. Пахло пылью, нагретым за день железом крыш и увядающим жасмином. Изредка доносились поспешные одинокие шаги. В гостиной о чем-то несбыточном раздумчиво пела виолончель Юрия Шора и было до полной утраты ощущения своего собственного «я» непонятно, почему засевшие в недалеком Кремле большевики творят в этом тихом, печально-прекрасном мире свое злое, громкое, бесскорбно-мажорное дело и почему, творя его, они приглашают в Кремль трио «Шор, Крейн и Эрлих» и слушают музыку чуть ли не со слезами на глазах.

Играя в Кремле, Давид Соломонович Шор не раз пользовался сентиментальными слезами «великих мира сего», чтобы выхлопотать помилование для невинно осужденных.

Удивляться чувствительности большевиков знающим историю людям, впрочем, не приходится. Биографии великих революционеров учат нас тому, что жестокость и сентиментальность – родные сестры. Перед тем как начать подписывать смертные приговоры «неподкупный» Робеспьер старательно писал чувствительные стихи. До опубликования своего кровожадного коммунистического манифеста Марат работал над слащаво-сентиментальным романом и даже Наполеон, увлекавшийся гётевским «Вертером», сочинил любовную новеллу. А Дзержинский? Разве размышления и стихи его дневников не верх лунатической слезоточивости?

Да, Достоевский прав, слишком широким создан человек, надо бы его сузить. Но в революцию он не сужался, а все безудержнее разливался во всю свою и смрадную, но и вдохновенную ширь.

Через Ольгу Александровну дошли до нас слухи, что в Германии появилась замечательная книга никому раньше неизвестного философа Освальда Шпенглера, предсказывающая близкую гибель европейской культуры. Почти одновременно возник таинственный слух, что эмигрировавший за границу сын князя Сергея Трубецкого выпустил в Германии небольшую, но очень содержательную работу в защиту культур примитивных народов от наступающей на них неправомерно претенциозной европейской цивилизации.

Помню, как в ограде Румянцевского музея, нервно оглядываясь по сторонам, шёпотом и весьма доверительно рассказывал о Трубецком один из мало знакомых мне доцентов Московского университета. Слушая молодого ученого, о котором ходили вряд ли обоснованные недобрые слухи, я, стыдясь и за него, и за себя, ловил себя на мысли, что не вполне доверяю ему. Шел мелкий осенний дождь, и было невыносимо скучно и пусто на душе.

Через некоторое время я неожиданно получил из Германии первый том «Заката Европы». Бердяев предложил мне прочесть о ней доклад на публичном заседании Религиозно-философской академии. Я с радостью согласился и с чувством пещерного жителя, к которому через узкую щель чудом проник утренний свет, принялся за изучение объемистого тома. Волнение, с которым я работал над Шпенглером в своем деревенском кабинете, и поныне каждый раз оживает во мне, как только я открываю «Закат Европы». Стояли ясные, осенние дни. В риге с утра до вечера стучала молотилка. Мы спешили с молотьбою, чтобы поскорее освободить

машину для крестьян, которые уже считали ее общественной. В саду над облетевшей, багряно червонной листвой печально высился наш старый клен. Под окнами большого дома грустно никли головки белых и лиловых астр. Перекрученные, узловатые сучья обобранных старых яблонь казались исполненными какой-то первозданной муки. На террасе стояли приготовленные для отправки в волисполком ящики с яблоками. Пахло соломой и кисловатым духом прозрачно-восковой антоновки.

Обдумывая доклад, я медленно ходил по саду и подолгу просиживал на скамейке в конце парка, смотря на побуревшие ильневские холмы…

– Неужели, – спрашивал я себя, – Шпенглер действительно прав, неужели к Европе и впрямь приближается смертный час? Но если так, то кто спасет Россию?

Вместе с болью о России (повсюду горели имения, со злобою изничтожался сельскохозяйственный инвентарь, бессмысленно вырезывался племенной скот, и растаскивались на топливо и цыгарки бесценные библиотеки) – росла в душе и тоска по Европе. Самый вид, самый запах полученной из вражеской Германии книги волновал каким-то почти поэтическим волнением. В памяти невольно возникали образы Флоренции и Рима, Фрейбурга и милого Гейдельберга с его замком, университетом и улицей Звенящего пруда, на которой я жил 1000 лет тому назад. Почему-то к вечеру с одурманивающей силой всплывали европейские запахи: эвкалиптов и мимоз Ривьеры, осыпающихся чайных роз у прогретых солнцем каменных стен во Фрейбурге, чуть пыльный запах университетских библиотек и даже сигарный дым международных вагонов-ресторанов…

«Нет, – возражал я мысленно Шпенглеру, – подлинная, то есть христиански-гуманитарная культура

Европы не погибнет, не погибнет уже потому, что, знаю, не погибнет та Россия, которая, по словам Герцена, на властный призыв Петра к европеизации уже через сто лет ответила гениальным явлением Пушкина. Самый факт быстрого расцвета русской культуры 19-го века, в результате встречи России с Западом в годы Отечественной войны, представлялся мне неопровержимым доказательством таящейся в Европе жизни.

Даже и большевизм не подрывал моего оптимизма, так как казался не столько русскою формою того рационального маркистского социализма, в котором Шпенглер усматривал симптом гибели Европы, сколько скифским пожарищем, в котором сгорал не семенной запас европейской культуры, а лишь отмолоченная солома буржуазно-социалистической идеологии.

Не верил я в неизбежную гибель Европы еще и потому, что ощущал историю не царством неизбежных законов, а миром свободы, греха и подвига. От нашей скифской реализации безбожно-рационалистического европейского социализма я ждал отрезвления Европы; от сопротивления русской церкви большевизму – оживления христианской совести Запада. Признаюсь, что минутами мне даже верилось, что после срыва большевизма в Европе начнется руководимое Россией духовное возрождение.

Волнуемый такими мыслями, я по вечерам писал свой доклад. С дороги, проходившей через нашу усадьбу, налетала даже и в ночной час крикливая деревенская песня. Поравнявшись с нашим флигелем, парни отпускали весьма смачные словечки и откровенные издевки. Хотя я и знал, что это озоруют «чужие», форсят перед девками, было все же жутковато слушать наглые угрозы пустить красного петуха и выгнать нас взашей.

Прочитанный мною доклад собрал много публики и имел очень большой успех. Очевидно, в скудной

советской духовности, отравленной марксистской верою, что история начинается с организации пролетариата, а философия с осознания им своей политической миссии, нарастал такой острый голод по новому слову, по живой творческой мысли, по смелому созерцанию истории, что простое изложение исключительно богатой всеми этими достоинствами книги не могло не вызвать чувства радостного выхода в какие-то океанские просторы западно-европейской жизни.

Прочитанный в Религиозно-философской академии доклад я повторял дважды. Сначала по приглашению профессора Тарасова для членов Пироговского съезда, а затем, уже не помню по чьей инициативе, в большой богословской аудитории Московского университета. К этому времени весть о мрачном пророчестве Шпенглера уже широко разнеслась по интеллигентской Москве. Громадная аудитория была переполнена слушателями, эстрада тесно заставлена приставными стульями. Несколько женщин, не получивших билеты, прорвались в зал, назвавшись моими сестрами и женами.

Книга Шпенглера, многими нитями связанная с русскою философией, с раздумьями славянофилов, Соловьева, Достоевского и Данилевского и дошедшая до нас в самый острый момент духовно-политического кризиса, с такою силою завладела умами образованного московского общества, что было решено выпустить специальный сборник посвященных ей статей. В сборнике приняли участие: Бердяев, Франк, Букшпанн и я. По духу сборник получился на редкость цельный. Ценя большую эрудицию новоявленного немецкого философа, его художественно-проникновенное описание культурных эпох и его пророческую тревогу за Европу, мы все согласно отрицали его биологически-законоверческий подход к историософским вопросам и его вытекающую из этого подхода мысль, будто бы

каждая культура, на подобие растительного организма, с неизбежностью переживает свою весну, лето, осень *и* зиму. При таком подходе к истории, настаивали с особою убедительностью Бердяев и Франк, решительно обессмысливается понятие и ощущение исторической судьбы человечества. «Судьба цветка – не человеческая и не историческая судьба, – вторил нам в своей рецензии на наш сборник Б. П. Вышеславцев, – это вообще не судьба, ибо при таком понимании, судьба теряет свое трагическое значение».

Распространение сборника по всей России было по тем временам совершенно невозможно. Он продавался в Москве и в небольшом количестве в Петербурге. Тем не менее, за две недели разошлось десять тысяч экземпляров. Распространялась небольшая серенькая книжечка главным образом через книжные лавки писателей. Было их две, а может быть и три. Какие доходы получали писатели со своих лавочек, я не знаю: вряд ли дела велись рационально и успешно, но в духовном обиходе Москвы эти книжные лавки играли большую роль. Приезжая из деревни я каждый раз заходил на Большую Никитскую, где торговали Бердяев, пристрастный поклонник Флобера и несправедливый хулитель его друга Тургенева, Грифцов, милый Борис Зайцев, нежный беллетрист с душою поэта и профилем Данте, эстетически обесцененным жиденькою бородкою земского врача, и профессор истории Дживелегов.

Когда, бывало, ни придешь в лавочку, она всегда полна народу. Беседа идёт много живее торговли, так как продавать в сущности нечего. Меньше всех торгует и горячее всех философствует Бердяев. Требуемые покупателями книги отыскивает чаще всего Грифцов. Он легко взбирается по приставной лесенке к верхним полкам и близоруко выискивает там то редкий антикварный том, то тоненькие книжечки стихов. Сидя

на лестнице под потолком, он вмешивается в наш с Бердяевым разговор о святой ненависти, в отсутствии которой Бердяев в большевистские дни постоянно упрекал меня. Покупатель покорно ждет, а то и сам робко вступает в спор. Чаще всего это студент, курсистка, кто-нибудь из членов Религиозно-философского общества или посетителей Литературно-художественного кружка. Здесь все, кроме неизбежных «шпионов», свои люди. Вероятно, и неизбежные шпики были здесь из своих, но с этим обиходом большевистской жизни все как-то сжились и он не очень нарушал общий дружественный тон той катакомбной атмосферы, в которой мы тогда жили.

Спустя год или два после нашей высылки, я в громоздком берлинском ландо медленно ехал узкою Фридрихштрассе по направлению к вокзалу. Было людно и шумно. По обоим тротуарам черными машинными ремнями двигалась под закопченный железнодорожный виадук и выбегала из-под него озлобленная проигранной войной и инфляционным разорением берлинская толпа. Сверху гремели поезда, ревели паровозные свистки, а кругом коротко тявкали автомобильные гудки.

У меня было по-берлински пусто и уныло на душе. Так же пусто и уныло, как в вечер моей первой прогулки по Унтерденлинден.

Но вот в этот мрак с внезапною силою ударил откуда-то свет. Я еще не успел понять, в чем дело, как из обгонявшего меня автомобиля ко мне на ходу перескочил один из частых посетителей «Лавки писателей». Постылая Фридрихштрассе мгновенно исчезла из моего сознания и в него, словно новая пластинка волшебного фонаря, вдвинулась Большая Никитская.

Несколько взволнованных перекрестных вопросов, несколько дружеских приветов в Москву и Париж и милейший Димитрий Васильевич, озабоченный тем,

как бы нас не выследили, крепко расцеловал меня и, к удивлению своего шофера, опять перескочил в свой автомобиль.

Смотря на его вздрагивающую удаляющуюся шляпу, я, хоть и благодарный судьбе за нашу высылку из России, сгорал страстным желанием вернуться вместе с ним в Москву.

Не все московские лекции проходили так благополучно, как далекие от интересов и волнений широкой публики, доклады в Религиозно-философской академии. Однажды я лишь с большим трудом устоял на кафедре и с еще большим унес ноги из аудитории Политехнического музея, где, по приглашению Екатерины Димитриевны Кусковой-Прокопович и Веры Фигнер, выступал в пользу Общества политических каторжан.

Моя тема («О героях, лицедеях и лицемерах») была мне подсказана шумным петербургским празднованием годовщины октябрьской революции. Сам я на этом празднестве не был, да и вполне точных сведений о нем не имел. Все, что знал, я знал из газет и по противоречивым рассказам очевидцев. Этих сведений было, однако, достаточно, чтобы вызвать в моей душе непреоборимое отвращение к петербургским торжествам. Ноту особой горечи моим чувствам придавало еще и то, что «народный спектакль» ставил талантливый молодой режиссер Радлов, сын историка русского славянофильства и близкого друга Владимира Соловьева.

Зная Радлова понаслышке, я не допускал мысли, что петербургская постановка представлялась ему в чисто политическом плане; скорее всего, казалось мне, молодой режиссер задумал ее в порядке несвоевременной и неуместной попытки осуществления модных накануне войны мечтаний о грядущем театре, как о театре «соборно-всенародного действа».

Следуя этим теориям, Радлов и ввел в свой грандиозный спектакль, изображавший перед многотысячными

зрителями низложение Временного правительства, наряду с профессиональными актерами, не только рабочие массы, митингующие перед Зимним дворцом, не только полки, берущие дворец штурмом, но даже и крейсер «Аврора», гремевший холостыми выстрелами вдоль Невы.

Мною, в котором память о последних днях «Февраля» была еще мучительно свежа, вся эта громоздкая постановка ощущалась кощунственным издевательством не только над судьбою Временного правительства, но и над трагедией русского народа.

Во время работы над лекцией ее петербургский повод как-то сам собою отошел на задний план. В качестве центральной темы выдвинулась мысль, что трагические события наших дней, в которых жизнь становится подлинною жизнью, велики не тем новым, что они рождают в социально-политической жизни, а тем, что открывают нам возможность восхождения от быта через события к бытию. Лишь на путях этого восхождения возможны спасение религиозного смысла революции и искупление ее страшных преступлений. Искать этого восхождения в большевистском «оформлении» революции не приходится. Оно осуществимо лишь на путях пореволюционного искусства. Ныне мои тогдашние формулировки, вошедшие впоследствии в напечатанную в сборнике «Шиповник» и уже цитированную мною статью «Трагедия и современность», кажутся излишне заостренными, чрезмерно патетическими и неприятно эффектными, но в свое время они вполне соответствовали моему духонастроению и потому не мешали искренности моей антибольшевистской проповеди.

Протискиваясь с Наташей в двери Политехнического музея, я сразу же почувствовал, что валом валящая в него толпа находится в весьма приподнятом настроении.

По лицам и взорам я ясно различал тайных друзей и явных врагов. Многосмысленное и неотчетливое заглавие лекции, очевидно, будило в одних какие-то надежды, а в других подозрения.

В лекторской, где меня ждало несколько друзей и знакомых, среди которых был и приглашенный в качестве оппонента Айхенвальд, царило большое волнение: кем-то был пущен слух, что милиция уже оцепляет музей. Озадаченные устроители по телефону выясняли положение. Из зала слышались аплодисменты, топот и даже свистки, знаки недовольства запозданием и жажды скандала.

Когда я вышел на кафедру и увидел круто подымающийся к потолку, до отказа набитый публикой амфитеатр, мне стало страшно, что своими метафизическими размышлениями о политике, трагедии и религии я не только не захвачу, но и сразу же восстановлю против себя почти тысячную массу, в которой лишь кое-где опорными пунктами виднелись знакомые, надежные лица.

Страх мой оказался напрасным. Весь строй моих мыслей был для публики, которая только и ждала, чтобы обрушиться на меня, как на классового врага, до того непривычен, что она поначалу растерялась. Как «буржую», мне полагалось защищать войну и злопыхательствовать против революции. Я же, переоценивая все привычные ценности и перетасовывая карты, утверждал: «Если бы война не окрылилась революцией, если бы она благополучно докатила свой кровавый груз по заранее предусмотренным путям до предуказанной цели, это было бы прямым доказательством величайшего религиозно-эстетического бессилия народной души. Но этого не случилось. Русская жизнь неожиданно вознеслась на свои вершины. На театре военных действий появился трагический герой – русская рево-

люция. Разноцветные знамена войны с начертанными на них лживыми лозунгами были в одно мгновение заменены новыми: черными знаменами немой трагической музы. Так началось святое безумие первых революционных дней, явное безумие во имя несказуемого, тайного смысла».

Слушая такие слова о революции, и пропуская мимо ушей, что знамена революции у меня не красные, а черные, мои враги как будто бы начали примиряться со мною. Но уже через минуту я продолжал совсем не в их духе: «К сожалению, развитие революции оказалось сплошным предательством ее идеи. Ее идея – взрыв всех исторических смыслов жизни, ее развитие – замена одних смыслов другими; ее идея – взлет на вершины бытия, ее развитие – бытовая суета у подножья этих вершин: ее идея – вся о невозможном, ее развитие – сплошное приспособленчество; ее идея – вещие зеницы, ее развитие – борьба слепых точек зрения; ее идея – шум бездонного моря, ее развитие – искание брода в нем».

Правильно чувствуя в моих противопоставлениях жестокое снижение только что пропетого гимна революции, большевики и их приверженцы все же не улавливали в них привычного им звука контрреволюции. Раздалось лишь несколько не подхваченных массою возмущенных возгласов, и я благополучно окончил свою лекцию, награжденный дружными аплодисментами сочувствующей мне части аудитории.

Начались прения. Первым говорил Айхенвальд. Его речь была защитою «ее величества жизни», простой, обыкновенной и незаслуженно мною «охаянной» во имя отвлеченных идей и эстетических конструкций. Вторым выступал, если не ошибаюсь, Грифцов; что он говорил – не помню, но, во всяком случае, он не взволновал аудитории.

Но вот на кафедру поднялся кто-то вульгарный и злобный, ныне для меня безликий, ничего в лекции не понявший; ловко жонглируя марксистскими терминами, он стал с гнусным чекистским подмигом хлестко разоблачать мой «приправленный боженькой тухлый эстетизм». Во время его речи в аудитории сразу же возникло и быстро начало расти озлобленное раздражение против меня: «Так вот в чем дело, а мы-то не сразу сообразили».

Ругань моего оппонента все чаще стала прерываться аплодисментами и сочувственными возгласами. Мои сторонники шикали, председатель звонил. Но, как всегда, протесты и призывы к порядку только разжигали страсти.

Взойдя на кафедру для заключительного слова я долго не мог начать говорить: часть аудитории свистит и топочет, часть аплодирует. В первых рядах я вижу взволнованную Наташу и нервное, в красных пятнах, лицо Екатерины Димитриевны Кусковой. На самом верху начинается какое-то подозрительное движение. Кто-то распоряжается группою красноармейцев, которые проталкиваются к кафедре. С председательского стола мне подают записку с предложением отказаться от заключительного слова, но я не сдаюсь: где-то в душе еще таится наивная вера в разум и совесть людей. Пользуясь минутным затишьем, я громко и решительно начинаю свою речь, но меня сразу же грубо прерывают солдаты, на мое счастье вопросом: «Да ты не крути, а отвечай товарищу – буржуй ты или нет?»

– Раз спрашиваете, – кричу я, – так слушайте ответ. Да, буржуй – у отца имение было и фабрикой он управлял, таиться мне нечего, да себя и не утаишь.

Мой неожиданный откровенный ответ поражает крикунов и на минуту они растерянно стихают.

Пользуясь данной мне передышкой, я обращаюсь к социалистической интеллигенции и пытаюсь, не нападая

на моего большевистского оппонента, а лишь уточняя на свой лад марксистскую идеологию, защитить свою, отнюдь не контрреволюционную точку зрения на революцию, но моя тактика терпит быстрое поражение. Атмосфера накаляется до предела; говоря, я чувствую, как безнадежно испаряются в аудитории и разум моих слов и очертания мыслей. Меня все чаще начинают прерывать злостные возгласы и свистки; наконец сверху раздается какое-то угрожающе-сигнальное: «Да что его слушать, товарищи, долой… долой…»

Несколько человек, как по команде, срываются с места и устремляются к кафедре. Им навстречу вскакивают какие-то люди. Начинается форменная свалка. Аудитория неистовствует, председатель звонит беспрерывно и, наконец, покидает зал, а за ним и я. В лекторской кто-то напяливает на меня шубу и подает шапку. Мы с Наташей быстро прощаемся с «политическими каторжанами» и какими-то темными проходами через задние двери выходим на улицу.

Весной 1919-го года мы решили порвать с Москвой, окончательно перебраться в Ивановку и войти в трудовую коммуну. Везти с собою в маленький флигель всю обстановку, которая, ввиду предполагавшегося отъезда за границу, была перед войною сдана на хранение в мебельный склад, не представлялось возможным. Потому мы решили продать один из моих кабинетов. Но какой? Старинный ли, красного дерева, который стоял в Наташиной девичьей комнате и служил нам в Москве гостиною, или подаренный нам с Аней ее родителями кабинет «модерн», зеленого дуба. Несмотря на гибель того мира, в котором были еще спокойные квартиры, большие библиотеки и творческий досуг, этот вопрос долго мучил меня. Чем оглушительнее гремела история своими мировыми событиями, тем существеннее становился каждый полутон той мелодии личной жизни,

вслушиваться в которую меня выучила война. В октябре 1916-го года я, после тяжелых боев и больших потерь, писал с фронта Наташе: «Мимолетное – как вечное, интимное – как вселенское, лирика – как космогония – вот волнующие меня сейчас темы».

Попросив у покойной Анны прощения, мы не без тяжелых борений, решили продать зеленый кабинет и отдали его с этою целью на комиссию в какой-то мебельный магазин.

Его выставили в большой зеркальной витрине где-то около Кузнецкого моста, отягчив правый угол письменного стола, где у меня всегда стоял портрет Владимира Соловьева, бронзовым бюстом Карла Маркса. Так кабинет стоял несколько недель. Сколько раз я ни заходил наведаться, ответ был все тот же: «охотники находятся, но надо сбавить цену», я на сбавку не соглашался: очевидно, мне подсознательно не хотелось расставаться с комнатою, в которой было так много пережито. Но вот пришла открытка: «можете получить деньги». Перед тем, как войти в магазин, я долго стоял перед окном. Не знаю, смогу ли передать свои чувства? Нет, это не только мебель, не только светло-зеленый дуб и светло-зеленая пенька обивки, по которой бежит такой знакомый глазу лиственный узор, это еще и зеленый шатер нашей светлой, но и мучительной, как всякая весна, любви. Я смотрю в стекло витрины и вижу бегущую мне навстречу сквозь молодую зелень гейдельбергского сада Анну. До вершины жизни она, бедная, не добежала. В зеленый рай ее весны внезапно ворвался ветер с Немана. Я слышу его шум – как больно. Хоть на дворе и светлый день, у меня перед глазами темнеет. В окне, вытесняя зеленый шатер, появляется Нинин дом в церковной ограде. Под оградой чуть колышется ночной Неман – как холодно было Ане лежать в нем – а над Неманом светятся печальные Нинины глаза…

Эти, почти не поддающиеся слову чувства и образы и раньше поднимались во мне, в особенности, когда я поздними ночами работал у себя в кабинете, а Наташа приглушенно играла на рояле в своей комнате. Но с такою силою, как в час прощания с Аниным приданым, в час вынужденной передачи его в какие-то чужие, враждебные руки (из своих людей в те дни никто мебели не покупал) они меня еще никогда не мучили. Становилось даже страшно, не потревожит ли тот темный человек, который через несколько дней войдет в наш кабинет, загробного покоя Анны.

Через несколько дней после получения денег за проданный кабинет, мы с Наташей пошли покупать обои, для чего, непонятным образом, еще не требовалось ордера. Выбор был небольшой, а у нас было вполне точное представление о стиле и колорите комнат ивановского флигеля под еще более старым серебристым тополем, чем тот, что высился перед окнами нашей московской квартиры на Новослободской. Долго думая, что купить, мы прекрасно понимали до чего мы похожи на тех неосмотрительных воробьев, что каждую весну начинали вить гнездо на одной из ставен большого ивановского дома, которые ежевечерне закрывались на ночь. Но сознание не помогало. Привезя в Ивановку обои, серые с краснотцой и золотом для кабинета, и светлые, с голубыми венками ампир для спальни, мы с радостью начали оклеивать стены «Известиями», бездумно пробегая притом одним глазом напечатанные в них ужасы, в том числе и списки приговоренных к расстрелу, среди которых часто попадались знакомые имена. В наше оправдание могу только сказать, что мы, вероятно, с не меньшею радостью устраивали бы свой флигель даже и в том случае, если бы знали, что и нам уже вынесен смертный приговор и что мы недолго проживем в своем гнезде. Противоречивость человеческой души, отнюдь не исключающая

ее цельности является, как известно психологам, одною из главных причин ее прочной устойчивости в жизни.

Покончив с оклейкой, мы принялись за окраску пола и дверей. Для просушки топили хворостом большую печку с лежанкой. В открытые окна струился влажный весенний воздух. Под нашими окнами часто появлялся уютнейший Николай Сергеевич в старенькой куртке, которую мы привезли ему в подарок из Фрейбурга, посмотреть, как спорится работа.

Когда все было кончено, мы пошли кланяться соседу Туманову. Кроме него, никто привезти нашей мебели из Москвы не мог. Он милостиво снизошел и обещал привезти, как только просохнет проселок.

В деревне революция развертывалась гораздо медленнее, чем в городе. Чуть ли не год спустя после гнусного убийства министра земледелия Временного правительства Шингарева, у нас в волости не только существовали, но даже и действовали так называемые шингаревские земельные комиссии. Помню, как члены такой комиссии, степенные, зажиточные крестьяне, описывая наш живой и мертвый инвентарь, хозяйственно ходили по двору, по-цыгански дергали лошадей за хвост, щупали «колодцы» у коров, тщательно прикидывали завидущими глазами, на сколько пудов наш новый сенной сарай, сколько примерно лет еще простоит ветхая рига и явно раздумывая, как бы всё это половчее прибрать к рукам (господам все равно не удержаться), лицемерно причитывали: «Что деется, барыня, что деется, глаза бы не смотрели»…

Ко времени нашего переезда в Ивановку, в деревне уже народилась новая психология. Марксистская теория расслоения крестьянства на кулаков, середняков и бедноту была одинаково популярна как на кулацких верхах, так и на бедняцких низах.

Зажиточные мужики и тяготеющие к ним середняки, возмущенные безвозмездным отобранием лошадей в красную армию (вместо денег выдавали талоны), непомерными штрафными обложениями и запретом вольной покупки хлеба, что для нашей местности, промышлявшей главным образом сеном и углем, означало голод, молчали, но затаенно готовились к отпору.

Поначалу среди верхушки кулаков были надежды на Белое движение, но после многих возмущенных рассказов отпускных красноармейцев, что Деникин не только «против коммунистов и жидов, но и за помещиков, которым возвращает землю», наступило горькое разочарование. Такой оборот дела никому не нравился и ни в чьи расчеты не входил. Оставалось надеяться на свои силы, но все сознавали, что сил нет, и куражились разве только в пьяном виде. По мнению разоткровенничавшегося со мною в пьяном виде кулака Туманова, восстание можно было бы сразу поднять, если бы не была отменена винная монополия.

– Дайте мне, – горячился он, – перепоить наш уезд и я вам всех товарищей в три дня топорами перебью, да и ружьишки найдутся… Ну, а в трезвом виде не осилить. Малодушен народ, темен, да и согласия в нас нету. Беспортковая сволочь вся к товарищам тянет, и кругом шпики. А впрочем, мы еще посмотрим, чья возьмет. Потягаемся… Вот с нас, кулаков, по десяти тысяч единовременно содрали, а мы опять обернулись, не хуже людей живем.

И, действительно, наши знаменские и ивановские богачи, несмотря на образовавшиеся впоследствии комитеты бедноты, до самой нашей высылки – в ноябре 1922-го года жили много лучше своих классовых врагов. Даже после раскулачивания многие ухитрились не пойти ко дну. Знаю наверно, что в 1938-м году Туманов и Фокин заправляли крупными совхозами и, распевая новые песни, по-старому жили припеваючи.

Присматриваясь к нашим кулакам, я не мог не любоваться их кипучею энергией, работоспособностью, мужеством, смекалкой и тою особою русскою ловкостью, с которою они играючи справлялись со своею трудною и опасною жизнью.

В большевистских кооперативах нельзя было достать ни капли керосина, ни щепотки соли, в лавке же Фокина, кроме птичьего молока, всё было, конечно, лишь для своих. Сколько ни реквизировала власть лошадей, Колесников, как из-под земли доставал новых. «Да откуда ты их берешь, Козьма Алексеевич?» – спрашивал я его. – «Как откуда, – отшучивался он – очень просто: у меня по весне кошка ожеребилась»…

Как ни преследовала власть за самогон, трактир Лукана процветал на славу; да как ему было и не цвести, когда в чистой горнице ночи напролет кутили ставленники власти. Тут были и водка, и вина, и колбасы, и сардины. Тут же работала и черная биржа. За шубу или кольцо Лукины в любое время могли отпустить мешок муки, или завернуть несколько фунтов масла. Пользовались лукинским посредничеством и окрестные помещики, и голодающие горожане.

Туманову было труднее держаться. 35 десятин мелкого леса, который он жег на уголь, у него, как и у нас, сразу же отобрали; торговли он никакой не вел, трактира никогда не держал, но и он оборачивался. Экономически обескровленный и политически ошельмованный, он все же словчился получить извозный подряд на доставку леса и кирпича на Воздвиженскую фабрику. Платила фабрика не только обесцененными деньгами, но и мануфактурой. Имея в своем распоряжении такие блага, Туманов не только спокойно откладывал в шкатулку солидные сбережения, но и властвовал над деревенской беднотой: за несколько аршин ситцу и овес на прокорм лошади и социалист Муравьев ломал перед ним шапку, стараясь попасть в обоз.

Совсем инопородными людьми были два сидевшие неподалеку от Знаменки латыша фермера. С той же не очень плодородной земли они снимали овса, сена и хлеба в 3–4 раза больше, чем наши крестьяне. Коровы у них давали по ведру в день и ходили «промеж молока» не в пример короче. Куры неслись у них как по заказу; их чуланы были всегда полны колбасами, окороками, медом и наливками. Придя в чайную, наши латыши с нескрываемым чувством своего человеческого превосходства вынимали из домотканых пиджаков туго набитые бумажники и важно клали их перед собой на стол: смотрите, мол, как мы преуспеваем и учитесь. Но вот грянула революция и эти, выпестованные немецкой культурой узкоколейные «спецы», сразу же растерялись. Лишенные дара выдумки, неспособные на риск и размах, они сразу же разорились и смылись в свою Латвию.

Состав первого «волисполкома» (волостного исполнительного комитета), с которым нам пришлось иметь дело, был в социальном отношении невероятно пёстр, но в психологическом – своеобразно однороден. Тут были и бедняки, и богатеи, и свои люди, и пришлый элемент. Но всех этих людей объединяла одна черта. Все это были горячие, беспокойные души, которым по разным причинам было одинаково тесно в жизни. Среди них мне вспоминаются, кроме Колесникова, желтолицый слесарь, вылеченный толстовцами от запоя, какой-то татуированный матрос, вероятно, ставленник уезда и весьма странный городской человек с пронырливым, бритым лицом старого капельдинера.

Возглавлял эту своеобразную компанию брат нашей бывшей горничной, хорошо мне известный Свистков, любивший выпить и поиграть на гармонии. До войны Свистков считался последним человеком в деревне, но с фронта вернулся героем, с двумя Георгиями на груди. Лицо у Свисткова было самое обыкновенное, только

глаза были необыкновенно грустные и «с сумасшедчинкой», как у того красноармейца толстовской «Аэлиты», что летал на Марс.

То, что, приехав в Стассовский Совет, я застал там Колесникова, было для меня большим утешением. В превращение этого, хорошо мне знакомого барышника в заправского большевика, мне решительно не верилось, и я был убежден, что так или иначе, а мы с ним споемся. Но как Колесников попал в волисполком?

То, что его кандидатура была выдвинута зажиточным крестьянством и кулацкою верхушкой, было ясно: крепкой деревне был нужен свой человек в Совете. Но как кандидатура Колесникова могла пройти в уезде, оставалось для меня загадкой. В ответ на мое, осторожно высказанное недоумение, Колесников и рассказал мне в чайной, куда мы зашли с ним после заседания, историю своей обиды на господ, которая открыла ему двери волисполкома.

В зиму 1916–17-го года, он, как и многие подмосковные крестьяне, подрабатывал легковым извозом в Москве. Барышник и бывший кавалерист, он ездил, конечно, лихачом. Лучших саней под медвежьей полостью, лучших коней и лучшей бобровой шапки с бархатным дном ни у кого не было. Зарабатывал он уйму. Денег гулящая Москва никогда не считала, а под конец войны и тем паче: все катилось под гору. Жил Колесников широко и примечталось ему как-нибудь самому кутнуть у Яра, куда он каждый вечер возил влюбленные парочки: на самом деле, чем он хуже господ? Смущало только то, как бы негр в красной ливрее не признал в нем мужика-извозчика и не указал бы на дверь.

Когда пришли Февральские свободы и все стали равны, Колесников решил исполнить свою заветную мечту. Надев праздничную черную пару и взяв напрокат у знакомого официанта лаковые штиблеты, которые

отчаянно жали (почему-то ему казалось, что без лаковой обуви нельзя), Кузьма Алексеевич с восторгом подлетел на нанятой паре к Яру; как в чаду вошел в огромный, наполненный шикарной публикой зал и, хоть и не был новичком в кутежах, сразу же словно охмелел от великолепного убранства, ослепительного света, зазывной музыки, а главное, от исполнения своей мечты…

Поначалу все шло хорошо. К Колесникову подсели барышни-хористки, которых он торовато угощал шампанским, закусками и фруктами, конечно, и себя не забывая. Особенно подзадаривало его, что сидевшая за соседним столом в мехах и бриллиантах красавица, за которой ухаживали два блестящих офицера и штатский во фраке, то и дело поглядывала на него. Ему это льстило, но внове не было, а потому и в голову не могло придти, что соседку занимает не он, а тот возмутительный факт, что социальная революция в образе этого стриженого в скобку цыганистого красавца уже ворвалась в еще вчера недоступный ей мир.

Счастливо начавшийся вечер кончился величайшим позором. Уже далеко за полночь, когда Колесников напился до того, что перестал соображать, где он и что с ним происходит, он вдруг снял весь вечер жавший башмак и, поставив его на стол, стал лить в него шампанское. Возмущенные его поведением господа подозвали лакея, который под всеобщее негодование и громкий хохот вывел вместе с красно-ливрейным негром расходившегося «товарища» из зала… Этого смеха над своею мечтой Колесников не мог простить господам, в особенности красавице в мехах.

Бросив лихацкий промысел, он вернулся в деревню и стал на собраниях все чаще поддакивать большевикам в их ненавистнической агитации против господ и помещиков. Так он и попал в Совет.

Еще более показательна история возвеличения и падения Свисткова. Ко времени нашего переезда в Ивановку он уже слыл грозою всей волости. Никитины с волнением ждали его к себе: помилует ли как трудовой элемент, или погонит, как господ? Посещение сошло благополучно. Прискакав как-то под вечер на реквизированной в Муратовских «Холмах» кобыле, Свистков лишь для «проформы», как он выразился, обошел наши поля и огороды и, явно наслаждаясь своею властью и великодушием, милостиво заявил, что нас не тронут, так как мы «поняли знамение времени».

Через несколько недель мы узнали, что Свистков повышен по должности и переведен в уезд. В Знаменке пошли совершенно невероятные, как нам казалось, слухи о фанфаронстве, самодурстве и садистической жестокости Свисткова, в частности об его расправе в Ракитине с приговоренными революционным трибуналом к расстрелу кожевенниками и хлеботорговцами.

Прибыв во главе красноармейского отряда в Ракитино, уже выпивший Свистков распорядился согнать на площадь не только осужденных, но и их родственников. Когда перепуганные люди были собраны, он приказал размостить часть площади и вырыть могилы. С воплем бросившимся к ногам его лошади людям он заявил, что зароет их живьем, если они не перестанут выть и причитать. Оторопелый народ молча принялся за работу.

Когда казнь была закончена и площадь снова замощена, Свистков выстроил родственников в шеренгу, форсисто подъехал к ним с поднятым револьвером и, прокричав какой-то коммунистический бред, медленно отъехал со своим отрядом к трактиру, откуда до утра слышались гармоника и песни.

Это было позднею осенью. А раннею весною, возвращаясь порожняком из Москвы, куда ездил продавать

солому, я повстречался с каким-то, показавшимся мне знакомым мужиком, бившимся над тяжелым возом дров. Мартовское шоссе было уже в просовах и тощая, выбившаяся из сил лошаденка не могла сдвинуть воза. Я слез помочь и увидел Свисткова.

– Здравствуйте, Свистков.

– Здравствуйте, товарищ Степун.

– Никак опять крестьянствуете?

– А что прикажете делать?

– Да ведь слышно было, вы в большие люди выходили?

– Выходили, да не вышли: не нашего это ума дело.

– Что так?

– Да без ума то я немножко неловко проворовался, да и столько греха за службу на душу взял, что и не знаю, как отмаливать. Про Ракитино, чай, слыхали?

– Как не слыхать.

Мы сдвинули воз и расстались. Подавая Свисткову руку, я странным образом не испытывал особой неприязни к нему. Спровоцировала жизнь, и потерял человек свое подлинное лицо; вкрутился в какую-то дьявольскую фантасмагорию. Мало ли что может случиться с душою человека, в особенности в революционную бурю?

К чести наших крестьян должен, однако, сказать, что Колесниковы и Свистковы, пришлые матросы и случайные толстовцы недолго верховодили в волости. Сравнительно скоро на первое место выдвинулся Лука Антонович Стулов, еще молодой, умный, спокойный и хорошо грамотный человек. Думаю, что Стулов знал о социалистических убеждениях молодых Никитиных и о моей работе в Петербургском Совете; относясь ко всем нам с большой симпатией, он, насколько мог, покровительствовал нашему трудовому хозяйству.

Я не раз заходил к Стулову поговорить о наших нуждах, а заодно и о текущих вопросах переустраивающейся

России. Лука Антонович ценил наши откровенные беседы и часто подвозил меня в помещавшийся в усадьбе графа К. волисполком.

Здесь больше, чем в других имениях, чувствовалась жестокая несправедливость, с которой большевики проводили свою социальную революцию. Тут все дышало подлинной культурой и заботой помещика о крестьянах: неподалеку от барского дома стояли, построенные на графские деньги, хорошие здания школы и больницы. Крестьянские избы были в большем порядке, чем в других деревнях, очевидно, господа не скупились на помощь деньгами и лесом. На всем лежал свежий отпечаток того общественно-нравственного подъема, которым была отмечена эпоха великих реформ.

Приехав как-то в Совет, я попросил Стулова показать мне графский дом. От этого посещения остались горечь на сердце и несколько случайных деталей в памяти: светлый, в больших цветах кретон мебельной обивки, раскрытая на круглом столе у окна брошюра Ильина «Смысл войны» и большой масляный портрет Льва Толстого в темноватой от прикрытых ставен комнате, где Толстой работал, если не ошибаюсь, над «Воскресением».

Проходя по двору со Стуловым к воротам, чтобы ехать домой, я увидел набитый всякою домашнею утварью сарай, посреди которого несколько ражих мужиков рассекали и тут же делили окровавленную коровью тушу. Стулов подошел узнать, по чьему приказу реквизирована корова и между кем ее делят. Стоявший над тушею на широко расставленных ногах человек что-то весело ответил Луке Антоновичу и, тут же подняв топор, со зверским лицом и характерным для всех мясников громким стонущим выдыхом, с размаху рубанул по ребрам.

Вместе с торчащими вверх обрубками коровьих ног вздрогнули и расставленные на полках сарая стаканы. В ответ на хряск топора раздался нежный хрустальный звон. За годы войны и революции я видел и слышал много страшного. Казалось бы, вид ободранной коровы среди сваленной за ненадобностью в сарае мебели, бронзы, картин, посуды этот тихий, жалобный звон давно можно было бы забыть, а вот нет, – не забывается…

На обратном пути, под мелким осенним дождем (по обеим сторонам шоссе сиротливо догнивали неубранные стога хлеба) мы со Стуловым вполне откровенно беседовали о незаслуженной судьбе графа К., которого он знал и уважал. Сын небогатого крестьянина, своим умом и своим трудом выдвинувшийся на первое место в деревне и волости, Стулов в глубине своей смущенной души хорошо понимал несправедливость и бессмысленность советской уравниловки, которая завтра же могла ударить и по нем. Но в своем социалистическом сознании (с эсеровской земельной программой Стулов познакомился еще в молодости, когда работал в кооперации), он, как ни искал, не находил достаточных для защиты себя самого аргументов. Теория «поравнения земли», хоть и мешала ему богатеть, все же прочно держалась в его голове.

Желая помочь Стулову разобраться в мучительном для него вопросе, а попутно и склонить его к возможно мягкой политике в волости, я тут же под дождем принялся развивать ему свою теорию справедливого социального уравнения.

– Я не против равенства, – говорил я Луке Антоновичу, – и если бы мне сегодня пришлось делить никому не принадлежащую землю между желающими на ней трудиться, то я, конечно, разделил бы ее поровну и весь социальный вопрос разрешился бы весьма просто – арифметически. Но в том-то и дело, что вождям

революции, а потому и вам в нашей волости, приходится заниматься не арифметикой, а историей; ведь земля – то уж давно поделена. Никто не спорит – весьма несправедливо. Переделы потому, конечно, необходимы. Но перераспределяя землю, надо иметь в виду не только то, чтобы каждому трудящемуся досталось одинаковое количество земли, но еще и то, чтобы каждый мог быть на своей земле хоть сколько-нибудь счастлив. Требование «наивозможно большего количества счастья для наивозможно большего количества людей» тоже ведь должно быть принято во внимание. Несправедливо, а потому, конечно, и не социалистично перераспределять землю так, чтобы одним выходило сплошное счастье, а другим разорение и печаль. Скажите, положа руку на сердце, не думаете ли вы, что такого помещика, каким был граф К., можно было бы – конечно, отобрав у него большую часть земель – оставить в его насиженном гнезде? Ведь и для крестьян важно постоянно соприкасаться с людьми большой культуры, иметь перед глазами образ той жизни, к которой стоит стремиться, ради которой стоит работать. Я лично уверен – убеждал я Стулова, – что с окончательным уничтожением помещичьих усадеб посереет и крестьянская жизнь. А могла бы после революции и подняться.

При расставании Стулов сердечно благодарил меня «за разговор». Думаю, что мои слова произвели на него некоторое впечатление, что-то сдвинули в нем.

Быть может, этим сдвигом отчасти объясняется и то, что в нашей волости революция была довольно милостива к помещикам. Ни одно из имений не было сожжено и никто не был не только убит, но даже и арестован. И это, несмотря на то, что среди наших ближайших соседей было много реакционной знати.

Стуловское отношение к помещикам, бесспорно редкое среди представителей власти, было вполне обычным у крестьян старшего поколения.

На основании личного опыта мне трудно сомневаться в том, что при менее радикальном развитии революции помещики, пожертвовав значительной частью пахотной земли, могли бы удержаться в деревне, в которой остатки сословной психологии еще не были вытеснены зачатками классовой ненависти.

Ожидая от помещиков даровой уступки нужной им для сытой жизни земли, помощи в нужде – деньгами, лесом и советом, и уважения к себе и своему труду, которого у нас было мало (даже и гуманные граф и графиня К. отсылали приехавших за своими деньгами мужиков обратно, если у них в это время были гости), крестьяне никогда не оспаривали помещичьих прав жить в хорошо обставленных домах с цветниками перед террасой и под окнами, собирать библиотеки, обучать дочерей играть на рояле, ездить на тройках и держать прислугу. Все это, по мнению разумных и степенных крестьян, помещикам полагалось, на то они и образованные господа.

Такое доброжелательно-справедливое отношение к помещикам держалось в деревне некоторое время даже и после революции. Помню, как по какому-то поводу у нас собралось много гостей. Приехали Тарасовы из Москвы – Анна Васильевна в белом кружевном платье, Лев Александрович в очень шедшей к нему паре из белой чертовой кожи военно-морского образца, управляющий советским домом отдыха на основании бумаги, свидетельствовавшей об отсрочке смертной казни, граф Николай Васильевич, на котором простая сатиновая рубашка сидела, как сшитый в Англии фрак, мой брат с женой, любители принарядиться, и еще несколько соседей.

Мы долго, «с чувством, толком и расстановкой» пили чай на террасе, а под вечер устроили домашний концерт: пели, играли и даже танцевали.

Выйдя со Львом Александровичем в сад, я увидел, что весь забор облеплен крестьянской молодежью. Тарасов с молодости полусоциалист и полупомещик – был у него на Волыни хутор – заинтересовался отношением революционной деревни к помещикам и со свойственною ему живостью тут же вступил с крестьянами в разговор, из которого, к его большому удивлению, сразу же выяснилось, что крестьяне смотрят на барский праздник не только безо всякой неприязни, но даже с удовольствием.

Веселая, смышленая Фенька, дочь безземельной вдовы-мещанки и невеста красноармейца, весьма далекая ото всякой патриархальной психологии девка, так прямо и сказала, что ей очень даже приятно смотреть на настоящих господ и их чистую жизнь. «Вот граф, хоть и пожилой, а каким красавцем ходит, а в деревне что: грязь, темнота, скука».

Я знаю все, что можно сказать против моей идеализации народа и отнюдь не собираюсь ни оспаривать, ни извинять совершенных им жестокостей. Но снова настаиваю на том, о чем говорил раньше: по своей сущности простой русский человек совестлив, справедлив и даже мягок. Страшным он становится лишь в исступлении, когда выходит из себя. Столкновения с разнузданной стихией народа нам за время нашей ивановской жизни, слава Богу, удалось избежать. Соприкосновение же с его подлинной природой оставило у меня отрадное впечатление. К нашим ивановским крестьянам я никаких иных чувств, кроме приязни и даже благодарности, не испытываю.

Главным содержанием первого периода нашей деревенской жизни было ожидание землемера. До передела земли мы висели в воздухе, то есть жили милостью крестьян, которые, без спросу рубя наш лес, и помаленьку выпрашивая у Серафимы Васильевны нужные

им запашки, не мешали нам пахать, сеять и косить. Держали мы себя мягко, но твердо, не допуская в общении с крестьянами даже и мысли, что нас могут выселить: мы-де, трудовое хозяйство, и будем наделены землею наравне с вами.

Долгожданный землемер приехал неожиданно. Будучи по какому-то делу в Знаменке, я увидел на крылечке трактира группу крестьян и сидящего среди них на лавочке молодого человека в зеленой фуражке межевого института. Сразу же догадавшись, что это и есть землемер, я подошел к беседующим послушать и приглядеться к человеку, в руках которого находилась наша судьба. Человек беседовал дельно и независимо; было ясно, что он деревню знает и революции не боится. Это было уже хорошо. Но еще лучше было то, что в нем не чувствовалось большевистского агитатора: ни слова против помещиков и кулаков и полное отсутствие марксистской терминологии. Лицо у землемера было простое, толстоносое и припухшее, но в мимике, в лиризме грустных глаз, в подергивании безбровицами, было что-то артистическое. Если бы не форменная фуражка, землемер мог бы сойти за провинциального актера.

За полчаса оживленного разговора с Иваном Федоровичем Спасским я вполне выяснил себе его сущность. Это был типично русский человек, широкий, беспечный и талантливый, происхождения, скорее всего, духовного. До поступления в Петровско-Разумовскую академию, которую он, конечно, не кончил, он обучался пению в консерватории. В его комнате, куда он пригласил меня зайти, висела гитара. Не долго думая, я предложил Ивану Федоровичу переехать к нам в Ивановку: у нас будет удобнее и веселее.

Несмотря на то, что ему, как представителю коммунистической власти, было вряд ли правильно переезжать

в помещичий дом, Спасский с радостью принял мое предложение. Уже к вечеру я не без гордости привез землемера в Ивановку. После ужина Иван Федорович сразу же подошел к пианино, эффектно пробежал по клавишам, и профессионально откинув назад голову, не без слезы, сипловатым, но красивым голосом запел под Плевицкую, «По старой Калужской дороге». Спев еще несколько вещей, землемер предложил спеть что-нибудь и Елене Никаноровне, на что та охотно согласилась.

К сожалению, к концу вечера Иван Федорович, как бы для облегчения своей социалистической совести и оправдания своего пребывания у нас, лихо грянул какую-то революционную частушку с гнусным припевом: «Буржуй-чики-чики, буржуй-чики-чики». Как ни противно было, а пришлось подпевать, не могло же «трудовое хозяйство» находить недопустимым посрамление буржуазии, как класса. Да и важно было во всех отношениях безоговорочно ублажить землемера.

К моменту появления у нас Спасского вопрос о наделении нас землею был, как будто бы, уже решен в положительном смысле. Так, по крайней мере, нас успокаивал Стулов. Но мы на принципиальное решение вопроса не очень полагались и поверили нашему счастью лишь после заявления Спасского, что в числе хозяйств, наделяемых землею, находится и наша трудовая артель. Открытым и всецело зависящим от Спасского вопросом оставался, таким образом, лишь размер нашего надела. Разрешение этого, весьма важного для нас вопроса, зависело от того или иного толкования применительно к имению весьма спорного понятия усадьбы.

Дело в том, что крестьянская усадьба никогда не запахиваемая, но часто употребляемая под огород или в качестве подсобного пастбища, земля между избой,

ригой и сараем при переделе не учитывалась: каждый крестьянин оставался при своей усадьбе, у одного большей, у другого меньшей. При неблагоприятном для нас толковании понятия «усадьбы» Иван Федорович мог потому признать за таковую лишь наш большой двор между конюшней, каретным сараем и амбаром; при расширительно же благоприятном – он мог отнести к усадьбе и парк, среди которого находилась одна из наших лучших полян и большую, именуемую «старым садом», обсаженную елями луговину, на которой еще стояло несколько одичавших яблонь.

Привязавшись к нам, а вдобавок еще влюбившись в нашу Лизу, Иван Федорович, естественно, склонился к распространительному толкованию, благодаря чему мы на одиннадцать душ получили целых четырнадцать десятин: немного, но достаточно, чтобы обернуться, то есть прокормить себя и скотину. После передела земли нам был вручен, тщательно начерченный Спасским план нашего нового владения. Согласно советской конституции, земля предоставлялась нам не в собственность, а лишь в пользование на 99 лет. За этот план и сопроводительную к нему бумагу нам пришлось заплатить довольно большие деньги. Наш лес – тридцать пять десятин – отошел к государству; сорок десятин пахотной земли и лугов – крестьянам, для психологии которых весьма характерно, что, не будучи уверены в прочности советской власти, они, получив нашу землю, прислали к Серафиме Васильевне делегацию с просьбой выдать им нотариальное удостоверение в том, что помещики Никитины согласны на безвозмездную передачу своей земли Ивановскому «обществу». Желая быть деликатными, делегаты предлагали оплатить гербовой сбор и нотариуса.

Николай Сергеевич и Серафима Васильевна объявили крестьянам, что официально они бумаги выдать

не могут, так как, по советским законам, все помещики лишены права распоряжения своей землей, но что на словах они согласны обещать, что ни они, ни их наследники ни при каких условиях не предъявят своих прав на отошедшую крестьянам землю. Данному слову делегаты поверили. Поблагодарив своих бывших «господ» за сочувствие, они с радостью пошли успокаивать недоверчивую деревню.

Главная трудность ивановского хозяйствования заключалась в том, что поначалу у нас не было собственного хлеба. Так как его во всей округе сеяли очень мало, то и у крестьян его почти что невозможно было добыть. За три пуда ржаной муки приходилось отдавать енотовую шубу, или еще что-либо столь же ценное. Спускать одну за другой последние вещи было невозможно. Оставалось питаться главным образом овсом. Но, съедая последний овес, мы не могли кормить ни лошадей, ни птицы, ни наших привыкших к овсянке сенбернаров.

Тощие, обросшие к зиме длинною, как у коз, шерстью лошади, немощно шатались в оглоблях. Куры, которым давали одну картофельную кожуру, одна за другой околевали в курятнике. Своих любимиц, разных хохлушек и рябушек, Серафима Васильевна то и дело брала в теплую кухню на подкорм, но и это спасало немногих. По нескольку раз в день, проходя кухней, я с грустью замечал, как все ниже спускалась над круглым куриным глазом тоненькая пленка синего века. Перед смертью курица падала на бок, протягивала когтистые ноги. Тут ее прирезывали. Разлив по тарелкам (большая редкость) куриный бульон, Наташа тщательно всем поровну делила обтянутые кожею кости. Двадцать голодных глаз со вниманием следили за движением ее рук.

Мучительнее было смотреть, как умирали собаки, Потап и Самба, к которым все за революцию крепко

привязались. Чуткие сторожа и непримиримые враги всякого непрошенного гостя, они ревностно охраняли нашу усадьбу. Могло случиться злое, но не могло случиться ничего неожиданного. Собак кормили, как могли, но чем их было кормить?

Первым перестал бегать громадный молодой Потап. С трудом волоча свои словно парализованные задние ноги, он с опущенной головой и поджатым хвостом целыми днями тоскливо ходил между большим домом и флигелем, подолгу простаивая под кухонными окнами.

Окончательно обессилев, он покорно лег умирать у заднего крыльца большого дома. Каждый раз, когда открывалась дверь, красавец сенбернар медленно поворачивал свою добрую квадратную морду, подымал вверх свои скорбные глаза в кровавых веках и молил о помощи. Трогательнее и мучительнее всего в этой беспомощной, собачьей смерти было то, что Потап до конца пытался исполнять свой долг. Почуяв идущего мимо дома чужого, он и перед самой смертью еще лаял на него. Но в голосе уже не было ни злобы, ни звука, только жалоба и преданность своим господам. Вскоре после смерти своего сына той же смертью и с той же покорностью издохла и Самба.

В дни, когда в Ивановке подыхали собаки и куры, газеты, как и всегда, были полны сведениями о вынесенных и приведенных в исполнение смертных приговорах. Как понять, что эти сведения о где-то происходящих казнях иной раз и отдаленно знакомых тебе людей, не причиняли большей муки, чем страдания подыхающих у тебя на глазах животных? До чего же странно и страшно смешаны в нашем сердце черствость и чувствительность.

Голодали мы, главным образом, не по нашей хозяйственной неопытности, а благодаря правительственным поборам, особенно непомерным в эпоху военного

коммунизма. Хотя мы и научились у крестьян не только подсовывать в сдаваемые на лидийском «ссыпном пункте» воза с сеном тяжелые камни, но и подмешивать к нему порядком намоченную листву, львиная доля покоса все же уходила в Совет. Еще хуже дело обстояло с овсом, так как надувать советского сторожа Герасима, обслуживавшего весы, на овсе было много труднее, чем на сене: своей лошади он не держал, сам же, как и все, питался овсяной мукой. До чего же обидно было ссыпать овес, который в поте лица своего, не разгибая спины, жало наше «трудовое хозяйство», в казенные амбары, не имея уверенности, что он не будет разворован до раздачи беднякам на посев.

Перед Рождеством с продовольствием стало совсем плохо. Узнав, что мой знаменский приятель, сапожник Лисицын, собирается за хлебом и маслом к родственникам в Тверскую губернию, я решил попросить его взять меня с собой. Лисицын охотно согласился.

Набрав всяких вещей на промен – больше мелочей, так как все ценное было выменено – скатертей, простынь, кофточек, бус, кружев, брошек, булавок (прихватил и Наташин японский маскарадный костюм), я тщательно записал, кто что мечтает получить за свои сокровища. Когда солнечным морозным утром Лисицын заехал за мной, я зарыл для безопасности свой чемодан с вещами в сено розвальней и, удобно устроился на нем. Сочувственно напутствуемые всем домом, мы с предпринимательским волнением тронулись в путь.

Протрусив верст двадцать по Ракитинскому шоссе, мы свернули на еле видный проселок. Временами дорога совершенно пропадала в снегах, лишь вороньи перелеты по подснежным навозным кучам указывали на то, что мы еще не сбились с пути. Встречных становилось все меньше. Зато все чаще попадались заячьи и лисьи следы, вызывавшие детский восторг в страстном охотничьем сердце моего спутника.

Смотря на искристые снежные дали и слушая оживленный рассказ Лисицына о том, как он в доброе старое время охотился в этих местах «с хорошими господами», я с нежностью вспоминал покойного отца… Особенно таинственным казался он мне, когда собираясь на волчью охоту с поросенком, он в белом поверх короткого полушубка халате и в белых валенках рассеянно прощался с взволнованною матерью в нашей большой кондровской передней у старинных часов с кукушкой… Под вдруг услышанный глуховатый бой этих, давно забытых часов, в моей душе со сновидческой таинственностью всколыхнулись и быстро – событие за событием, образ за образом – понеслись светлые дали моего невозвратного детства.

Окрестные снега сливались с калужскими, по которым я в день моего рождения мчался с мамой в «Полотняный завод», в один необъятный солнечно-синий простор, отчего в душе становилось бесконечно печально, но и бесконечно блаженно… Наши вершинные переживания все связаны с выступлением жизни из теснящих ее берегов настоящего, с разливом души по бескрайным далям прошлого и будущего.

Завернув часам к двенадцати к старому Лисицынскому заказчику, державшему трактир, подкрепившись чем Бог послал и накормив лошадь, мы часа через два тронулись дальше (оставалось верст 30). Родственники встретили нас очень радушно: Лисицыну от души обрадовались, а мне ничуть не удивились: очевидно, побирающиеся господа становились обычным явлением в деревне. Нас сразу посадили за стол, налили горячих щей, отрезали хлеба и поставили крынку молока. Мы вынули свои остатки и принялись за ужин. На печи лежал больной дед (он страдал старческой гангреной, горячо молил о смерти и печалился, что Бог не посылает ее) лохматый, с колтунами на голове и худой

как Кащей. Внучка налила ему щей, забелила молоком, накрошила в них хлеба и подала миску на печку, но дед есть не стал, говоря, что перед отходом можно и попоститься. О докторе он и слышать не хотел: человека, которому не к чему жить, незачем и лечить. Заросшее до скул сивою бородою лицо деда было с кулачок и всё иссечено мелкими морщинами. Жизнь оставалась только в глазах, неожиданно ласково смотревших из-под мохнатых, нависших бровей.

Спать меня положили недалеко от печки. Деду не спалось и, хотя разговаривать с ним мне приходилось, не вынимая трубки изо рта, чтобы не задохнуться от тяжкого духа, мы проговорили с ним чуть ли не до полуночи. До сих пор жалею, что в свое время не записал исполненного редкой житейской мудрости рассказа рожденного еще в крепостной неволе старика о его долгой, внешне однообразной, но богатой опытом и наблюдениями жизни. Для подлинно народной мысли характерно то, что она всегда цветет своими собственными словами. Забыв слова, пожалуй, лучше не передавать народных мыслей.

Мы только что начали обсуждать с Лисицынскими родственниками, на что и как выгоднее всего менять привезенные вещи, как за мной прибежал посланный учительницей паренек с просьбой пожаловать в школу, где при участии прибывшего представителя Московского Театрального отдела сейчас начнется обсуждение предстоящего спектакля.

Я не без любопытства отправился на заседание. Поджидавшая в прихожей учительница встретила меня и тут же заговорщически попросила оказать ей поддержку в борьбе с представителем власти, который навязывает ей безграмотную и тенденциозную пьесу из эпохи аграрных беспорядков 1905-го года. Она же уже с неделю репетирует «Бедность не порок», отводя много

места старинным народным песням, пляскам и скоморошьим играм, одним словом «фольклору».

Я обещал милой, культурной и, очевидно, энергичной женщине всяческую поддержку и прошел с нею в класс, где среди членов местного культурно-просветительного комитета и актеров-любителей уже ораторствовал представитель Москвы.

Присмотревшись и прислушавшись к полуграмотному типу, я решил подавить его намеками на свое близкое знакомство с Луначарским, прикинуться выдержанным марксистом и обойти его слева.

План вполне удался. Моя богато украшенная марксистскими цитатами речь об идеологической невыдержанности крестьянского сознания, еще не способного к восприятию подлинных достижений пролетарской культуры, хитро переплетенная с вскрытием марксистских элементов в психологии Любима Торцова, произвела желаемое впечатление на моего противника. Постановка комедии Островского, последний акт которой был тут же прочитан труппой с моими идеологическими замечаниями, была спасена. Дружески простившись с учительницей и по-товарищески пожав руку представителю «Т. О», я с двойною радостью удачно разыгранной роли и оказанной правильному делу помощи отправился обратно.

Проведенный в школе вечер обернулся для меня весьма приятными последствиями. Учительница и ее помощники по моей просьбе быстро разнесли весть, что в село приехал какой-то московский человек, по дешевке меняющий всякие вещи на муку и масло. Поинтересоваться привезенным и посмотреть на меня пришло уже ранним утром много баб. Я затеял нечто вроде аукциона и, с веселыми шутками и прибаутками, довольно выгодно выменял свои безделушки на съестные припасы. Кое-что у меня, правда, оставалось

на руках, но я надеялся обменять и это на обратном пути. Надежды оказались тщетными. Неизвестных людей крестьяне, боясь советского контроля, встречали угрюмо и подозрительно. В одной избе я даже нарвался на злостного солдата-большевика, сразу же опознавшего во мне «бывшего человека». Обложив меня крепкою руганью, он пригрозил донести в Совет: «нечего-де вам, буржуям, по деревням шататься и народ мутить».

Осторожного Лисицына, везшего домой вымененные на солидные товары (подошвы, подвертки, оголовья, ременные вожжи) пуды муки и кадушку с маслом, такой оборот дела весьма встревожил и он наотрез отказался заезжать к незнакомым людям. К тому же он боялся заносов и ночи: выехали мы в обратный путь с опозданием на два часа. Свинцовое небо и сильное за ночь потепление обещали непогоду. Верные признаки не обманули. Часа за два до выезда на Ракитинское шоссе, на котором все было знакомо и потому ничего не страшно, поднялся резкий ветер и повалил крупный косой снег. В несколько минут исчезли из глаз дальний горизонт и близкий лес, вдоль которого шла дорога. Небо слилось с землею в серый снегопад, внутри которого ничего не двигалось кроме пляшущего на месте лошадиного крупа. Даже дуги не было видно.

Несмотря на то, что Лисицын всё время дергал вожжами и махал кнутом, мерин шел всё медленнее и медленнее. Боясь, что он совсем станет, мы решили не понукать его, ехать шагом. Разговор сам собою прекратился, каждый молчал, уткнувшись в свой бараний воротник и в свои мрачные думы. Светлые тени детства не возвращались ко мне.

Приехали мы в Знаменку поздно. Хотя Лисицын и предлагал довезти меня до Ивановки, я отказался. Жаль было и старика и лошадь. Оставив привезенное у Лисицына, я налегке двинулся домой. Метель прекратилась.

Было довольно светло. В небе стоял только что народившийся месяц. Промерзший и уставший от долгого неудобного сидения в розвальнях, я с удовольствием шел пешком. Увидев при спуске к реке светящееся за сучьями сада окно столовой, я почувствовал, как красноватый огонь висящей над столом лампы теплом и уютом разлился по душе и телу и еще быстрее зашагал вверх по нашей березовой аллее. Кажется, никогда в жизни не приближался я к своему дому с таким радостным нетерпением, как после своей поездки в Тверскую губернию. Так хотелось поскорее укрыться и от ночи, и от стужи, и от солдата-большевика, грозившего доносом за попытку выменять у его жены пяток яиц на венецианские бусы.

Войдя в кухню, я с благодарностью понял, что у меня, в сущности, есть все, что нужно человеку для счастливой жизни: любящая жена, тесный круг близких и родных людей, теплая комната, горшок каши и чистая постель.

Насколько приятна и даже поэтична была моя поездка в Тверскую губернию, настолько же страшною и жестокою оказалась экспедиция наших крестьян на юг за хлебом, в которой участвовал и мой зять Андрей. На долю этого нежного душою и хрупкого здоровьем человека выпадали все время самые трудные задачи и испытания; конечно, потому, что он проще и легче остальных брал их на себя.

Двинулась Ивановка на юг на основании советского декрета о разрешении каждому крестьянскому двору привезти себе по два пуда муки из хлебородных губерний. Втайне каждый мечтал, конечно, привезти побольше: два пуда на семью в шесть-восемь душ не спасали положения. О поездках ходили самые устрашающие рассказы. Лишь немногим счастливцам удавалось попасть в тифозные не отопленные товарные вагоны,

неудачникам приходилось совершать путешествие на площадках и крышах вагонов. К тому же в случае контроля можно было с легкостью угодить в Чека.

Серафима Васильевна провожала своего любимца в эту рискованную экспедицию с большим страхом и волнением, чем меня на войну. Предчувствия ее материнского сердца оказались пророческими. На обратном пути Андрей попал в жестокую свалку, почти что в сражение между народом, везшим домой закупленный хлеб (кое у кого оказались в мешках спрятанные винтовки) и заградительным красноармейским отрядом, отбиравшим не только излишки, но в штрафном порядке и разрешенные два пуда на семью. Бой был неравный, так как за хлебом, кроме городских спекулянтов-профессионалов, ездили в большинстве случаев старики и девки: хозяевам-мужикам было трудно отлучаться со двора; молодежь воевала против белых.

Тем не менее «мешочники» дрались храбро. Помогал им тайный союзник: сочувствие красноармейцев, в глубине души понимавших, что они делают неправое дело, так как не может быть такого закона, чтобы народ помирал с голоду.

Свои законные пуды Андрей каким-то чудом до Ивановки довез, но вернулся домой до того замученным душою и телом, что «хозяйство» решило за хлебом больше никого не посылать.

О небывалом в истории России голоде 1921-го года, бывшем в гораздо меньшей степени следствием неурожая, чем аграрной политики большевиков, писалось бесконечно много, как в иностранной, так и в эмигрантской прессе. Подробно рассказывать о нем, а в частности о попытке антибольшевистской общественности придти на помощь власти в ее борьбе против постигшего Россию несчастья, быстро окончившейся ссылкой членов Общественного комитета помощи

голодающим, не входит в мою задачу, так как всё это происходило за горизонтом нашей замкнутой Ивановской жизни.

Лишь раз, не поддающаяся никакому описанию, картина голода, летом 1920-го года на Нижнем Поволжье, вплотную придвинулась к моим глазам. Было это в кабинете только что вернувшегося с Волги врача.

Кто помнит первые революционные годы, знает, до чего измучены и испиты были все окружающие тебя люди. Мертвенностью своего вида никого нельзя было удивить. И все же мне на всю жизнь запомнилось лицо, с которым Александр Сергеевич скупо, безо всякой живописи, одними фактами и цифрами рассказывал о голоде. Такого страшного, землисто-серого лица, таких потухших, оловянных, ежеминутно, словно навек, закрывающихся глаз, я еще никогда и ни у кого не видел. Да и как у старого общественника могло быть другое лицо, когда на его письменном столе лежала кипа телеграмм из голодающих губерний, среди которых была и та, в которой сообщалось, что голодающие, съедавшие раньше только покойников, поставили капкан сытому американскому врачу, которого ночью убили и съели.

Прочитав эту телеграмму, Александр Сергеевич взял со стола вырезку из газеты, в которой какой-то чувствительный большевик возмущался жестокостью русского народа, хлебавшего покойницкий навар.

Отложив в сторону прочитанные документы, Александр Сергеевич закрыл лицо ладонью и откинулся в кресло. Когда он отнял руку, на нем, в точном смысле слова, не было лица, вернее его лицо было лицом мертвеца.

Хоть и очень страшна, голодна и холодна была наша Ивановская жизнь, она во многом была интересна и значительна. Далеко не все вокруг было разрушением; многое было сумбурным и уродливым творчеством.

Творила не власть, творил сам народ, далеко не во всем согласный с властью, но все же благодарный ей за то, что она отодвинула в сторону господ и вплотную подпустила его к жизни. Втягиваясь в управление уездом, входя в органы местного самоуправления, не привычный к общественной работе, народ естественно чудил, озорничал и попросту делал глупости. Тем не менее, присматриваясь к его работе, нельзя было не видеть, что он во всех областях жизни напряженно ищет какой-то новой и своей правды – жестокой, безбожной, но по-своему принципиальной. Так первым делом Знаменского больничного комитета, в который наравне с медицинским персоналом вошли, конечно, и больничная прачка и больничный сторож, было вынесение постановления о немедленном разделе поровну всех имеющихся съестных запасов между служащими больницы. Мотив постановления: поддержать силы служащих, самоотверженно несущих непосильную работу, все же можно, помочь же тифозным, число которых все растет, все равно нельзя. Скармливать им сахар и рис все равно, что бросать добро на ветер.

Еще парадоксальнее были два решения народного суда, который, согласно инструкции власти, руководился не мертвыми параграфами кодифицированного права, а внутренними велениями пролетарско-бедняцкой совести.

В соседней деревне внезапно умер крестьянин, живший последние годы не со своей престарелой женой, а с молодой батрачкой. Похоронив своего мужа, вдова, считая себя законной наследницей всего движимого и недвижимого имущества, попыталась было отпустить ненавистную соперницу, но та объявила себя полноправною хозяйкой двора и предложила старухе самой убираться подобру-поздорову. Лишь из милости она согласилась дать ей телку, гнездо кур и часть хлеба.

Старуха пришла ко мне посоветоваться. Я написал ей прошение, и мы подали жалобу в народный суд. Постановление суда было столь же принципиально, как и просто. Законною наследницей объявлялась батрачка. Мотивировалось это решение тем, что женой в социалистическом государстве должна считаться та женщина, с которой мужчина живет, а не та, с которой он был в молодости обвенчан. Церковный брак никакой роли не играет.

Не менее своеобразно было решение народного суда в деле об отравлении подряд трех собак на нашей Ильневской мельнице. Присудив уличенного в отравлении собак и в краже ржи солдата к тюремному заключению на совсем пустяковый срок, суд приговорил, однако, и мельника к довольно большому денежному штрафу за то, что тот не мог своими силами справиться с охраной вверенного ему хлеба и не постеснялся обеспокоить перегруженный важными делами социалистический суд своим собачьим делом. В этом фантастическом постановлении сказалось, конечно, желание содрать еще одну шкуру с кулака-мельника, естественно жившего при крестьянском хлебе богаче большинства крестьян и тем мозолившего глаза бедноте.

Решения больничного комитета, постановления суда и других учреждений своим коммунистически-атеистическим духом глубоко волновали степенных крестьян, особенно же богобоязненных стариков. В избах и чайных шли оживленные споры. Трактир Лукина, в котором велись до войны мирные беседы о ценах на уголь и сено, превратился в настоящий дискуссионный клуб. Как-то зайдя в него узнать, что делается в уезде, кого оштрафовали, кого арестовали и кого из бывших помещиков выселили, я застал в нем много народу. Ожидался агитатор из уезда, который должен был говорить по религиозно-церковному вопросу.

Встав под образа, рядом с которыми висели портреты Ленина и Троцкого, молодой, развязный, судя по лицу не глупый «товарищ» бойко повел свое заученное наступление.

– Возьмем, товарищи, к примеру, хотя бы вопрос о бессмертии души. К чему попы, верные слуги помещичьего царя и кровавого империализма, забивают вам голову этим несовместимым с наукою и социализмом учением? Неужели не понимаете, что они только потому и утешают вас небесным раем, чтобы вы не рыпались в вашем земном аду, а покорно, как быдло, работали бы на буржуев-кровопийцев и аграриев-латифундщиков. (Этим последним выражением товарищ марксист был, очевидно, особенно горд). Так вот объявляю вам – согласно науке и нашей программе, – что бессмертие души надо понимать материалистически, в смысле обмена круговращения. Вот если где умрет человек или скотина – это все одно, и сгниет, удобрит, значит, землю, то на этом месте пышнее вырастет, к примеру сказать, куст сирени. В кусте этом ты и будешь продолжать свою жизнь. Вот и все наше бессмертие души. Другого не ищите, попам не верьте и за свои права боритесь.

– Экий дурак, – не выдержал сидящий подле меня старик, кузнец Иван. – Да скажи ты мне на милость, причем тут душа? Ведь в кусте-то сирени не душа цвести будет, а твоя тухлая плоть. Для души же человеческой нет разницы, сиренью ли цвести в палисаднике, или навозом под ногами моей старой кобылы лежать. Ведь для души-то, для бессмертной, и сирень навоз. Нет, знать вынули из тебя душу, что такую ахинею несешь.

Часть чайной весело хохочет и явно одобряет кузнеца: «Ловко дядя Иван поддел, сразу видать – силен в писании».

Агитатор, очевидно, не улавливая правильной мысли Ивана, что вопрос о бессмертии души не имеет ничего

общего с законом сохранения энергии, но смутно чувствуя, что что-то в самом деле в его доводах не вяжется, быстро, не возражая кузнецу, бросает свою сложную тему и уверенно, заранее торжествуя победу, переходить к более простой. Его задача компрометировать попов.

– Вот, говорят, святая церковь, а какая она, товарищи, может быть святая, когда каждый третий поп – пьяница. Ведь был же в уезде случай, сами знаете, что пьяный поп, крестя младенца, выпустил его под водой из своей десницы, так что из купели трупик вынул.

Пример этот явно выдуманный, для большей убедительности, вызывает всеобщее возмущение. У одних попом, у других агитатором. В трактире поднимается неистовый шум.

Дядя Иван с решительным лицом встает из-за стола и, очевидно, опасаясь, что после его первого выступления ему не дадут говорить, по всей форме просит слова. Товарищ председатель пытается отказать ему, но он настаивает на своем праве. В Совете, мол, свобода слова, и кому же и говорить, как не пролетарию-кузнецу? Аргумент действует. Дядя Иван получает слово, протискивается вперед, вплотную подходит к оратору и говорит ему в упор:

– Священники у нас разные бывают – и праведные и грешные. Но не твоей совести дело судить их. За бессовестный же твой поклеп, хотя ты и неверующий, все равно перед Богом ответишь потому, что крещеный ты. Это тебе первый ответ. А вот и второй: хотя бы и твоя правда была, против святости церкви она все одно ничего не доказывает. Ты вот во что вникнуть должен: кто в попе пьет – человек или сан? Если батюшка по человеческой слабости иной раз лишнее и выпьет, это ему на исповеди простится, ну а святой сан не пьет. Мы же в священнике не грешного человека чтим,

а рукоположенного иерея. Затем ведь священник поверх портков и рясу носит, – хитро улыбается дядя Иван, – чтобы она трезва оставалась, когда портки напьются.

Этот веселый поворот умной речи производит особо сильное впечатление – кузнецу аплодируют не только свои, но даже некоторые большевики, эти не за твердую защиту церкви, а за легкую словесность, за ухватку. Народная аудитория очень чутка к полемическому мастерству и умеет ценить удачное слово.

Второе выступление кузнеца сильно подорвало авторитет нерасторопного пропагандиста, не нашедшего, что ответить деревенскому самодуру. Обещав разбить стариковские глупости в заключительном слове, он быстро перешел к социальному вопросу, в котором мог рассчитывать на более широкое сочувствие деревенской аудитории. Но и тут ему не повезло, потому что он подошел к вопросу издали и не с того конца. Неожиданно для всех он начал с Толстого и стал рассказывать мужикам о том, что яснополянский учитель нажил на проповеди социального уравнения имя, почет и деньги, в то время, как на Ленина, вождя мирового пролетариата, и помещики, и буржуи, и кулаки, и писатели за ту же проповедь всех собак вешают.

– А очenно даже просто, – поднялся в третий раз со своего места все тот же неугомонный Иван, на этот раз уже в полном сознании своего значения, как признанного вождя оппозиции. – Ведь когда граф Толстой говорит, что всех поравнять нужно, то он, небось, знает, что ему отдать придется. А когда вы, товарищи, (имени Ленина кузнец назвать все же не осмелился), то же самое горланите, то про себя держите, что отдать вам нечего, а взять есть что. Правда-то она одна, да только она о двух концах, с твоего же конца она не правдой, а того гляди кривдой выходит.

Это была в точности та мысль, которую я сам развивал Стулову, когда мы с ним ехали из Стасова. Слушая старика Ивана, я не переставал удивляться расторопности его головы и точности его слов. Хотя я давно знал нашего кузнеца, я такой прыти от него все же не ожидал. Может быть, ее раньше в нем и не было. Почти у каждого человека бывают в жизни минуты, в которые он перерастает себя. Такой творческой минутой не только в жизни Знаменского кузнеца, но и всего простого народа были первые два года большевистской революции: в эти годы деревня впервые глубоко думала над многим, чем раньше мало интересовалась.

Привлеченный Екатериной Дмитриевной Кусковой к просветительной работе какого-то нового издательства, я взялся написать популярную книжечку о Владимире Соловьеве. Задача представлялась мне столь же увлекательной, сколь и трудной. Хотелось написать нечто совсем не похожее на те популярные брошюры, которые я сотнями просматривал служа в культурно-просветительном отделе «Политического кабинета». Главный недостаток всех этих брошюр заключался, с одной стороны, в том, что все они обращались менее к народу, чем к умному и оппозиционно настроенному гимназисту, с другой же, в том, что большинство из них упрощало не только изложение предмета, но и предмет изложения. Мне мечталось дать образ Соловьева во весь его рост и все же написать книжку, понятную каждому умному крестьянину. Для этого надо было найти не только особый язык, но и оттолкнуться в своем изложении от близких народу понятий. Тут сразу же возникало почти непреодолимое затруднение в определении философа – понятия, не существующего в народном сознании. Думая над тем, как бы приблизить идею философа к глазам и душам крестьян, я решил начать с уточнения трех все же живых в народном

сознании понятий святого, пророка и ученого, в смысле ученого доктора, ученого агронома, ученого инженера, работающего на фабрике или на постройке железной дороги. Уверенности в том, что мои размышления дойдут до народа, у меня не было; потому я решил проверить себя – прочесть все в том же трактире Лукина доклад о Соловьеве. Опыт оказался вполне удачным. Рассказанное мною «житие» великого человеколюбца и пророка было выслушано с большим вниманием. Особо сильное впечатление на собравшихся произвели три момента: 1) публичное требование Соловьева, чтобы Александр III, как христианин, простил убийц своего отца, которые подняли руку на Царя-Освободителя не ради личной корысти, а в защиту ложно понятых народных интересов, 2) пророчество о желтой опасности, верность которого вскрыла впоследствии Японская война и 3) его проповедь объединения церквей.

Ободренный успехом, я решил прочесть второй доклад, о Толстом. Сделать это было много легче: о Толстом понаслышке многие все же знали, он часто бывал у своих друзей в нашем уезде, да и его социальная философия была все же гораздо доступнее народу, чем Соловьевское «оправдание добра». Оба доклада вызвали горячие споры и разговоры. Дяде Ивану Соловьев нравился гораздо больше Толстого: «Соловьев глубже забирает, – ораторствовал он, – а граф напрасно народу во всем мирволит».

Рассказывая ныне о своей просветительной деятельности в Знаменке, я удивляюсь, что она вообще была возможна. В 1918–1919 годах мне и в голову не приходило этому удивляться. Очевидно, мысль, что государственной власти естественно запрещать народу всякую духовную жизнь, обжилась в моей голове лишь за последние годы, в которые большевизм упрочился

не только в России, но на свой лад и в фашистской Европе. Вера в двуединство истины и свободы все решительнее исчезает из совести и сознания человечества.

Лекции нашей просветительно-театральной комиссией устраивались сравнительно редко.

Гораздо успешней процветало театральное дело. У нас быстро подобралась труппа из крестьянской молодежи и интеллигентов-любителей. Для начала мы сыграли несколько Чеховских миниатюр, а потом перешли к Островскому.

Впервые работая с малограмотными, почти ничего не читавшими и никогда не видавшими театра парнями и девками, я был поражен тою легкостью, с которой они входили в свои роли. Не умея грамотно прочесть текста, не зная, куда девать руки и ноги, не владея дыханием, а потому и голосом, они – что самое главное – без остатка растворялись в изображаемых ими лицах.

Русский театр, в частности московский Дом Щепкина, вырос, как известно, из крепостной сцены. Быть может, этим объясняется тот исключительный дар перевоплощения, который отличает даже и среднего русского актера от его западноевропейских коллег. Пусть князь Волконский тысячу раз прав, утверждая, что французский актер много совершеннее владеет логикой и фонетикой сценической речи, чем русский; пусть психологический рисунок роли у больших итальянских трагиков и самых крупных немцев, по своей глубине и отчетливости иной раз и превосходит русские проникновения в тайны человеческой души, самого нерва театра, детского дара перевоплощения, на западе бесконечно меньше, чем у нас. В этом еще не растраченном детстве мне чудится великое наследие тех крепостных лицедеев, которые, играя в барских театрах, ощущали свою игру не профессией, не забавой,

а вполне реальным для них выхождением из своего темного, бесправного жития в новую и светлую жизнь, как бы неким художественным предвосхищением своего социально-бытового и душевно-духовного освобождения. Быть может, и та страсть к театру, что залила Россию в первые революционные годы, объясняется той же народною жаждою быстрого социального восхождения. За правильность этой гипотезы говорит, во всяком случае, и нелюбовь деревни к пьесам из крестьянского быта и бесспорное пристрастие деревенских лицедеев к ролям из господской жизни. Нет, не только зрелищ, наряду с хлебом, жаждет революционная масса, но и игры. Быть может, игры даже больше чем зрелищ.

Ради воспитания труппы и развлечения зрителей и Знаменского комитета, я решил пригласить настоящего актера. Мой выбор пал на известного комика Малого театра, блестящего рассказчика Владимира Федоровича Лебедева. Он без труда мог заполнить собой весь вечер и показать в доступной народу занятной форме образцы настоящего искусства. Я тут же написал Лебедеву, который весьма охотно согласился приехать к нам. В качестве гонорара ему было предложено: фунт русского масла и баранья ножка.

Со станции я привез Владимира Федоровича прямо к нам, в Ивановку. Для редкого гостя мы, не щадя нашего небольшого запаса сухих дров, хорошо натопили столовую. Серафима Васильевна сварила мясные щи и большой горшок крутой гречневой каши (обыкновенно мы ели только жиденькую размазню). Масла мы не пожалели – жертвовали все, кто сколько мог. В то время как Серафима Васильевна готовила обед, Николай Сергеевич, у которого оставался еще маленький запас спирта (подарок знакомого бактериолога) таинственно ворожил в спальне.

Войдя после нетопленного вагона и двухчасовой езды в розвальнях в теплую комнату и увидев накрытый безукоризненно, белой скатертью стол, посреди которого красовался графин с красновато-лиловатой жидкостью, Владимир Федорович пришел в самое прекрасное настроение. Серафима Васильевна разлила щи и щедрою, материнскою рукою разложила по тарелкам кашу, Николай Сергеевич наполнил рюмки. Чокнулись – выпили. Поднеся ко рту первую ложку каши, Лебедев вдруг точно замер от удивления: «с маслом, с маслом» воскликнул он так, как разве только утопающий мог воскликнуть: «берег, берег».

– Благодарю вас, благодарю, – подошел он, с одному ему свойственным комизмом жеста и мимики, к ручке Серафимы Васильевны, – благодарю всех, – обвел он стол своим умным, соколиным глазом, -– за радушие и гостеприимство. Сегодня Аркашка действительно «Счастливцев».

Каша была и впрямь на редкость вкусна, мы уже давно не ели такой. Это была не каша, а музыка, вальс «Невозвратное время». Все мы знали, что легкомысленный пир будет нам стоить неделю сухоедения. Но это никого не смущало. В дни революции мы все тосковали по праздничным выходам из серых буден.

Вечер прошел оживленно и уютно. Владимир Федорович, которого все знали только по сцене, оказался весьма умным и зорким наблюдателем жизни и очень интересным собеседником.

Был он в тот вечер, что называется, в большом ударе. Оно и понятно. Попасть в зиму 20-го года из нервной, тесной, грязной Москвы, опозоренной человеконенавистническими плакатами и декретами, в тихие, чистые снега, в просторный деревенский дом, в дружеский круг сплоченной интеллигентной семьи, было все равно, что во сне очутиться в старой дореволюционной России.

Характерно, что как раз в Ивановке не столько теоретически, сколько практически «приявшей», как стали говорить впоследствии, революцию, живее и дольше сохранялся облик дореволюционной России, чем где бы то ни было по соседству. Те из помещиков, что упорно отказывались хоронить старый мир, лишались и возможности наследовать ему.

Особенно был поражен духом и обиходом нашей деревенской жизни мой сослуживец по Государственному показательному театру Василий Григорьевич Сахновский.

Времени его приезда я точно не помню. Помню только, что это было летом и в большой праздник. Скорее всего, Сахновский был у нас на Троицу в 1921-м году. Ждал я Василия Григорьевича, с которым очень сдружился, с радостью и нетерпением. Часто поглядывал на барометр. Хотелось, чтобы Ивановка как раз ему, тонкому ценителю скромной красоты среднерусской природы и любителю деревенской жизни, улыбнулась своею самою милою улыбкой.

На счастье утро приезда Сахновского выдалось на редкость душевное: влажное после ночного дождя, с золотистым туманом в ложбине над речкой. Запрягая уже отъевшуюся в ночных лугах лошадь в нашу самодельную двуколку, я хозяйственно наслаждался починенной Николаем Сергеевичем сбруей и новыми вожжами, которые я ради торжественного выезда принес с чердака.

В широко разъезженных колеях и еще не просохших лужах лежали плотные куски бирюзового неба. Молодая, недавно вымененная на бриллиантовое кольцо, лошадь чувствовала себя так же счастливо, как и я Бодро пофыркивая, она весело оглядывалась по сторонам. Ей, очевидно, нравилась ее новая деревенская служба.

Было условлено, что Сахновский со станции пойдет пешком, а я выеду с таким расчетом, чтобы встретить его на полпути. Подъезжая к Троицкой горе, я уже издали увидел его широкоплечую фигуру, бодро шагавшую мне навстречу. Когда я подъехал к нему, он с веселым лицом человека, оставившего позади себя все свои заботы и волнения, вскочил в двуколку и мы покатили под гору.

– Боже, как у вас хорошо в деревне и как непостижимо спокойно, будто нет ни Москвы, ни революции.

Хотя мне, как деревенскому жителю, и было ясно, что совершающиеся в деревне процессы, по своей революционной глубине, скорее превосходят изменения городской жизни, чем отстают от них, я не стал возражать. Со времени нашего переезда в деревню я и сам как-то успокоился: потерял городское ощущение окончательной захваченности всей видимой и невидимой жизни, всех душ и вещей революционным кошмаром. В городе некуда было уйти от революции; в деревне же, выйдя за ворота нашей, быть может, и обреченной топору и огню, Ивановки, и, пройдя мимо горластой сходки, можно было задами выйти все в те же, что и сотни лет тому назад, ржаные поля, все к тому же над дальним лесом закату и оставшись наедине с неподвластной мятежной человеческой воле природой, почувствовать себя в мире с миром и вечностью.

По случаю приезда Василия Григорьевича, мы все, в особенности «дамы», старательно приоделись; выйдя к столу не в нашей обычной будничной замызганности и заплатанности, а в приличном, дореволюционном виде, мы все радостно ощутили свое право на заслуженный отдых и праздничное благорастворение душ и телес.

Василию Григорьевичу все были очень рады: как редкому в деревне гостю, интересному человеку и, главное,

как представителю того театрально-научного мира, которым все мы до революции жили и увлекались.

Чуткий человек и наблюдательный режиссер, Сахновский тонко чувствовал атмосферу, в которую попал и, очевидно, наслаждался ею.

– Никак не думал, что у вас будет так хорошо, – говорил он нам с Наташей за послеобеденным чаем на маленькой террасе нашего флигеля, – куда ни придешь, всюду одно разрушение, а у вас нет – у вас на старом корню молодым цветом новая жизнь цветет. Такого единства традиции и революции я еще не видал. Я думаю, вы и сами не понимаете, до чего новы дух и стиль вашей жизни.

Этого мы и на самом деле не понимали. Нам было не до стилей. Мы просто жили мечтой удержать Ивановку, есть свой собственный хлеб и не служить в советских учреждениях, что нам, по нашим убеждениям, было бы очень трудно. Конечно, и хозяйствовать нам было нелегко, так как жена Андрея была певицей и гимнасткой, Наташа была курсисткой, двоюродная сестра Ольга – ученицей школы живописи, младшие – Лиза и Коля только что кончили гимназию, Андрей был педагогом, я – философом, – но тут вывозила исключительно большая практическая одаренность всех Никитиных. У них ничего не валилось из рук.

Играло в нашем, столь удивившем Сахновского процветании и еще одно обстоятельство – большие симпатии Никитиных к социализму. Я социалистом в партийном смысле никогда не был, но и не был никогда защитником крепкого капиталистического строя и буржуазной психологии.

Мы долго сидели за чайным столом и говорили о том, что в недалеком будущем в душах наиболее передовых людей должно неизбежно наступить не только разочарование в современной технократической

цивилизации, но даже и отвращение к ней. Василий Григорьевич связывал это свое предчувствие со все усиливающимся обездушением западноевропейского прогресса.

– Техника, – говорил Сахновский, – была рождена наукою. Расцвет естественных наук был порожден громадным подъемом духа, он имел своих мучеников и святых, был правдою, быть может, религиозною правдою своей эпохи. Всего этого современный мир давно не помнит. Техника становится все сложнее, а современный человек – все грубее. Через сто лет американизированный город превратится в огромную фабрику, населенную и управляемую варварами и идиотами. Вот тогда-то и начнется бегство в деревню, в которой по нашим стопам, я это серьезно говорю, начнется возрождение человека, создание новой элиты. Да и впрямь, что может быть лучше: просторный, просто обставленный дом, сад, под садом река, за ней поля – зори вечерние и утренние – хорошая библиотека, рояль или скрипка. Приезд друзей, разговор… Честный хлеб и светлый дух – вот моя пореволюционная платформа – конечно, не для масс, но для новой аристократии духа.

Ветхозаветного рая на, грешной земле люди никогда не построят, о таком рае мог мечтать лишь такой сентиментально-утопический социалист, как Руссо. Но в то, что земля подлинно Богородица есть, я вместе с Достоевским и всеми моими предками крепко верю.

Я не спорил, всё это было близко и моим собственным мыслям.

На другой день я отвез Василия Григорьевича на последний московский поезд. Возвращался я поздно, моросил дождь. Продолжая под поднятым верхом пролетки про себя разговор с Сахновским, я не предчувствовал, что скоро и впрямь настанет страшный час саморазрушения сложнейшего аппарата современной

цивилизации. Страшно подумать, что будет с нами, если заседающая сейчас в Москве конференция министров иностранных дел не справится с проблемой атомной бомбы. Но как поверить, что она справится, когда и люди и народы все усиленнее ненавидят друг друга и все менее друг другу верят.

Первою задачею, которую нам пришлось разрешать, была задача бытовой ассимиляции жены нашего, попавшего в немецкий плен, работника Петра. Умная, дельная, но обидчивая и взбалмошная женщина, служившая до нас у генеральши, которая не позволяла крестьянам пользоваться проходившей через ее усадьбу дорогой, Екатерина органически недолюбливала господ и не доверяла им. К тому же она страшно боялась, как бы ей в отсутствии мужа не сделать какой-нибудь непоправимой ошибки. По нашему предложению, она вошла вполне равноправным членом в нашу артель (прокормить себя и двух девочек без нашей помощи она никак не могла бы), но войдя, всем своим поведением казанской сироты, сознательно подчеркивала, что в сущности ничего не изменилось, что она, как была работницей, так и осталась ею, а что дальше будет – муж решит.

Петр вернулся из плена с взбаламученной душой и с головой забитой немецкой коммунистической пропагандой. Работая последние месяцы плена в батраках у богатого немецкого крестьянина, он мечтал о том, что по возвращении домой сам заведет такое же усовершенствованное хозяйство. Нас, как и всех помещиков, он надеялся не застать в деревне. То, что мы еще жили в Ивановке, разочаровало и раздосадовало его. К тому же и деревня встретила его, могилевского «чужака», отнюдь не с распростертыми объятиями. Все складывалось так, что и ему ничего не оставалось, как, скрепя сердце, войти в наше «трудовое хозяйство».

Для урегулирования и смазывания, как в бытовом, так и в политическом отношении весьма сложного механизма нашего «коллектива», мы решили каждый месяц устраивать общие заседания всех членов нашей артели. На этих заседаниях Петр и Екатерина, ради приручения которых мы главным образом и играли в демократию, чинили нам величайшие трудности не по злой воле, а просто потому, что сами не знали, как себя держать и куда подаваться. Амбиции их были велики, но и старые, рабьи инстинкты, были в них еще живы. Отобрать у нас Ивановку они, конечно, не постеснялись бы, но запросто сесть с нами за стол для равноправного обсуждения текущих вопросов хозяйства было им неловко. Если бы мы их почти что насильно не сажали, они охотнее всего стояли бы у двери. Заставить их говорить было еще труднее. Первое время они упорно молчали, заставляя нас разгадывать, о чем они молчат и чего от нас ждут. Когда это нам удавалось, их лица светлели и дело налаживалось, когда не удавалось – они мрачнели и дело запутывалось.

Со временем Мельниковы выделились, поставили себе на нашей, то есть на оставленной за нами землемером земле просторную избу, получили от нас по доброму сговору часть семенного запаса, корову и право пользоваться нашим инвентарем и лошадьми. Успешное проведение этого раздела потребовало с нашей стороны много психологической зоркости и политической осмотрительности.

Построившись, Мельниковы праздновали новоселье. Мы с Наташей были приглашены особо. Стол был накрыт по-господски. Обед (помню только зайца под сметаной, которого Петр убил в качестве советского лесничего) был приготовлен по поварски. Видно было, что Екатерина прошла у генеральши хорошую школу и что постаралась не ударить лицом в грязь. Кудрявый,

тщательно расчесанный Петр в канареечной рубашке и плисовых шароварах ел с нами, а сияющая Екатерина прислуживала у стола. Было очень приятно смотреть на них и чувствовать, что наконец-то в их неустойчивые и завистливые души вошли покой и удовлетворение.

Крестьяне с насмешливым недоверием следили за первыми шагами нашего хозяйства. Однажды, когда я с усердием и тщательностью, которые в свое время требовал от солдат, чистил отощавшую лошадь, во двор вошел Туманов, посмотрел с минуту на мои старания и громко рассмеялся:

– Бросьте «ваше благородие», деревня не казарма, что ее голодную чистить; скребница по овсу берет, а без овса – дерет. Да и некогда вам такими пустяками заниматься.

В хозяйстве я никакой регулярной физической работы не нес, а исполнял, как надо мною шутили, функции министра иностранных дел, то есть налаживал отношения с крестьянами и советами.

Относились ко мне как в деревне, так и в волисполкоме, очень хорошо, считали меня человеком прямым, откровенным и верили мне больше, чем Андрею, которого заподазривали в скрытности и хитрости. Хитрости в Андрее никакой не было, но он был от природы до того прост и откровенен в общении с людьми, до того уступчив и услужлив (бывало со станции крестьянские мешки или каких-то старух везет, а сам подхлестывая лошадь шагает рядом), что крестьянам, не видавшим таких господ, невольно казалось, что все это неспроста, что здесь кроются какие-то свои расчеты и замыслы.

Разгадывать эти замыслы была большая мастерица вдовая мещанка Марина. То она утверждала, что Андрей поехал в волость доносить на самогонщиков, то нашептывала мужикам, что «тихоня» собирается вступить в партию, чтобы вернуть себе имение. Однажды я

из-за подобных вздорных сплетен крепко поругался с Мариной и при народе зверски накричал на нее. Результат получился неожиданный: Андрей всерьез обиделся на меня за Марину, Марина же прониклась ко мне большим уважением и временно притихла.

Как бы я кончил свою удачно начатую в пореволюционной деревне карьеру, если бы не был выслан из России (одно время я был даже председателем ивановского сельского схода), сказать трудно, но все же думаю, что менее печально, чем Андрей, которого затравили доносами и, в конце концов, все же выкурили из нашей Ивановки, как кровопийцу и крепостника.

Роли в нашем хозяйстве с самого же начала распределились легко и отчетливо. Николай Сергеевич, всегда имевший склонность к изобретениям и ремеслам, естественно взял на себя столярное и шорное обслуживание Ивановки. Его мастерская – летом в каретном сарае, зимой в бывшей комнате для прислуги, – была всегда завалена порванной сбруей, хомутами, расшатанными колесами, дырявыми мешками и всякими иными, требующими спешной починки вещами.

С изумительной ловкостью исполняя все эти работы – не было ни настоящего инструмента, ни починочного материала – Николай Сергеевич временами мечтал о каком-нибудь более творческом задании. Мечта эта привела его к затее соорудить из валявшегося в сарае лома новую двуколку: ездить в телеге было мучительно, трясло, а в дрожках по осени холодно и грязно. Двуколка, построенная на передке старой коляски, удалась на славу. Выкрашенный в черную краску, обитый красным бобриком и выстланный клеенкою кузов был не только удобен, но и наряден. Модель, созданная Николаем Сергеевичем, производила по деревням большое впечатление и служила как бы подвижною вывеской нашего хозяйства. Скромнейший Николай Сергеевич был горд и счастлив.

Полевым и молочным хозяйством руководила, постоянно обо всем советуясь с сыном, Серафима Васильевна. Она же и готовила на всю артель. Ей по очереди помогали все женщины. Охотнее всего Серафима Васильевна готовила с Наташей, но «коллектив» строго следил за тем, чтобы отдых на легкой работе в теплой кухне равномерно распределился между всеми. Как – никак психология и социология эпохи накладывали свою печать, даже и на наши индивидуалистические души.

Наиболее трудные и ответственные работы исполнял Андрей: он пахал, сеял, управлял молотилкою, следил за всем инвентарем и был единственным, который умел косить на нашей допотопной косилке.

Коля оказался нашим лучшим косцом. Было весело смотреть, как дочерна загорелый в расстегнутой спортивной рубашке он легко и размашисто клал ровные ряды душистого клевера. Наташа и Лиза делали все хорошо, но особенного совершенства достигли в трудном искусстве жнивья. Наташа славилась еще тем, что ее слушался скот, даже бедовая молодая Дочка, которая у всех постоянно опрокидывала подойники, стояла у нее во время дойки как вкопанная. Скот любит тихие души.

Прилежно, но нервно работала наша курсистка Ольга.

Не менее усердно старалась наша певица Елена. Особенно она любила навивать возы с сеном и разъезжать при всяком удобном случае по деревням: в знаменский кооператив, на почту, в Михеево менять какие-нибудь вещи на масло и яйца.

В этом смысле мы с нею были два сапога-пара, с тою только разницей, что мне постоянная гоньба разрешалась, так как это входило в мои обязанности, на Елену же смотрели иногда косо, ничего ей, впрочем,

не говоря, так как все знали, что все прогуленное с избытком возместит Андрей.

Среди однообразно-монотонных, все тем же природно-календарным колесом вращающихся работ особняком стоят в памяти ноябрьские утра, которыми мы рубили дрова для Совета (за лето и осень с этою работою не справлялись) и осенние ночи, которыми мы сторожили наш яблонный сад. Об этих, порою злых и тревожных, порою поэтических ночах, я уже несколько раз упоминал на страницах этих воспоминаний.

Сторожили мы нашу яблочную «валюту», на которую выменивали хлеб и масло и которой оплачивали все деревенские расходы, с восьми вечера до восьми утра. Львиная доля наиболее ценных зимних сортов шла стассовскому волисполкому, который ради своих интересов даже выдал нам винтовку. Эта, хотя и справедливая, но в представлении деревни все же контрреволюционная мера, естественно, крестьянам не нравилась и осложняла наше отношение с ними. Дабы задобрить наших ивановских мужиков, мы настойчиво внушали им мысль, что они, свои люди, не станут участвовать в ограблении сада вместе с дальними деревнями и щедро раздавали им за соседскую честность не только падалицу, но и снятые с дерева яблоки.

Ивановцы с добродушным лукавством охотно соглашались на эту игру в добрых соседей, но, тем не менее, подсылали ребятишек стрясать наши яблоки. Когда мы дружественно указывали им на недопустимость нарушения сговора, они без зазрения совести, все как один, отвечали, что ребята народ маломысленный, за ними-де не уследишь. Впрочем, обещали надрать вихры, а то и выпороть.

Атаки на сад велись по всем правилам военного искусства. При наступлении темноты, где-нибудь в дальнем углу, обыкновенно за забором, чтобы было легче

отступать, внезапно поднималась ложная тревога. Ломались сучья, раздавались детские голоса, свистки. Расчет этого маневра заключался в том, чтобы отвлечь внимание сторожащего от одновременно совершавшегося, по возможности, в полной тишине, наступления великовозрастных парней на лучшие яблони в другом конце сада.

Поначалу мы раза два попались на эту незатейливую удочку, но потом стали действовать осмотрительнее: выстрелив по направлению шума горохом и натравив на ребятишек собаку, мы сами прокрадывались в тихие углы сада, напряженно вслушиваясь, не хрустнет ли где-нибудь ветка, не упадет ли яблоко.

Руководил партизанами сын все той же Марины, добродушный, некрасивый и все же, как две капли воды похожий на красавицу-мать, девятнадцатилетний Степочка, который несколько раз в неделю приходил к нам на скотный двор помогать чистить коровник. Както раз, выведенный из терпения нашею сторожевою бдительностью, он, изменив голос, начал неприлично ругаться и даже грозить поджечь нас, если мы будем стрелять.

Когда я на следующее утро, придя на скотный, принялся стыдить его, он густо покраснел; поначалу долго отнекивался, но потом признался и стал объяснять, что пошутил. Чувствуя себя все же виноватым, он был особенно любезен с Наташей и даже предложил ей, улыбаясь во весь свой губошлепый рот, чтобы она выносила из-под коров, а он будет чистить вонючий телятник.

Так велась между нами и деревней революционная игра в казаки-разбойники. Бывало, впрочем, что эта игра внезапно оборачивалась настоящей революцией. Поздние осенние ночи, в которые к изгороди сада, не таясь, подъезжали решительные мужики из дальних деревень, я до сих пор вспоминаю с недобрым чувством.

Слава Богу, таких ночей было немного. В общем, длинные часы сторожевок сливаются в памяти скорее в череду созерцательных раздумий, чем человеконенавистнических страстей.

Вскочив на стук предыдущего дежурного с постели, я с еще притупленным ночным сознанием, быстро выходил в спящий сад и, перекинув ружье через плечо, сразу же направлялся в первый сторожевой обход. По зябнущему позвонку пробиралась в душу осенняя сырость, тяжесть недоспанной ночи свинцом давила на глаза. Собака послушно шла у моих ног, загадочная, как все в ночной природе и все же по-человечески близкая. Проходя под окнами дома, я с тою же повышенною чуткостью, что бывает только в предутренних снах, ощущал и теплынь спален за плотно закрытыми ставнями и теплоту своей любви ко всем усталым людям, что спят в них в ожидании окончательного приговора судьбы над их трудом и жизнью.

Обойдя дорожки и обследовав все лазы в заборе, я или забирался в шалаш под нашей самой старой и самой плодовитой яблоней «бабушкой», или садился в плетеное кресло на террасе.

Во всех ночах, в особенности же осенних ночах русской деревни, где человек больше рабствует природе, чем властвует над ней, есть нечто устрашающее душу. Никогда в жизни не испытывал я этой мистической жути с такою силою, как в памятную мне непроглядно-черную октябрьскую ночь. Ветер то стихал, то с порывистою злобою налетал на беззащитный сад; древними потопными шумами шумел низвергающийся на землю ливень; беспрестанно падали сотнями срываемые ветром яблоки.

Обрывочно, как бы сквозь сон, думая под эту космическую музыку свою неотвязную думу о революции, я – иначе, чем днем, – ощущал ее некою первозданною

зловещею ночью, единою в природе и в подсознательных недрах темной человеческой души.

Боже, с какою тоской ждал я в ту ночь рассвета. Крик петуха у нас на дворе и ответный в деревне, мычание проголодавшей коровы – эти привычные деревенские звуки воспринимались благостными обещаниями трезвого, рабочего дня, светлого избавителя от ночных мороков.

Когда я с корзиной антоновки возвращался в наш флигель, восходящее солнце, нежно румяня омытые дождем верхушки деревьев, уже пригревало скудеющий осенний мир своею родительскою лаской.

Дома у большой, заново выбеленной печки был накрыт чайный стол с увеличенной за сторожевку порцией хлеба и молока, в печке весело трещал сырой хворост. Еще чувствуя в себе гнет космической ночной тоски, я с радостью смотрел на хорошо выспавшуюся, свежую, как утро, Наташу, по-бабьи повязанную пестрым платком, в обжимке и широкой юбке.

Если я за что-либо по гроб жизни благодарен ивановской жизни, то, прежде всего, за то, что она раскрыла мне исконную связь между родящей «насущный хлеб» землей, честным «в поте лица своего» трудом и таинством брака. Думаю, что без уразумения этой связи переутоньшенному современному человеку невозможно дорасти до светлой старости и покорного приятия смертного часа.

Совсем иная картина встает перед глазами, когда вспоминаю заготовку дров для Совета. Бледно-голубое зимнее небо, тонкие еловые кресты и четкие узоры оголенных ветвей в нем, желто-бурая листва под легким слоем первого снега, острый спиртной запах распиленных стволов, румяные на морозе щеки, выбивающиеся из-под цветастых платков волосы, Лизины красные варежки, бодрое тявканье топоров, звонкие,

как всегда в лесу, голоса, смех, громкое карканье встревоженных ворон. Сколько кубических сажен полагалось нам срубить, распилить и сложить, я уже не помню. Знаю только, что даже такие опытные «лесозаготовщики», как Тумановы, с трудом справлялись с советскою нормой.

Осложнялась наша задача и без того неопытных дровосеков еще и тем, что у нас не было ни удобной одежды, ни подходящих инструментов. Рваные перчатки (кожаных варежок на всю артель была только одна пара), дырявые валенки, то и дело слетающие с топорищ топоры, тупые пилы – все это досадно затрудняло и без того трудную работу. Приступали мы к работе лишь после всестороннего взвешивания целого ряда обстоятельств: наклона дерева, его выгодного или невыгодного расположения среди соседних деревьев, направление ветра. Иной раз дело доходило до горячих, но всегда веселых споров.

Так как мы рубили деревья не подряд, а выбирая те, что похуже, то часто случалось, что подпиленное дерево запутывалось макушей в соседних деревьях. Тогда гимназист Коля, скинув куртку, с обезьяньей ловкостью лез по срубленному дереву к запутавшейся макуше и накинув на нее петлю спускал конец веревки, за который мы и тянули дерево книзу. Почему мы жалели хорошие деревья, хотя лес был уже не наш, объяснить трудно. Может быть, это все же была подсознательная надежда, что он будет нам возвращен.

Пощадили ли до конца эти деревья советские топоры – мне неизвестно. Знаю только, что при сносе нашего флигеля (волисполком перенес его, кажется, в Знаменку, где расширялась школа) был заодно срублен и наш вековой тополь.

Несмотря на успешность нашего хозяйства, жить исключительно доходами с земли и сада было невозможно.

Приходилось искать какого-нибудь подсобного заработка. Со временем таковой для всех нас нашелся. Андрей стал преподавать в Знаменской земской школе, где занятия велись только зимой. Мне посчастливилось получить в долларах небольшой аванс в Госиздате, которому я запродал свой роман и наладить через Красный крест получение нескольких посылок «Ара». Женщины стали шить куклы, которые за очень хорошие деньги сбывались в Москве. Своими добавочными достатками мы все дружно делились, но не в принудительном порядке пополнения общего котла, а на началах добровольного угощения, благодаря чему социалистическая уравниловка нашего «коммунистического» питания по временам приятно разнообразилась анархией капиталистического индивидуализма. Угощали мы друг друга не за общим столом, а у себя: мы во флигеле, Андрей с Еленой в своей комнате, Ольга, самая бедная – в своем «ателье» то есть в новой, пристроенной к флигелю избе для работника.

Чаще всего собирались у нас, и не только потому, что последние два года мы жили несколько богаче и теплее обитателей большого дома (дрова по дорогой цене нам потихоньку доставлял наш бывший работник Петр, устроившийся лесничим при Стассовском волисполкоме), но главным образом ради того «старозаветного» духа, который в нашем флигеле держался дольше, чем в большом доме, где не только в коридоре, на стульях, но и в холодной гостиной лежали мешки с семенным запасом.

Над моим письменным столом висел большой портрет Владимира Соловьева, в простенке между окнами, над полкою с книгами – портрет Шеллинга в старости, прекрасная гравюра середины 19-го века. Над большим глубоким диваном красного дерева, между двумя бронзовыми стенными лампами с молочными

шарами, так же загадочно, как некогда в Париже, улыбалась Наташе таинственная Мона Лиза.

Хотя те суровые времена, когда мы по-настоящему голодали, мерзли и, не имея ни капли керосина, сидели по вечерам при чадивших в рюмках гарного масла фитилях, были уже преодолены, мы зажигали наши любимые старинные лампы лишь в особо торжественных случаях.

В ожидании гостей я в праздничном настроении любил ходить по хорошо натопленным, мягко освещенным комнатам, вслушиваясь в тихий разговор наших старых вещей.

Книги на полках, Анина карточка в саду зоологической станции в Вилльфранш, сартский ковер, подаренный мне отцом в Коканде за два года до его смерти, серебряный бокал, – подношение «благодарных» нижегородских слушателей, фотография галицийского окопа с сидящими перед ним товарищами по батарее, прабабушкин кипарисовый ларец, – все эти вещи и карточки так бесконечно много говорили сердцу о дорогом прошлом. В этом разговоре щемящая боль о том, что все уходит, сливалась с врачующим чувством, что уходящее из жизни навсегда остается в душе. Вера в бессмертие потому и неискоренима в человеке, что вспоминать – значит воскрешать умершую жизнь.

Собираясь к нам на Рождество, на Пасху, на Наташины именины – все радовались пойти не только в гости к Степунам, но и на свидание с «мирным временем», как Николай Сергеевич упорно называл всю добольшевистскую жизнь, не без основания включая в нее и три года мировой войны.

Так как всякая сентиментальность и жалостливое оплакивание были трезвому духу Никитиных еще более чужды, чем мне, то наши свидания с «мирными временами» неизменно протекали в светлых и бодрых

тонах. Все приходили принаряженными, оживленными, благодарными, с тем легким дыханием на сердце, что дается только отдыхом от тяжелых и праведных трудов.

После длительного чаепития (крепкий настоящий чай, который мы заваривали только по большим праздникам, поднимал настроение) я обыкновенно читал что-либо вслух: иногда Тютчева, иногда Блока. Чаще же всего только что законченные главы «Николая Переслегина», которым все очень интересовались. После чтения возникали принципиальные споры, часто по поводу моей философии любви, так как каждый из нас по-своему переживал так или иначе связанный с войной и революцией духовный кризис.

Проблематика и колорит романа, естественно, вырастали, как из материала собственной жизни, так и из наблюдений над той литературно-философской средой, в которую я попал после Гейдельберга. Накануне Великой войны все мы жили кризисами – кризисом религиозного, политического и эстетически-эротического сознания. В эпохе было много беспредметной проповеди, артистической позы и эротического снобизма.

Писал я «Переслегина» с раздвоенным сердцем, то благодарно радуясь растущему во мне новому человеку, то впадая в лирический соблазн и интеллектуальные грехи моей романтической юности. Наташа в беседах и спорах о Переслегине никогда не участвовала. В глубине души веря в окончательность начавшегося во мне духовного перерождения, она суеверно охраняла его от чужих взоров. Если же и восставала против «переслегиновщины» во мне, то всегда лишь косвенно и издали, то нападая на беспредметную мистику и вольноотпущенную эротику символистов, то на идущую во вред художественной четкости, сомнамбулическую музы-

кальность блоковского стиха, с его произвольно ломающими строки скользящими цезурами, то на враждебный ей лунный свет.

До сих пор помню спор о луне, разгоревшийся у нас по поводу бальмонтовского гимна этой изменчивой царице ночи: «Наша царица вечно меняется, будем слагать перепевные строки ей, славьте ее». Все были в восторге от бальмонтовских строф. Да как будто бы и нельзя было иначе, до того таинственно прекрасна была стоявшая за окном, как полдень, светлая ночь. Только Наташа с несвойственной ей горячностью настаивала на том, что в лунном свете нет ни подлинной красоты, ни настоящей поэзии, так как в нем нет ни жизни, ни правды.

– Есть в нем, – говорила она, – нечто мертвенное и даже покойницкое, он призрачен и вероломен, он произвольно ломает формы и искажает облик вещей. В его сиянии чувствуется какая-то нездоровая экзальтация, в бросаемых им тенях, неприятная жесткая четкость и чернота.

Слушая эту, даже и для меня неожиданную импровизацию, я не возражал. Мне было ясно, что защищая солнечный свет от «лирников» и «исповедников» ночи, она подсознательно защищала светлые горизонты нашего будущего от романтически-мистических теней моего прошлого.

Тихий и внимательный ко всякой человеческой душе Андрей, немногословно, но твердо поддерживал Наташу. Единственно в чем мы с ним существенно расходились, был вопрос христианства. Революция, подорвавшая в Андрее социалистическую веру юности, лишь упрочила его атеистические убеждения.

– Как же можно верить в вочеловечившегося Бога, в историю, как богочеловеческий процесс, – сопротивлялся он мне, – когда зло повсюду явно торжествует над добром.

Оставаясь вовне ровным и светлым, Андрей внутренне все более мрачнел. Его трагедия заключалась, как мне, по крайней мере, в то время казалось, в том, что он не мог назвать ни принципа, ни имени достаточного для обоснования своего страстного протеста против творившегося в России зла, его атеистически-научному сознанию это страшное зло представлялось как бы законным этапом исторического развития.

На большие праздники и к родительским именинам к нам обыкновенно приезжала Наташина сестра Марина со своим мужем скульптором. В отличие от Андрея, Виктор был горячим спорщиком, по тону не всегда приятным, но по существу всегда интересным. Присутствие Виктора на «приемах» во флигеле придавало нашим беседам особую остроту, так как между мною и ним уже с 1910-го года шла полемика не только по вопросам политики, но и по вопросам искусства.

Начал Виктор с наивного реализма, но вскоре попал под влияние Родена, после чего стал быстро леветь. В 1912-м году он был уже на пути к отвлеченному конструктивизму.

Я, по мере сил, звал Виктора на новые пути религиозно-монументального искусства, одинаково далекие как от направленческого натурализма старого поколения, так и от мозговой игры скорее экспериментирующего, чем творящего конструктивизма. Теоретически Виктор как будто бы соглашался, но связать с моими теориями живого представления о своем будущем творчестве не мог и потому иной раз невольно раздражался на меня.

В наших спорах с Виктором, как и в обсуждении «Переслегина», всегда участвовали, хотя бы только в порядке выражения своих симпатий, все члены нашего хозяйства. Марина, как жена, и Оля, как ученица Машкова, естественно сочувствовали Виктору. Мягкий

Андрей понимал и меня и Виктора, но его всепонимание не предрешало ничьих путей.

Гостившая как-то у нас Олечка Шор, большой знаток искусства Возрождения, твердо и учено поддерживала и развивала мои идеи о пореволюционном искусстве. Она же была и постоянным защитником «Переслегина», от чрезмерно прямолинейных обвинений его в позерстве и эгоцентризме.

Родители активного участия в наших теоретических спорах не принимали, но от души радовались, что Ивановка не только всех кормит и поит, но и духовно объединяет под своей кровлей.

Наряду с оживленными «приемами» в нашем флигеле мне вспоминаются тихие вечера в столовой большого дома после помолвки Лизы Никитиной со старшим сыном профессора Тарасова, на редкость талантливым и пленительным юношей.

Как-то сразу возникшая и быстро окрепшая, в атмосфере всеобщего сочувствия, любовь молодых людей осчастливила не только родителей, но и всех нас, в особенности же Наташу, не без тайной надежды познакомившую Лизу с Сашей. От этой любви и в доме, и в саду, и на работах в поле стало как-то светлее и радостнее. Все были счастливы тем, что, вопреки козням и ужасам революции, неотменно торжествуют первозданные реальности жизни.

И снова будут свежи розы,
И первой, первая любовь.
Людьми изведанные грезы
Неведомыми станут вновь.

Особо радовали родителей и нас милая простота Лизиного девичьего облика и сдержанная целомудренность Сашиного отношения к ней. Хотя и невеста, и жених были твердо стоящими в жизни людьми, – отнюдь

не кисейная барышня и сентиментальный воздыхатель, – в их влюбленности была та старинность, которая как-то особенно шла к нашему старому дому с мезонином в яблонном саду.

Сочетание лирической дореволюционности Лизиного романа с бодрой деловитостью ее работы в условиях социальной революции укрепляло надежду, что мы не пропадем, как-нибудь да свяжем прошлое с будущим.

В последнюю неделю перед свадьбой Серафима Васильевна, Наташа, Лиза, Андрей и я подолгу засиживались в столовой. На столе уютно кипел постоянно подогреваемый самовар. То затихая, то оживляясь шел тот житейски-душевный разговор о том, о сем, а больше ни о чем, который всегда ведется между близкими людьми в тихие, но значительные часы жизни.

Женщины прилежно шили. Наташа мастерила подвенечное платье из розового кавказского шелка, каким-то чудом уцелевшего от промена на провиант. Благодарная невеста угощала овсяными лепешечками и ржаными пампушками с мятой.

В глубине души счастливая, но все же и опечаленная уходом дочери из дому, Серафима Васильевна изредка отрывалась от шитья и поднимала на дочь полный нежной заботы вопрошающий взор. Лиза краснела, и вопрос невысказанным потухал в глазах матери. Серафима Васильевна не обижалась: она знала, что это не черствость, а лишь свойственная всем ее детям стыдливость. Внимательная Наташа приходила на помощь, затевала какой-нибудь более внешний разговор. Самовар пустел и потухал. Часы били 12. Все расходились с ощущением, что вот прошел еще один из последних прощальных дней.

Не знаю, почему так случилось, что Лиза за день до свадьбы отправилась на станцию пешком, отправилась

спозаранку с увесистым мешком за плечами. На станции она узнала, что еще неизвестно, пойдет ли поезд в этот день в Москву, или нет. Недолго думая, Лиза решила идти пешком, до Москвы оставалось немногим больше, чем было пройдено: 25 верст до заставы, да верст 5 городом; с отдыхом часов 10 ходу – к вечеру можно было придти.

За ужином, после венчания (в церкви все стояли в шубах и дрожали от холода и страха, как бы религиозный обряд не повредил профессору, которому никак не подобало венчать сына церковным браком) шел полушутливый разговор о том, как состарившаяся Лиза будет рассказывать своим внучатам о «недобром» старом времени и о том, как она одна, с венчальным платьем в мешке, шла почти 60 верст пешком и как внучата будут этому удивляться.

Со времени этого разговора прошло почти 25 лет. Уже давно овдовевшая Лиза (несчастный Саша погиб в 1927 году от сыпняка во время научной командировки в Туркестан), быть может, уже бабушка. Через несколько лет она, как всякая бабушка, начнет рассказывать своим внучатам о своей молодости. Слушать милую бабушку внучата будут, конечно, с большим удовольствием, но вряд ли с удивлением. Фантастика первых лет нашей советской жизни не только не отошла в далекое прошлое, но наоборот – стала нормальным явлением не только русской, но и всей европейской жизни. С год тому назад к нам в Дрезден приехала бежавшая вместе с немецкими войсками из-под Киева закадычная подруга Наташиного детства с мужем и двадцатилетним сыном. То, что им пришлось пережить в годы «ежовщины», изничтожившей последние остатки интеллигенции и во время бегства, где пешком, где на подводах, по минным полям, под разрывами бомб, среди кровавой неразберихи партизанщины, полно такой фантастики,

наряду с которой бледнеют все страхи и трудности нашей подсоветской жизни, а Лизино паломничество на свою свадьбу по подмосковному шоссе, на котором грабили, насиловали и убивали, кажется почти что идиллическою прогулкой.

Да, в 1920-м году никто из нас еще не думал, что мы стоим только еще в начале целого цикла революций и войн, а потому и все нарастающих омрачений наших судеб. Предчувствуй мы это, мы вряд ли могли бы так горячо спорить о будущем русской культуры, как мы спорили в нашем флигеле и с тем доверием к Лизиному счастью собирать ее на новую жизнь в Москву, с каким мы ее собирали; во всяком случае, мы не могли бы так веселиться, как мы веселились, встречая 1920-й год.

Веселье родилось не сразу. Поначалу было решено не встречать Нового года, а по-будничному разойтись по своим комнатам и лечь спать. Но за вечерним самоваром обыкновенно молчаливый Николай Сергеевич неожиданно начал рассказывать, как он в первые счастливые годы после женитьбы работал вместе с «Симуней» в Обществе распространения полезных книг и о том, как вместе с антрепренером Лентовским устраивал новогоднее гулянье в городском манеже. Его живой и трогательный рассказ о старой московской жизни вызвал в каждом из нас воспоминание о своем прошлом – у всех разное и все же у всех в самом главном одинаковое.

Мне вспомнились встречи Нового года в галицийских окопах и более ранние, довоенные, начинавшиеся дома и продолжавшиеся чуть не до утра сначала на Тверской у Никитиных, а потом под Девичьим у сестер Миракли.

В связи с рассказом Николая Сергеевича возник, помнится, горячий спор о визитах. Общее мнение молодого поколения было против них, как против совершенно бессмысленных условностей. Только я поддерживал

Николая Сергеевича, бывшего в свое время большим франтом и выезжавшего с визитами всегда в шубе с бобровым воротником и в модном в те времена фетровом полуцилиндре.

– Не знаю почему, – задумчиво вспоминал свою молодость Николай Сергеевич, – но только первого января спокон веков бывала самая прекрасная погода – морозная и солнечная. Извозчики, в особенности же лихачи, выезжали на отдохнувших лошадях, в новых поддевках и шапках. Захудалые «Ваньки» отсыпались на «нарах». От резвой езды по чистому, как будто по заказу из год в год выпадавшему к Новому году снегу на душе становилось как – то хорошо и весело. Весело бывало и во всех домах, куда ни приедешь: прислуга встречает радостно, в ожидании щедрых чаевых, барышни-невесты рассказывают о счастливых предсказаниях своих полуночных гаданий, мамаши слушают и умиляются. Все, даже старики чего-то ждут: во всех домах легкое настроение, особая новогодняя беспечность. Может быть оно и впрямь, как говорит Андрюша, под Новый год нечего праздновать, но только Новый год всегда был в Москве большим праздником.

Произнесенная Николаем Сергеевичем не без поэтического волнения речь переубедить наших оппонентов, конечно, не могла, но все же создала настроение, в котором никак нельзя было идти спать.

Лиза первая предложила не расходиться, а по старой традиции встретить Новый год. Все сразу же согласились. Шел уже одиннадцатый час. Наташа с Лизой поспешили в кухню печь, не щадя последней пригоршни белой муки, старорежимные блинчики. Николай Сергеевич затворился в спальне и с вдохновением принялся сооружать новогодний напиток. В его распоряжении были: жидкий чай, искусственный клюквенный сок, сахар, немного спирту и три гвоздички – по его мнению

вполне достаточное количество припасов для приготовления великолепного пунша образца 1921-го года.

Пока одни готовили угощения, другие прибирали комнаты. К половине двенадцатого столовая и гостиная были приведены в свой дореволюционный вид: чехлы с мебели сняты, мешки с семенами вынесены.

Когда все было готово, все разошлись по своим комнатам – переодеться. Наташа, Лиза и Елена, будто сговорившись, появились в столовой в светлых летних платьях ампир. Я, под стать Наташе, оделся Онегиным: светлые брюки в клетку, желтый жилет и черный сюртук, вместо галстука – кружевное жабо. Когда все были в сборе, Николай Сергеевич внес свой пунш.

Он тоже нарядился: на нем были фрачные брюки и жилет и белый полотняный пиджак. Под мышкой официантская салфетка. Со своими горячими карими глазами и тщательно подстриженной седеющей эспаньолкой он живо напоминал гарсона южно-французского кафе.

Подняли стаканы. Я произнес короткую речь о смысле празднования Нового года. В отличие от всех церковных празднеств, защищал я празднование 1-го января – мы славим под Новый год не какое-либо религиозное событие, а неугасимую в нас веру в то, что наша быстротечная жизнь непрестанно жаждет встречи с вечностью, жаждет укрепления в новом духовном здоровье и жаждет окрылений новым счастьем. Поднимая новогодний бокал, мы как бы отрекаемся от несовершенных обличий прожитых нами лет и желаем себе и другим их преображения в совершенные облики вечности.

Символические явства, как мы ни старались растянуть наслаждение, были скоро съедены и выпиты. Бее в самом веселом, в самом новогоднем настроении, перешли в гостиную. Не успела Елена подойти к роялю,

чтобы по общей просьбе спеть свою любимую песню: «Степь да степь кругом расстилается»… как в кухне раздался сильный стук в дверь. Все переглянулись – первая мысль у всех была одна и та же – «обыск». Андрей бросился в кухню: «Кто там?» – «Не бойтесь, ряженые». Мы с облегченным сердцем впустили гостей: в кухню с шумом и гамом ввалилось несколько деревенских парней в вывороченных тулупах, с бородами из пакли, с лицами, вымазанными сажей и свекольным соком и с длинными, вырезанными из редьки зубами между растопыренными губами.

За парнями появились более благообразные ряженые в черных масках. Среди них нетрудно было узнать вероятных зачинщиков поездки – нашего певца-землемера и напудрившего свои длинные черные волосы доктора с его милой женой.

Счастливое «избавление от опасности» и привезенная землемером бутылка контрабандного спирта, тут же переработанная в две с половиной бутылки сладкой наливки, до того подняли наше и без того прекрасное настроение, что пению, пляскам и смеху не было конца.

Так текла наша, хотя и полная трудов и лишений, но не лишенная своеобразных радостей и духовных интересов жизнь. Считать ее характерной для того, что в годы военного коммунизма происходило в большинстве помещичьих усадеб средней полосы России, никак нельзя; у нас были особо благоприятные условия: мы были молоды, трудоспособны, умны и смелы в обращении с советской властью; кроме того, мы пользовались, как демократы и социалисты, симпатиями и защитой председателя волисполкома, бывшего эсера и кооператора.

Несмотря на сравнительно хорошее отношение к нам местных властей и постепенное усовершенствование

хозяйства, жить становилось все труднее, так как из окружающей жизни все заметнее исчезало все нам близкое и нам подобное: последние люди и облики добольшевистской России.

В 18-м, а может быть даже и в 19-м годах, мы еще всем домом ездили к пасхальной заутрене. В церкви было много народу, еще пел деревенский хор – нескладно, но старательно. Староста Иван Алексеевич в новой синей поддевке стоял у свечного ящика, никого не боясь и ни от кого не таясь. В Крещение батюшка с причтом были у нас со святой водой. За чаем, после молебствия, шел откровенный «контрреволюционный» разговор. Рабская психология еще не владела деревней: уста еще не были запечатаны. Да и сама власть еще надеялась переубедить мужиков, устраивала митинги по революционным вопросам, на которых еще можно было высказываться относительно свободно.

Как-то раз, зимними сумерками, после описанного мною выше богословского поединка между уездным агитатором и кузнецом, перед нашим флигелем остановились легкие санки, из которых вышло трое батюшек. Отцы приехали посоветоваться, какую им вести линию: выступать ли на фабричном митинге безбожников, или лучше воздержаться – не подвергать своего сана осмеянию и глумлению. Впоследствии такой, хотя и осторожный, под вечер, но все же открытый приезд сразу трех священников к бывшим помещикам был бы, конечно, невозможен. Даже и Троицкий батюшка, который поначалу повел, было, православно-социалистическую линию и организовал под своим председательством швальню, в которой бабы шили рубахи и белье для красноармейцев, был заподозрен в контрреволюционных замыслах и быстро скручен по рукам и ногам. На него, которого я по пути со станции в Ивановку часто навещал не без расчета поесть запеченной в молоке

картошки, которой меня всегда гостеприимно угощала матушка, как по заказу, со всех сторон посыпались доносы. Он спал уже не раздеваясь, с узелком, собранных на случай ареста вещей у кровати. Когда прекратились службы, я сказать не могу. Помнится только, что белая Троицкая церковь, с которой было связано так много светлых и скорбных воспоминаний, стояла в последнее время с выбитыми стеклами и забитыми досками окнами. Колокола безмолствовали.

Одновременно с ликвидацией церкви ликвидировались в волости и последние остатки помещичьего класса. Происходило это у нас довольно тихо, как-то само собою. Поначалу за престарелыми сестрами Медведевыми выезжал на станцию их старый рабочий. После того как он отказался гонять «за дармоедками» отобранную им у «барышень» лошадь, сестер стал возить Ильневский староста. Когда же это и для него стало рискованно, сестры подрядили почтаря. Но и это было вскоре запрещено волисполкомом. Обреченные на безвыходное сидение в деревне (ходить пешком по тридцати верст на станцию и обратно они по старости не могли), Медведевы принуждены были переехать в Москву, уступив свое именьице обнаглевшему, «верному, старому», как они всегда говорили, слуге Гавриле.

Мы еще ездили на своих лошадях, но уже не паре в коляске, а больше на дрожках, а то и на телеге.

Добыть хоть какие-нибудь подсобные руки, чтобы распахать полдесятины под картошку, или наколоть дрова, стало после того, как крестьяне оделись в господские пиджаки и шубы, обзавелись помещичьей мебелью и поняли полную бесценность денег, окончательно невозможно. Держаться же работою только своих рук почти никто не мог. К тому же все тяжелее чувствовался чекистский надзор и политически-хозяйственный нажим новообразованных комитетов бедноты. Сидеть

по своим усадьбам становилось при таких условиях все непосильнее и рискованнее. После выселения сыновей одного из последних царских министров за слишком крепкую дружбу с деревенскими кулаками, началось почти поголовное переселение в Москву и дальше, бегство на юг. Держались только еще генеральша Болотникова с дочерью, которые не крестьянствовали, а жили скорее дачниками (их поддерживали американские посылки «Ара») и мы, которым после обмера земли московским губисполкомом, была даже выдана бумага, согласно которой мы становились арендаторами нашей собственной земли на целые 99 лет.

Чем быстрее шло вокруг нас изничтожение помещичьего класса и барского самочувствия, тем окончательнее совершалось и в нас самих как внутреннее, так и внешнее приспособление к крестьянской жизни и среде. Увидя кого-нибудь из нас в поле, на скотном дворе, в розвальнях на шоссе, вряд ли бы кто мог догадаться, что перед ним не природный крестьянин, а по нужде крестьянствующий интеллигент. Одежда, обветренные, погрубевшие лица, мозолистые, дочиста не отмывающиеся руки и дальше, глубже, круг общих забот, интересов и разговоров – всё это с каждым днем все плотнее объединяло нас с окружающей средой.

Конечно, в последней глубине наших душ потаенно продолжал существовать прежний мир, но он был железным занавесом так прочно отделен от каждодневной жизни, что мы совершенно забывали о нем, как бы теряли чувство самих себя. Кое-что, впрочем, начало постепенно меняться и за железным занавесом, в самой сущности наших душ. В жене Андрея, дочери обедневшего дворянина и властной крестьянки, понемногу стало исчезать то поэтическое, что поначалу было в ее милом, несколько провинциальном облике, в ее широко расставленных Ботичеллиевских глазах и порою так призывно звучало в ее низком, церковном голосе.

Еще глубже перепахала трудовая жизнь душу нашей художницы Ольги. Пережив два неудачных богемных романа и разочаровавшись в людях своей среды, она решила отказаться от личного счастья и творчества. Усыновив крестьянского мальчика, круглого сироту, она сразу же страстно привязалась к нему. Приемыша, взятого по совету Троицкого священника, часто приходила навещать его бабка. Вид этой новой родни, жадно пьющей чай в Ольгином «ателье», заставленном кустарной посудой и увешенном экспрессионистическими актами и натюрмортами, живо свидетельствовал о бытовом перепластовании и социально-политическом сдвиге, которые происходили по всей России.

Кое-что начало понемногу меняться и во мне самом. Взращенное нашею помещичьею жизнью в Кондрове и русскою литературой поэтическое ощущение народа, как некого душевного пейзажа (вот мы – семья, родные знакомые, няня; а вот они – деревенские, в полях, на поденной работе в саду и на дворе) стало незаметно заменяться чувством социальной однородности и человеческой близости.

Беседы с Лисициным, Фокиным, Корчагиным или Колесниковым интересовали меня уже не менее, чем довоенные разговоры с московскими философами и писателями. Малая культурность моих новых собеседников не отделяла меня от них, так как культура уже не играла в нашей жизни главенствующей роли. Продолжая в свободное время заниматься философией и даже писать, я внутренне жил другими мыслями и чувствами: заботою о хлебе насущном и страхом за жизнь своих близких и за свою собственную. Это внутреннее сближение дополнялось и внешним, бытовым. Тяжелый запах в избе уже не мешал беседе: ведь от меня самого пахло смазными сапогами, кисловатой овчиной и махоркой. А потому мне было вполне естественно, занеся

Лисицыну сапоги для починки, просидеть у него на низенькой табуретке среди груды вонючей обуви час-другой за дружеским разговором обо всем происходящем вокруг нас, или заглянуть под вечер к старику Фокину, крутому, убежденнейшему кулаку, который, невзирая ни на какие угрозы, каждую субботу зажигал перед своею тяжелою божницей рублевые свечи и, встав перед ней рядом со своей женой на красный коврик, подолгу молился о погибели проклятых большевиков. Деревня до революции недолюбливала Фокина, но после большевистского переворота начала видимо уважать его за смелость поведения и крепость нрава. Не скажу, чтобы Фокин был приятным человеком, но в цельности этого глубокого старика, помнившего еще крепостное право, было свое очарование и мне было очень интересно слушать его, хоть и пристрастные, но яркие рассказы о старых временах и настоящих господах.

Чаще, чем к другим крестьянам, заходил я к Дмитрию Муравьеву. Это был умный, желчный, еще молодой, но уже обремененный многочисленной семьей, крестьянин-интеллигент. С ранних лет он находился в непримиримой оппозиции ко всем небесным и земным авторитетам, начиная с Господа Бога и кончая своим соседом Тумановым. Как грамотей и человек очень бойкий на язык, Муравьев уже в самом начале войны приобрел некоторую популярность среди малограмотной деревенской бедноты. Во время революции он долго оставался в тени. Выдвинулся он позднее в связи с организацией комитетов бедноты. Выбранный председателем ивановского комитета, Муравьев мог оказаться для нас очень опасным, и нужно было напряжение всех сил, чтобы, отдавая ему повод, вести его на поводу. К нашему счастью, Муравьев был предельно честолюбив: хоть он и сознавал себя нашим классовым врагом, ему все же льстило товарищеское общение с господами.

Не по сознательному расчету, а по живому инстинкту самосохранения, я держал себя с Муравьевым, как «товарищ социалист», другого, правда, оттенка, чем он, но дело ведь не в оттенках, а в принципах: при доброй воле и честном отношении друг к другу можно всегда сговориться. Главная мысль, которую я внушал Муравьеву, заключалась в том, что все несоциалистические правительства всегда стремятся к власти государства над обществом, идея же социализма состоит в защите общества от посягательств государства. Развивая эту, конечно, антибольшевистскую теорию, я старался удержать Муравьева от вступления во всевозможные исполкомы, то есть правительственные органы, где он нам мог бы быть гораздо опаснее, чем в комитете бедноты. Обида Муравьева на Стассовский волисполком, куда прошли его враги, ставленники кулацких элементов, помогла мне в моем воздействии на классового врага.

Уже в годы моих лекционных разъездов по провинции, люди интеллигентски направленной психологии часто нападали на меня за свойственную мне легкость общения с представителями самых разнообразных миросозерцательных лагерей и политических группировок. Выслушивая эти нападки, я никогда не испытывал ни малейших угрызений совести, так как никогда не сомневался, что широкая открытость моей души навстречу самым разнообразным людям не имеет ничего общего с идейной беспринципностью. С годами я окончательно убедился в том, что непримиримо строгим человек должен быть только с самим собою. Могу по совести сказать, что там, где жизнь ставила меня в необходимость защиты исповедуемых мною идей, я всегда проявлял бескомпромиссную твердость. Когда на торжественном спектакле (исполнялись «Зори» Верхарна) оркестр заиграл Интернационал и весь зрительный зал,

во главе с Луначарским, встал, как один человек, мы с женою, хотя это могло очень дорого обойтись мне, не поднялись со своих кресел в ложе бельэтажа. Так же никогда не пел я, будучи до 1937 года профессором в Дрездене, и нацистского гимна: «Horst Wessel Lied». Такая принципиальность поведения вполне естественно уживалась во мне с даром перевоплощения в души инакомыслящих людей. Ни от кого не скрывая своего лица, я общался и с советскими заправилами, и с бывшими помещиками, и с коммунистическими коноводами. Ни под кого не подделываясь и ни с кем не лукавя, я как-то естественно поворачивался к каждому человеку наиболее близкой ему стороной моего существа, что, по закону сокровенной связи между всеми положительными началами жизни, давало мне, да и всем нам весьма приятные практические результаты. Лисицын по-приятельски шил мне сапоги из особо хорошей кожи, старик Фокин, инстинктивно чувствуя, что я по-своему любуюсь им, как исключительно цельным представителем сходящей с исторической сцены православно-черносотенной России, охотно давал свою молодую лошадь проехать на станцию. Генеральша Болотникова, получив американскую посылку «Ара», радушно поила меня настоящим кофе со сгущенным молоком, не в последнюю очередь, как она сама говорила, за то, что я осмеливался себя держать помещиком, приезжал к ней верхом, да еще в офицерском френче, а Муравьев, ненавидевший генеральшу лютою ненавистью и воевавший в качестве председателя Комитета бедноты с волисполкомом из-за того, что ее все еще терпят в уезде, охотно обсуждал со мною вопросы социализма и своей политической карьеры.

В последний раз я видел всех своих деревенских друзей и знакомых почти что в полном сборе на богатой свадьбе лисицынского сына.

Изо всей нашей Ивановской компании приглашения на свадьбу удостоились только мы с Наташей.

Как только начали сгущаться ранние зимние сумерки, к нашему крыльцу, оглашая деревенскую тишину давно не слышанным «помещичьим» звоном колокольчика и бубенцов, подкатила запряженная в легкие санки пара. Сытыми лошадьми, в гривы и хвосты которых были вплетены разноцветные ленты, правил сам Лисицын – особенный нам почет. Мы быстро собрались и понеслись в Знаменку.

Вокруг ярко освещенного дома Ивана Алексеевича толпилось много народу. По-деревенски не завешенные окна были облеплены любопытными бабами и взобравшимися на завалинку мальчишками: и не приглашенным хотелось посмотреть на свадьбу.

В просторной комнате, куда нас с поклоном ввел хозяин, за составленными покоем столами, покрытыми домоткаными скатертями и уставленными бутылками с самогоном (очищенной достать не удалось) чинно и даже несколько жеманно сидели наиболее уважаемые гости. За столами по стенам в два ряда стояли менее почетные люди, все более молодежь. Молодые – он в черной паре, она – в белом городском платье – сидели в красном углу под образами. Направо от них ильневский батюшка с церковным старостой, налево посаженые родители, рядом с которыми было накрыто для нас, перед нашими приборами стояла бутылка мадеры.

Прочесть молитву и благословить явства и пития уже коротко подстриженный батюшка не решился. На свадьбе он, очевидно, присутствовал уже не в качестве духовного лица, каким был в церкви, а лишь в роли рядового гражданина. Как только Иван Алексеевич усадил нас, началось беспрерывное пение и подача свадебных угощений, не столько, впрочем, подача, сколько их показ. Яствами, и то не всеми, угощали

только сидевших за столом гостей, которые, чванясь своим достатком, несмотря на недоедание, почти ничего не брали. Стоявшие у стены с любопытством и не без зависти смотрели на мимо проносимые блюда. Мне этот стиль деревенского хлебосольства, за которым, очевидно, стояла мужицкая жадность (по местному обычаю, все не съеденное на свадьбе доедали целую неделю ближайшие родственники жениха и невесты) и мужицкое тщеславие (смотрите, чего только у нас нет) был внове, и я, по-новому осмысливая известную присказку: «и я там был, мед, пиво пил: по усам текло, а в рот не попало», с любопытством следил за хозяйкой и прислуживавшими за столом женщинами, которые, ласково улыбаясь, медленно и плавно, словно картонных лебедей на балетных пирах, проносили мимо гостей многочисленные блюда с пирогами, студнями, лапшей, телятиной, бараниной, рыбой и птицей. У Лисицына к свадьбе любимого сына все нашлось. Не удивительно: сапоги Лисицын шил и чинил на всю волость, за работу же брал исключительно натурой, боясь, что ленинские деньги пропадут так же, как «керенки», которыми у его жены были изнутри оклеены все сундуки.

Крепко пахнущего политурой самогона было вволю и им радушно спаивали всех без исключения: и старых, и малых, и мужиков, и женщин. Несмотря на уже многолетнюю привычку к самогону (водка была запрещена с самого начала войны), не очень сытый народ быстро хмелел. Напившихся до бесчувствия старик Лисицын, сам красный, как рак, ласково, но непреклонно выпроваживал во двор. До полуночи пели еще довольно стройно, хотя в репертуарном отношении по-подмосковному пестро. От того прекрасного и глубокого чина предсвадебного пения, который до сих пор сохранился на окраинах России, главным образом на севере, в нашей местности не было и помину. У Ли-

сицыных пели всё подряд: и старинные свадебные величания, и фабрично-деревенские песни из тех, что распевались в наше время на чайных местах в Сокольниках, и хлесткие частушки советского образца.

Шел уже поздний час. Молодые, которые под непрерывный крик «горько», поначалу лишь целомудренно «ликовались», уже вполне откровенно целовались друг с другом, столы были отодвинуты к стенам: посреди горницы шли танцы. Вдруг за окном послышались бубенцы. «Не иначе, как Кузьма Алексеевич», – радостно воскликнул Лисицын и суетливо заспешил к дверям. Через минуту в сенях послышались громкие голоса и в комнату быстро и весело, с приплясом в плечах, вошел младший сын известного на всю волость барышника Колесникова, бывший взводный лейб-гусарского полка, красивый статный человек лет тридцати с чем-то древнерусским в лице и повадке.

Приветливо поздоровавшись с деревенской знатью и свысока кивнув мелкоте, восторженно смотревшей на него из дверей соседней комнаты, он с величественною грацией подошел к нашему столу и, задорно подмигнув мне, решительно подсел к Наташе.

На нем была канареечного цвета рубашка, очень шедшая к его смуглой красоте и темно-синяя, тончайшего сукна поддевка. Он был слегка навеселе и в том повышенном, почти что восторженном настроении, в котором четыре года тому назад несся Петровским Парком к Яру.

– Эх, Федор Степуныч, хороша у тебя жена, – сверкнул он мне через стол своими горячими глазами, – если бы продавалась на конной, никаких бы тысяч не пожалел – была бы моя.

– Не продается, Кузьма Алексеевич, – весело ответил я в тон его барышнической шутке, – сам резвых люблю.

– Знаю, знаю, потому сегодня на конной другую купил. Не лошадь – мысль. В три часа с Москвы пригнал. Одним нехороша – вислокрупая. Я этого ни у баб, ни у кобыл не люблю.

– Будет тебе озорничать, – по-дружески, но всё же наставительно прервал его Лисицын, – неужто тебе последнего уроку мало. Смотри, красавец, допляшешься, в другой раз не отвертишься… (Намек Лисицына относился к событию, недавно взволновавшему всю округу: оставленная Колесниковым девушка поднесла ему на своей свадьбе (выходила она для прикрытия греха за немилого, хворого парня) стакан вина со стрихнином. Несокрушимый Колесников выжил чудом).

Танцы в обеих комнатах становились все разбитнее и веселее. Городскую польку и чинную деревенскую метелицу уже не танцевали. Плясали только русскую; одна за другой выходили из толпы все новые и новые пары. Без умолку заливалась гармония и десятки красных ладоней дружно хлопали в такт плясовой. «Во саду ли в огороде девица – гуляла… Тра-та, тра-та тра-та-та-та, тра-та, тра-та та-та…

Во мне самом тоже все плясало: ноги сами невольно вытаптывали песенный ритм под столом. Я не выдержал, поднялся с места, подошел к жене Кузьмы Алексеевича, слегка полной, но легконогой женщине с бледным лицом и печальными серыми глазами (по всему было видно, что ей не очень легко жилось) и мы вышли на середину круга…

Плясали мы, вероятно, неплохо: Колесникова в ранней молодости славилась своим искусством. Мы с Аней на студенческих вечерах в Гейдельберге не раз получали призы за русскую. Но Колесникову что-то не понравилось в нашем искусстве. Внезапно сорвавшись со скамьи, он коршуном налетел на меня и, крикнув: «не так пляшешь, барин» – встал против своей жены.

Я много видел русской пляски и все же Колесников поразил и восхитил меня. Особенность его танца заключалась в искуснейшем чередовании замираний и взлетов всего его существа. Пока женщина, опустив взор и медленно помахивая платком в манящей руке, широким полукругом плавно удалялась от него, он, словно каменный, стоял на месте. Жили только одни глаза. Но вот она останавливается вдали от него и, опустив платок, улыбается ему. Тут Колесников мигом сбрасывает с себя сковавшее его оцепенение и, ухарски подбоченясь, весь накренясь вперед, стремительно несется к ней. Настигнув женщину, он внезапно останавливается и снова застывает в своей истуканьей неподвижности. Женщина лукаво уплывает вдаль. Фигура эта с разными вариантами повторяется много раз. В заключение Колесников встает перед своей женой на колени, кланяется ей в ноги и почтительно ведет ее к нашему столу.

Чокаясь с Кузьмой Алексеевичем угарным денатуратом и хваля за искусство, я по-простецки, но не без задней мысли спросил его, с чего это он, забубённый сердцеед и лихой кавалерист, ни с того ни с сего, при всем честном народе повалился в ноги жене: может быть, во время пляски заново влюбился в нее и, влюбившись, почувствовал, до чего виноват перед нею?

– Может оно и так, – весело встряхнул кудрями Колесников, улыбнулся и задумался. – Чужая душа потемки, а своя и совсем ночь. Но только все это должно с пьяных глаз. Во хмелю, как говорится, и курица птица и жена царица. Вот завтра протрезвлюсь и, того гляди, опять начну ее учить.

С каждым месяцем всё глубже сливаясь с крестьянской массой, мы совсем было уверовали в прочность нашего положенья в волости, как вдруг нежданно-негаданно получили из уезда приказ о немедленном

выселении чуть ли не в трехдневный срок. На родителей этот гром из только что прояснившегося неба (незадолго до приказа мы получили удостоверение о праве владения остатками Ивановки сроком на 99 лет) произвел потрясающее впечатление. Они сразу осунулись, побледнели, постарели. Андрей тоже впал в уныние: да и в самом деле – куда и с чем ехать? О получении квартиры в перенаселенной Москве не могло быть и речи. Последние драгоценности и последние деньги были давно израсходованы на хозяйство; уже выделение бывшего работника Петра Мельникова обошлось нам очень дорого.

Особенно неприятно было то, что приказ исходил из уезда. В волисполкоме мы были до некоторой степени своими людьми. В земельном отделе Московского губисполкома можно было рассчитывать на случайную встречу с кем-нибудь из только что по нужде перекрасившихся земцев, в уезде же верховодили какие-то совсем темные, безграмотные, безыдейные, а потому и особо жестокие, люди. Рассчитывать на отмену приказа было невозможно; можно было лишь попытаться добиться отсрочки его выполнения и перенесения дела в Москву. Решено было, что я на следующий день отправлюсь в уезд попытать счастья.

Собирая нужные бумаги, подмазывая в каретном сарае дрожки, засыпая лошади лишнюю осьмушку овса (все равно все пропадет), я каждым ударом сердца и каждым движением руки навсегда прощался с Ивановкою. С восторгом отчаяния прислушивался я к той прощальной музыке, которою в тот вечер для меня звучали и тихие вечерние небеса и розовеющая в них крыша нашей старенькой риги, и запахи отходящего в ночную тишину сада, и светлые перезвоны отбиваемых на деревне кос, и жалкое блеяние нашей только что вымененной овцы…

Выехал я чуть свет: над нашей речонкой стоял густой туман, на дворе, блестя и как-то ртутно лоснясь, лежала обильная роса. Ставни большого дома были еще закрыты. При выезде со двора я случайно взглянул на высокий столб с «вечевым» колоколом у нашего флигеля и с болью в сердце подумал о тех тяжелых чувствах, с которыми сегодня все члены хозяйства, а в особенности родители, услышат его призыв на работу.

Проезжая мимо Стассова, я не рукою, конечно, как в Спасских воротах в Кремле, а внутренним жестом благоговения снял шляпу перед портретом Толстого, который все еще висел в господском доме, где теперь помещался волостной исполнительный комитет.

Миновав Голицыно (светло-желтый с классической колоннадой дом на пологом зеленом холме, спокойные воды озера, одинокий, пышно-барочный лебедь над ними и в них, уже давно не стриженная живая изгородь вокруг огромного парка), я выехал на мой любимый, в четыре ряда обсаженный березами, Екатерининский большак, по которому до войны, то сдерживая, то поощряя стремительную энергию Красавчика, я скакал, бывало, в наш уездный город.

Сейчас мне не приходилось ни сдерживать, ни поощрять тощую лошадёнку, а только благодарить ее за то, что без отказу трусит под низкими, березовыми ветвями. Да я и не спешил, скорее, радовался тому, что до живописно расположенной на высоком холме последней перед городом деревни, с которой дорога круто спускалась к белому с золотыми куполами пригородному монастырю, оставалось еще целых пять верст.

Но вот и монастырь. Бесконечными огородами выезжаю на главную мощеную улицу, как-то по-игрушечному уставленную разноцветными домиками с золотыми подсолнечниками и нежными серебристыми березами в палисадниках.

Мимо старинного собора, если не ошибаюсь 15-го века, мимо базарной площади, окруженной лавками, постоялыми дворами и трактирами (до злосчастной войны 14-го года здесь кипела горячая, горластая, провинциальная жизнь) подъезжаю к земисполкому.

При виде бесконечных декретов в жиденьких из лучинок рамках и бесконечного числа засиженных мухами желтоватых бумажек на дверях и стенах во мне сразу вскипает острая ненависть к враждебной моему миру и моему душевному строю советской власти, и в сердце подымается то вдохновение борьбы, которое уже не раз спасало меня в опасные минуты жизни.

Не без труда узнаю, что председатель земельного отдела может принять меня не раньше как часам к пяти вечера. В былое время это известие не очень опечалило бы меня. Можно было бы пойти проведать известного на весь уезд барышника, молодого цыгана Фуфаева с печальными, верблюжьими глазами и посмотреть на его рысаков и битюгов, а от него заглянуть к ветеринарам, пообедать у них на низко сидящей в лопухах террасе, выходящей в старый яблоневый сад, в дальнем углу которого весело пестреют разноцветные ящички ульев…

Но что мне делать в советском центре? К кому пойти? К разоренному Фуфаеву не тянуло: его вольнолюбивая цыганская душа была, я знал, озлоблена; конюшни уже давно пусты. На ветеринарном пункте, понаслышке, бездельничали какие-то новые, мне незнакомые люди, которых одинаково приходилось бояться и как убежденных коммунистов и как продавшихся большевикам шпиков. Думал я, было, пойти к двум сестрам учительницам, с которыми случайно встретился и разговорился на каком-то собрании, но они, как бывшие эсерки и почитательницы Иванова-Разумника, были на подозрении у советской власти: пойти к ним – значило подвести их.

Пораздумав, я поехал на постоялый двор, распряг лошадь, а сам отправился отдохнуть в земскую «учительскую» квартиру. Там, в большой, пахнущей канализацией комнате, скучая, валялись на смятых койках и устало сидели за длинным, покрытым прожженною клеенкою столом, хмурые молодые люди, вызванные из волости в уезд отчасти по школьным делам, а больше по политическим доносам. Несмотря на ликующий летний день за окном, настроение в комнате было удручающе мрачное. Меня, как никому не известного, а тем самым уже и подозрительного человека, встретили с нескрываемою неприязнью.

Напившись земляничного чая с морковным пирогом и с час крепко проспав на грязноватой койке, я вышел на улицу с намерением зайти в книжный магазин просмотреть последние газеты и новейшую агитационную литературу. Просторное, светлое помещение, которым мог бы гордиться любой губернский город, было завалено книгами, журналами, главным же образом, брошюрами. По всем стенам висели статистические таблицы и схемы, изображающие политическое, административное и хозяйственное устройство союза и злые, частично очень меткие и талантливые карикатуры, среди которых мне запомнилось изображение толстейшего англичанина в цилиндре и сюртуке, с громадной сигарой в сосисчатых пальцах, того самого Уинстона Черчилля, который дружественно заседал вместе с Рузвельтом и Сталиным в Потсдамской междусоюзнической комиссии. Кто в 1920–21 году мог бы подумать о таком повороте вещей?

Просматривая какую-то юмористически-идейную брошюру, в которой небезызвестный советский автор всерьез развивая мысль о социалистической природе Кольцовского «Леса» и о буржуазном одиночестве Пушкинского «Дуба у лукоморья», я вдруг увидал у прилавка

как будто бы знакомого человека. Порывшись в памяти, я через несколько секунд узнал в опрятно, но бедно одетом благообразном покупателе всемирно известного создателя своеобразной анархо-социалистической системы этики и социологии. Обрадованный неожиданной встречей, я, было, приподнялся со стула, чтобы подойти к старцу, проживавшему в нашем городе на положении арестованной иконы революции, как мне в голову ударила мысль, что это может мне повредить. Заведующий магазином непременно заинтересовался бы моим знакомством с мировою знаменитостью и обязательно донес бы об этом знакомстве председателю земисполкома. На разбирательстве моего дела мне мог бы быть поставлен вопрос, при каких обстоятельствах я познакомился с «предателем революции», и мне пришлось бы или глупо отмалчиваться или признаваться в том, что меня познакомил с ним Борис Викторович Савинков, свою служебную и человеческую связь с которым я, конечно, тщательно скрывал. О том, что повсюду минированная шпионской сетью советская действительность помешала мне возобновить и углубить мое лишь поверхностное петербургское знакомство с великим революционером, нравственный облик которого мне всегда представлялся исполненным исключительной чистоты и благородства, я до сих пор глубоко жалею.

Насколько я хорошо помню поездку в уездный город, настолько смутно вспоминается мне посещение земисполкома. Тут все детали съедаются каким-то злым, темным пятном, среди которого ядовито желтеет надменно враждебная физиономия председателя земотдела, настаивающего на немедленном исполнении присланного по его распоряжению приказа о нашем выселении.

Видя, что логическими доводами и просительным тоном мне ничего не добиться, я решил изменить

тактику. Приняв независимый вид, я с непостижимым для себя самого апломбом заговорил о своих связях в центре (которых у меня, конечно, не было) и тут же с таким возмущением принялся на типично советском жаргоне разносить председателя за то, что он саботирует распоряжение центральной власти и тем вносит путаницу в дело построения социализма, что наглый, но безграмотный и не уверенный в себе комиссар растерялся и неожиданно выдал нужную мне бумагу с отсрочкой нашего выселения впредь до окончательного выяснения нашего вопроса в Москве.

С этим документом в кармане я в самом бодром настроении вернулся домой и на следующий же день с ранним поездом выехал в Москву.

За три года нашей жизни в деревне психология советской Москвы претерпела ряд существенных изменений. Не входя в подробности социологического анализа, можно, думается, все же сказать, что все они, в конечном счете, объясняются двумя причинами: крушением надежд советского правительства на близость коммунистической революции в Европе и полной победой советских армий над Белым движением.

При таком положении вещей большевикам ничего не оставалось, кроме временного приспособления к буржуазной Европе (в партии, вероятно, уже назревала мысль о Нэпе), а подсоветским гражданам – кроме окончательного приспособления к большевикам. Этой психологией вынужденного приспособленчества как в рядах коммунистической партии, так и в рядах ее непримиримых врагов, быстро разлагались последние остатки героического периода революции и одновременно провокационно выращивался тленный дух лицемерия и предательства своих убеждений. Всюду начиналась игра в поддавки с циничной улыбкой и камнем за пазухой.

Пока еще длился бойкот советской власти со стороны антисоветской общественности, каждому из нас было до некоторой степени ясно, кого он имеет перед собой: тайного союзника или открытого врага. С прекращением бойкота эта ясность начала постепенно затемняться. После победы красной армии над генералом Врангелем она совсем исчезла из жизни, повсюду разлилась муть. Самым стойким людям, которые в надежде, что скоро все же что-то изменится, не шли ни на какие компромиссы, не оставалось ничего, как идти на службу к «товарищам»: «кто не работает, тот не ест», а работать, кроме как в советских учреждениях, было негде.

Самою тяжелою стороною советской служебной монополии было то, что, в отличие от буржуазных «кровопийц», большевики экспроприировали не только физическую силу человека, но и все его верования и убеждения: находясь на советской службе, все должны были притворяться убежденными коммунистами. Все это и делали, но за быстро и небрежно нацепленной коммунистической маской скрывались очень разные люди, а потому и разные способы приспособления.

Не дай Бог было в Совете нарваться на честного ренегата, на вчерашнего социал-демократа, эсера, или монархиста, перешедшего к большевикам. В прошлом человек цельных и честных убеждений, такой ренегат не переносил лицемерной раздвоенности сознания, а потому не за страх, а за совесть старался как можно плотнее присосать к своему честному лицу по нужде надетую маску. Занимая ответственный пост, такая, окончательно потерявшая себя «светлая личность» всем своим бытием и поведением старалась себя и других убедить, что в переходные эпохи человеку необходимо менять свои убеждения, так как нет ничего более бессмысленного, как, проиграв битву, воинственно размахивать бутафорским мечом.

Добиться от такого человека каких-либо послаблений было совершенно невозможно, так как всяким послаблением он ослаблял себя.

Живя в Советской России, я понял, что в смутные и лживые эпохи всякий принципиальный морализм, всякая законническая честность ведет прямым путем к жестокости и даже подлости.

Еще опаснее, хотя иной раз и выгоднее было попасть в руки «оборотня». Ренегатов было в России немного: примитивный морализм не в русской природе, зато оборотни вертелись повсюду. В противоположность ренегату, оборотень – человек многомерно-артистического сознания. Поклонение новому не требует от него отречения от старого. Разнообразные жизненные обличия он так же легко совмещает в себе, как актер разные роли. С большевиками он большевик, с консерваторами – консерватор. С первыми он проливает кровь, со вторыми – слезы. И то и другое в одинаковой степени лживо, но искренне. В отличие от ренегата, некогда смотревшего на мир правым глазом, а ныне смотрящего левым, оборотни всегда смотрят на мир с перемигом: левым глазом подмигивают правому, а правым – левому. Двоя своей раскосостью мир, оборотень, двоящимся у него перед глазами миром всё глубже раздваивает свою душу. Он легко обещает просителю всякое содействие и может при случае показаться душевным человеком, но верить ему нельзя: придя в назначенный срок за ответом, ты иной раз рискуешь нарваться в твоем вчерашнем покровителе на стопроцентного большевика, который не преминет выместить на тебе минуту безответственной снисходительности.

Войдя в набитый народом земельный отдел Московского губисполкома и чувствуя всю тяжесть лежащей на мне ответственности за судьбу всей нашей

семьи, я, перед тем как начать действовать, принялся тщательно изучать сидящих за столами товарищей-чиновников. Решительность момента обостряла мою интуицию. Увидав за дальним столом пожилого человека с внушающим доверие умным и спокойным лицом, одетого в типично советскую защитного цвета тужурку, на рукаве которой я вдруг заметил пуговицу нашего старого судебного ведомства, я тут же решил, что этот человек поможет нам. Затруднение было только в том, что по наведенным мною тут же справкам, его стол не имел прямого отношения к нашему делу. Подумав, я решил подождать конца приема и атаковать «своего» человека при его выходе из присутствия.

Тщательно обдумывая свое обращение к нему, я внимательно наблюдал за своим чаемым заступником. Все яснее представлял я его себе кадетом-земцем щепкинского направления с большими связями в помещичьей среде, а теперь честным советским чиновником, лояльно служащим советской власти, но не холопствующим перед ней. Вероятно, и он был человеком раздвоенной души, но двоедушного лицемерия в нем не чувствовалось; мне верилось, что он меня внимательно выслушает и если убедится в нашей правоте, то не побоится помочь нам, поскольку это будет в его силах.

Я не ошибся. Как только я, прося извинить мою смелость, дружественно протянул ему руку и в нескольких словах объяснил суть нашего дела, а также и причину моего обращения именно к нему, между нами двумя, нашими глазами, руками, и даже между его добротною пуговицей с колонкой и короной и моим старинным кольцом с камеей сразу же установилось полное понимание друг друга; может быть, даже проскользнула и легкая заговорщицкая тень.

Обсудить дело на улице было, конечно, невозможно. Быстро просмотрев наши бумаги и документы, мой

благожелательный «товарищ» назначил мне внеприсутственный час и при прощании намекнул, что, может быть, всё еще уладится.

На следующий день после детального разговора со мною о нашей жизни и работе в Ивановке, мой покровитель вручил мне письмо к своему «коллеге по земотделу». Последний, прочтя письмо и не входя в подробности, выдал мне для представления в уезд бумагу с предписанием задержать наше выселение ввиду того, что постановление о выселении трудового коллектива Ивановки будет пересматриваться в Москве в индивидуальном порядке.

Через некоторое время Земельная комиссия губисполкома назначила слушание нашего дела. В Москву вызывались Андрей и я. Все члены хозяйства с большим волнением провожали нас в Москву. Все наперебой давали советы и указания, как держаться и что отвечать. Выдумывались самые каверзные вопросы, которые, быть может, будут нам предложены. На всякий случай Серафима Васильевна собрала и привела в порядок старые счета и документы, могущие нам понадобиться для доказательства того, что и до войны Ивановское хозяйство велось не в эксплуататорском, а скорее в полуфилантропическом порядке.

Андрей надел в дорогу свой обычный деревенский костюм: суровую блузу и брюки в сапоги. Мне подумалось, что в таком же костюме я буду чувствовать себя в Москве неестественно и потому я надел приличный пиджак и даже крахмальный воротник и галстук.

День разбирательства нашего дела в Москве был на редкость тихий, мягкий, какой-то человеколюбивый. В большой комнате земельного отдела пахло не советской общественностью, а, странным образом, утренней свежестью. На скамьях перед столом членов комиссии уже сидело несколько неустрашимых искателей

справедливости. Лица председателя комиссии и его товарищей были обыкновенными человеческими лицами. Мне сразу стало легко на душе: поверилось, что нас оставят.

Допрос длился недолго. Комиссию интересовали два вопроса: во-первых, она старалась выяснить политическую физиономию по возможности всех членов хозяйства и их отношение к служащим и крестьянам в прошлом и настоящем; во-вторых, степень нашей трудоспособности и серьезности нашего намерения кормиться с земли.

Допрашивали нас, конечно, как людей самим фактом своей принадлежности к буржуазному классу виноватых перед народом и революцией, но допрашивали не оскорбительно, без издевательства и желания унизить.

От природы бесконечно деликатный, почти что робкий, Андрей старался быть в своих ответах очень точным и добросовестным. Он говорил потому медленно, с обдумкою. Я, наоборот, давал свои показания легко и быстро, как будто ничего не тая и ничего не обдумывая. Дурные психологи, члены комиссии решили потому, что глава нашего хозяйства, Андрей лукавит, прикидывается тихоней, я же человек открытый, что в душе, то и на языке. Быть может, этому способствовал и мой откровенно буржуазный вид.

Когда Андрей на какой-то предложенный ему вопрос стал отвечать что-то уж очень обстоятельно, справляясь с записной книжечкой и беспричинно краснея, председатель прервал его просьбой не заниматься бесполезной дипломатией и обратился с тем же вопросом ко мне. Поняв, что меня считают за простачка, готового все выболтать, я решил прикидываться таковым.

На поставленный председателем вопрос, как до войны оплачивались в Ивановке служащие и поденщицы, я

уверенно отвечал, что, по-моему, слишком высоко; вынужденные беречь каждую копейку крестьяне не уважают людей нехозяйственно бросающих деньги на ветер. Не уважали они и Ивановских господ, считая их не помещиками, а дачниками, и это несмотря на то, что крестьяне с самого начала безвозмездно пользовались всем инвентарем, в особенности единственной в ближайшей округе молотилкой.

Не без удивления переглянувшись с членами комиссии, председатель спросил меня, пользовались ли приказчики и прислуга, наравне с помещиками, молоком и маслом, или все излишки молочных продуктов продавались на сторону. Отвечая на вопрос, я с иронией рассказал, что по зимам, когда все жили в Москве, от четырех молочных коров, на которых не жалели корму, еженедельно доставлялось из деревни всего только 2 бутылки сливок к кофею. Что же касается масла, то его целиком съедала дворня, даже и летом, говорил я, масло на всю семью привозили из Москвы от Чичкина, не желая входить в препирательства с ловким и хитрым приказчиком.

По существу я говорил почти то же самое, что и Андрей, и если в моем изложении верили тому, чему в его устах не верилось, то лишь потому, что я не выгораживал Андрея и его родителей, а наоборот, порицал их за сентиментальное народолюбие, малую деловитость и интеллигентски-дачное отношение к хозяйству. Порицание это отнюдь не было всего только тактическим приемом. Выросший в нашем рационально поставленном Кондровском имении, я не раз осуждал родителей жены и Андрея за чрезмерную скромность их помещичьей жизни и неуместную осторожность в обхождении с крестьянами, которым ни в чем не было отказа. Один вид выезжавшей на станцию покосившейся линейки, запряженной парой старых рабочих

лошадей, наводил на меня уныние, депоэтизировал мои воспоминания о помещичьей жизни. Но ко всем моим советам и на все мои жалобы Наташины родители оставались глухи. «Эх, Федор, – отвечал мне мой beau père, – не те теперь времена». И действительно, времена были совсем не те. Мой отец продал свое имение в Калужской губернии в 1896-м, а Ивановку Никитины купили в 1911-м году. За это время много переменилось в России. После 1905-го года в помещичьих руках оставалось всего только 15 процентов пахотной земли.

Покончив с выяснением нашей политической физиономии, комиссия перешла ко второму вопросу. Тут у нас на руках были все козыри. За три года хозяйничанья без наемного труда мы регулярно уплачивали непосильные налоги и, всегда в срок выполняя продразверстку, значительно подняли производительность Ивановки, в чем у нас было удостоверение Стассовского исполкома.

В результате наша Ивановка была оставлена за нами. Мы с Андреем триумфаторами двинулись в обратный путь. На станции нас в страшном волнении ожидали Наташа и Коля (поезд пришел с опозданием на два часа).

За версту до Ивановки при свороте с шоссе мы увидели идущих нам навстречу родителей. От приехавшего раньше нас со станции крестьянина они узнали, что поезд пришел и что мы должны скоро быть. Услышав, что мы не выселяемся, родители как-то даже растерялись от радости: Серафима Васильевна заплакала, а Николай Сергеевич перекрестился. Начались объятия, поцелуи, у всех посветлело в душе. Коля один поехал впереди на дрожках, все остальные шли пешком к нашему старому, как тогда казалось, уже навсегда обретенному дому.

После ужина мне пришлось со всеми подробностями рассказывать, как все было. Не думаю, чтобы когда-нибудь стоял на сцене актер, которого слушали бы с таким же вниманием и с таким же восторгом, как в тот вечер слушали меня. Андрей, со свойственной ему скромностью, приписывал наш успех всецело мне. Я же доказывал ему, что мы выиграли дело лишь благодаря его левым социально-политическим взглядам, малопригодным для ведения «хищнического» помещичьего хозяйства и весьма подходящим для постановки трудовой социалистической коммуны. Какой это был незабвенно прекрасный вечер: как мы все были счастливы, как любили друг друга и с какой новой радостью услышали наутро, после короткой бессонной ночи, призыв к работе нашего, иной раз чуть ли не проклинаемого колокола.

После нашей высылки в 1922 году за границу, Серафима Васильевна некоторое время еще довольно часто писала нам. Потом стала писать все реже и реже, наконец, замолчала. Через некоторое время пришло известие о ее смерти. За нею через год последовал осиротевший Николай Сергеевич. После смерти родителей трудовое Ивановское хозяйство начало быстро распадаться. В конце концов, в Ивановке остались только Андрей с женой и двумя дочерьми. Справляться одному со всем хозяйством становилось все труднее: годы непривычно тяжелой работы подорвали здоровье. В уставшем теле поднялась тоска по своей настоящей жизни ученого и педагога. Да и подросших девочек надо было учить в Москве. За переезд говорили и начавшиеся после смерти двух-трех влиятельных стариков неприятные осложнения с крестьянами.

О том, что Андрею удалось продать Ивановку и устроиться в Москве, мы только случайно узнали от вывезенного немцами сына университетского товарища Андрея. Сама же Москва уже давно молчала.

Как хотелось бы знать, что за люди живут сейчас в Ивановском доме, что они чувствуют и что думают, что говорят, сидя, быть может, за тем же столом, за которым я рассказывал о нашей победе в земельном отделе; знают ли они что-нибудь о нас и о первом владельце Ивановки, генерале Козловском, чувствуют ли они поэзию старой России, или только ненавидят ее тяжкие грехи и темные стороны? Но узнать этого нельзя.

Быть может, новая Россия, с которой мы постоянно сталкиваемся в лице новой эмиграции, более Россия, чем та, которую мы, постаревшие на Западе, все еще благодарно храним в своей памяти? Но и более настоящая она не совсем наша Россия. Значит ли это, что и мы уже не настоящие русские люди? Не думаю.

А как живут те, что работали вместе с нами в Ивановке? Думая о них, я вижу перед собой выкорчеванные пни. Но может быть, я ошибаюсь? Как знать – не вросли ли покинутые в Москве родные и друзья крепко в новую жизнь? Все неизвестно: ни до кого не дотянешься, ни с кем не перекликнешься. Иной раз душу охватывает непереносимое отчаяние.

И все же мы с Андреем недаром спасли Ивановку. Свое главное назначение она исполнила: родители умерли не на улице, не под чужой крышей, а в своем собственном, бесконечно ими любимом доме.

В начале этой главы я упоминал о том, что моя мать, несмотря на настойчивые мольбы ее второго мужа, переехать с ним в Латвию, а оттуда, быть может, и за границу, твердо решила не покидать своих детей, не искать для себя одной лучшей участи. Хотя Панечка, как мы все с детства звали нашего отчима, Павла Карловича Леппевича, скрепя сердце и подчинился маминому решению, он внутренне осилить его не мог. Его вулканической душе, его балтийской неспособности к освоению России, его либерально-капиталистическому

миросозерцанию, наконец, его больной нервной системе Советская Россия, как в своем национально-народном обличьи, так и в своей интернационалистически-социалистической идеологии была до того чужда, противна и по гроб жизни неприемлема, что жить в ней для него только и могло значить: быстрыми шагами приближаться к смерти.

Жадно глотая за ужином суп и неряшливо, злыми рывками сдирая кожу с подгнившей картошки, Панечка каждый вечер мучил мать своими безудержными проклятьями советской власти, отчаянными жалобами на бессмысленность своей службы в Главбуме, главное же упреками за то, что она своим отказом покинуть Москву губит и свою и его жизнь.

Поняв, что логические аргументы в пользу выезда для матери неубедительны, он пытался соблазнить ее воспоминаниями об их путешествиях по Европе. Мама от этих попыток страдала еще больше, чем от бурных проклятий миру и своей судьбе, но помочь ничем не могла. В ответ на нежные воспоминания Панечки и его несбыточные планы, она или молчала, или осторожно намекала на то, что, решив оставаться в Советской России, надо не мечтать о Европе, а смиряться и попытаться как можно лучше устроиться в Москве. Эти разумные речи не успокаивали Панечку, а скорее усиливали его ненависть. Атлас, над которым он ежевечерне мечтал о Европе, шумно захлопывался, свечи тушились, громадные красные кулаки угрожающе взлетали к потолку. Словно затравленный зверь по тесной клетке, метался Панечка по своей скудно освещенной маленькой кухонной лампочкой комнате, проклиная судьбу за то, что он родился в варварской России.

Человек атлетического сложения и редкого, несмотря на свою предельную нервность, здоровья, Панечка сразу же после водворения большевистской

власти, начал прихварывать и быстро сходить на нет. От недоедания появилось истощение, от истощения и постоянного волнения – расширение сердца и ослабление сердечного клапана. Совсем еще молодое для его 55-ти лет лицо вдруг состарилось: виски поседели, страшно похудевшая шея обвисла грустными мешками. В глазах появился типичный для сердечных больных испуг. Мать, с болью в сердце, отмечала все эти признаки приближающегося конца, настойчиво уговаривала лечиться, не раз вызывала нашего земского врача, милого, умного, замученного непосильной работой Лионенко, но заставить Панечку серьезно заняться своим здоровьем не могла. Да и какой смысл было лечиться человеку, умиравшему от ненависти к жизни, уйти от которой он не имел возможности?

В последний раз я виделся с Панечкой осенью 1920-го года. Сидя в столовой, мы с матерью с волнением ждали его возвращения из Москвы, куда он с утра поехал продавать фрак, смокинг и визитку, весь свой ненужный в советской жизни гардероб. Шел злой, настойчивый дождь. Мать знала, что на Панечке рваные штиблеты и страшно беспокоилась, как бы он не простудился. Поезд, очевидно, опаздывал. Но вот, наконец, послышался протяжный паровозный свисток. Минут через двадцать резко, как всегда, хлопнула калитка и на террасе послышались тяжелые шаги.

Выбежав в переднюю и взглянув на Панечку, мы сразу поняли, что с ним случилось что-то недоброе: бледное лицо было в красных пятнах, большие испуганные глаза кипели злобой, челюсти и руки тряслись.

Что с тобой? Оказалось, что спровоцированный каким-то подстрекателем Панечка крепко поругался и чуть даже не подрался с двумя покупателями пролетарского вида, предлагавшими ему за его почти новые вещи явно издевательское количество ржаной муки и русского масла.

Выросший как из-под земли милиционер тут же не только конфисковал все вещи, но и пригрозил отправить в Чека за оскорбление трудового элемента. Вся эта типичная для Сухаревских нравов история была, конечно, подстроена и, как по писаному, разыграна милицией и Сухаревскими завсегдатаями.

Вскоре после возвращения в Ивановку, я получил письмо от матери, в котором она сообщала, что, простудившись на Сухаревке, Панечка заболел воспалением легких. Вслед за письмом, шедшим чуть ли не целую неделю, пришла телеграмма с извещением о его кончине.

Было уже совсем темно, когда, выйдя в Малаховке из переполненного вагона, мы среди глухо и сурово шумевших сосен пешком двинулись к Касимовке.

Дверь нам открыл брат Липочка. Он был взволнован и растерян. На мой вопрос – как мама – он сообщил, что она находится в каком-то странном и непонятном ему настроении и внешне и внутренне неожиданно спокойна. В хлопотах о похоронах не принимает никакого участия. Почти все время сидит одна в своей комнате. Часто заходит к Панечке и подолгу остается у него. Всю жизнь мучивший ее страх перед покойниками както вдруг отошел от нее, а был еще во время тяжелой агонии столь непреооборим, что, почувствовав близкий конец, она попросила ни в коем случае не беспокоить ее и заперлась у себя в спальне. Павел умер на руках у сестер. Слава Богу, он был без сознанья и перед смертью ни разу не произнес ее имени.

Больше душевного состояния матери брата беспокоили неожиданные осложнения с похоронами. Несмотря на то, что со смерти Павла прошло уже трое суток, он всё еще лежал на смертном одре, так как получивший аванс и бутылку водки плотник всё не нес гроба. Только что бегавшая к нему Маша вернулась

с известием, что он запил, жена говорит: «надо обождать, когда проспится и начнет работать». К этим трудностям с гробом присоединилось еще то обстоятельство, что приехавший из Москвы пастор не соглашался оставаться до следующего дня, боясь, что ночью его могут вызвать к кому-нибудь из умирающих. В Москве свирепствовала злостная испанка, по мнению многих врачей – выродившаяся средневековая чума.

Брат очень просил пройти прежде всего в столовую, где сестра Маруся поит пастора кофеем, и помочь ей уговорить его остаться до следующего дня.

Уладив дело с пастором, я один, без Наташи, с мучительным ощущением холода в сердце, пошел наверх к матери. Тихо приоткрыв дверь, я увидел ее сидящую в кресле у письменного стола; на столе, мягко освещая ее всюду заметную, с тридцати лет начавшую седеть голову, горела та самая керосиновая лампа под зеленым абажуром, при которой мы еще школьниками готовили с мамой уроки. Одного взгляда на этот, несмотря на все изменения неизменный образ, было достаточно, чтобы почувствовать, что в матери действительно происходит нечто необычайное. Лицо ее было исполнено глубокой скорби, но в этой скорби не чувствовалось никакой угнетенности: лицо было устремлено вдаль и скорее просветлено, чем омрачено происшедшим. Она поднялась мне навстречу. Мы, как всегда, обнялись и трижды поцеловались. Она по-детски положила голову ко мне на плечо и тихо заплакала. Вытерев слезы сильно надушенным платком – мне сразу же пришла в голову мысль, что без такого платка у лица нельзя дышать в комнате покойника – она с нежностью посмотрела на меня и как-то торопливо сказала: «Пойдем, пойдем к нему, ты не поверишь, до чего он красив. Если бы хоть раз в жизни увидала его таким, каким увидела его после смерти, то, может быть, наша жизнь сложилась бы совсем иначе…»

Я зажег оплывший огарок в павлином подсвечнике, мама крепко взяла меня под руку и мы стали осторожно спускаться по узкой крутой лестнице.

В комнате усопшего было почти совсем темно. Лишь на комоде у изголовья неровно горела, заставленная от приоткрытого окна любимым павлиным атласом, толстая восковая свеча.

На стене у постели жутко шевелилась тень недвижной павлиной головы. Его при жизни постоянно искаженное чрезмерным волнением и почти всегда покрытое багровыми пятнами лицо, было спокойно, светло и величественно. За легко, как будто бы даже блаженно опущенными веками чудился нездешний свет. Он действительно был прекрасен.

Сидя у кровати усопшего, мама с такой просветленной печалью, с такой преданной нежностью смотрела на него, что я вдруг ясно почувствовал, что для нее он не умер, а впервые родился, впервые вошел в ее жизнь в том образе своего совершенства, которого она раньше не видела в нем…

Протрезвившийся под вечер и покаянно проработавший всю ночь, Петр Бочкин часам к десяти утра все же принес гроб.

От Бочкина пахло спиртом и политурой, от кое-как выструганного гроба – свежею сосной. Довольный собой, своей совестливостью, Петр попросил прибавки за любовь и почтение к покойному.

Брат отсчитал щедрую прибавку и очень просил Бочкина вернуться через час с кем-нибудь, чтобы помочь нам донести гроб до кладбища, которое находилось в полуверсте от дачи. Петр согласился и тут же попросил опохмелиться.

Переложение многодневного покойника в гроб требовало большого навыка и больших сил. У нас ни того ни другого не было. Приподнятое с постели тело

оказалось непомерно тяжелым и сильно тронутым тлением. Голова запрокинулась. Нездешний свет под веком погас, окоченевшие локти долго не укладывались в узкий и мелкий гроб. Все это было таким страшным посрамлением таинства смерти и вчерашнего величественного покоя на лице умершего, что меня до сих пор как огнем жгут эти воспоминания. Слава Богу, что мама всего этого не видала.

Когда стали выносить гроб, выяснилось, что вынести его невозможно: слишком узок был коридор, в который выходила маленькая дверь павлиной комнаты. Выносить же покойника стойком даже и в революцию постеснялись. Пришлось выставлять раму. Тяжелая рама громадного окна, выходившего в сад, была тщательно забита, замазана и сверх того заклеена бумагой. Опохмелившийся сверх меры Бочкин как нарочно двигался и действовал крайне осторожно и медленно, многословно хваля свою работу и дотошного покойника барина, который во все сам входил. Пастор нервничал, боясь опоздать на поезд.

Наконец, рама выставлена, и гроб на веревках спущен в сад.

На дворе стоял один из тех влажных пасмурных дней, которые часто бывают перед обильным снегом.

Обувшись в павлины высокие валенки, и надев на голову бархатный берет, пастор мужественно зашагал впереди по глубокому снегу, расчищать который в последние дни ни у кого не было времени. За ним на шести разнокалиберных плечах тяжело, толчками, поплыл гроб с двумя самодельными венками из сосновых и еловых веток.

За гробом первыми пошли мы с мамой, за нами все остальные. Мама снова глубоко ушла в себя. Вероятно, она ничего не видела перед собой, кроме прекрасного лица покойного Павла и ничего не чувствовала кроме моей, крепко ведущей ее руки у сердца.

Более унылого кладбища, чем то, на котором нам пришлось похоронить бедного Павла, представить себе невозможно. Начало ему положил безвестный самоубийца, неподалеку от могилы которого, за время войны начали хоронить умиравших в соседней Красковской больнице безродных солдат. В революцию к этим чужакам присоединилось несколько местных жителей, скончавшихся в тифозных бараках. Кладбище это находилось у самого шоссе за канавой: ни дерева, ни куста, ни ограды. Неглубоко врытые кресты то и дело расхищались дачниками на растопку: заборы покинутых дач были уже давно сожжены.

Вечером в темной даче царила та страшная, все заполняющая собою пустота, которая бывает в человеческом жилище только после похорон. Со смертью человека в его дом входит смерть; после похорон из дому уходит жизнь. Это еще страшнее.

Брат с женой уехали вместе с пастором. Наташа ушла к сестрам в кухню. Мы с мамой уединились в столовой. Маша наскоро мыла и топила павлину комнату. Маме очень хотелось, чтобы кто-нибудь из нас переночевал у Павла, ей было страшно оставить его одного. В комнате стоял очень тяжелый дух, но мы с Наташей все же решили исполнить мамину просьбу. Это была очень тяжкая ночь.

На следующий день Наташа поехала обратно в Ивановку, а я остался еще на несколько дней: надо было решить, как маме жить дальше и что предпринять, чтобы прокормить себя, младшую сестру и Машу. Никаких средств после Павла не осталось. Я ничего не зарабатывал, а у брата на руках была своя семья в пять человек.

Продумав и тщательно взвесив все немногочисленные возможности, мы решили, что самым разумным будет открыть пансион. Жить, как мама поначалу было

хотела, переводами, казалось мне, несмотря на бесспорный литературный талант мамы, делом весьма ненадежным. Уж очень большое количество не получивших специального образования женщин занималось в те годы этим трудным искусством. Более надежным заработком пансион казался мне еще и потому, что тут у матери была замечательная помощница, служившая у нас уже более 20 лет в прислугах, Мария Афанасьевна, в некоторых отношениях трудный, но на редкость верный и надежный человек.

Года три тому назад до нас дошло известие, что Маша умерла. Царствие ей Небесное, она его заслужила.

После того, как красная армия так непотребно бесчинствовала на занятой ею территории Германии, мне все живее вспоминаются наша Кондровская людская, мои солдаты сибиряки и наша Маша. Очевидно, душа не хочет верить тому, что Россия в корне переродилась, и потому она все чаще призывает светлые образы прошлого для защиты себя от страшных впечатлений настоящего.

Маше не было и 25-ти лет, когда она, только что приехавши в Москву из своей северной деревни, поступила к нам в прислуги. В ее на редкость опрятном, не по годам солидном облике – черная шубка, черный головной платок – было нечто строгое, почти что монашеское. С этим видом как-то не вязались ее безудержный заливчатый смех, которым она сразу же подкупила мать, и ее веселые, минутами даже задорные глаза: в этом смехе и в глазах чувствовалась первая в деревне затейница, плясунья и песельница.

Маша сразу же полюбилась матери и заинтересовала ее. Вскоре Маша «доверила» своей барыне, что она привезла в Москву разбитое сердце, брезгливое отвращение к мужчинам и горячую память-мечту о монастыре, под стенами которого протекло ее детство. Называть

родителей иначе как барыня и барин, Маша, по тем временам, конечно, не могла, но сознательная крестьянка и бессознательная демократка, она ухитрялась произносить эти обращения с тем чувством своего человеческого достоинства, с которым несла свою трудную работу по дому. В этом ее самочувствии не было никакой революционной неприязни к господам, скорее в нем было нечто от раскольничьего достоинства и казацкой вольницы, хотя ни к расколу, ни к казачеству, Маша, по своему происхождению, никакого касательства не имела. В годы большевистской революции Маша жила у нас уже не прислугой, а как бы сотрудницей по дому.

О своей любви к пению Маша часто и словоохотливо вспоминала, но с переездом в Москву петь перестала. Монахиня в миру, она, штопая по вечерам чулки в кухне, иногда вполголоса напевала иди акафист Богородице, или постом «Иже в девятый час», а на Пасху «Христос Воскресе».

Желая доставить ей удовольствие, мама взяла ее както на духовный концерт Синодального хора. Концерт произвел на Машу громадное впечатление. Она вернулась восторженная, умиленная и бесконечно благодарная своей барыне.

Пораженная и увлеченная Машиной восприимчивостью, мама, которая сама страстно любила музыку, решила серьезно заняться Машиным музыкальным образованием. Она сшила ей простое, но изящное черное платье и стала брать ее на симфонические концерты и в оперу. Опера, вопреки маминому ожиданию, не произвела на Машу большого впечатления: «уж очень много целуются и непонятно поют». Но к симфоническим концертам она пристрастилась, хотя переживала их далеко не с той глубиной и непосредственностью, как духовное пение.

Отрекшись от личного счастья и семейной жизни, для которой только и была создана, Маша сохранила в своей горячей душе неутомимую жажду любви и заботы. Был у нее племянник – тихий, хворый паренек, для которого она во многом себе отказывала, упорно копила деньги и которому к праздникам покупала ценные подарки. Но он жил не в Москве, а в деревне и потому всецело заполнить ее сердце не мог. Ее деятельная любовь требовала постоянной заботы о любимом существе, его постоянного присутствия, возможности ежеминутно взглянуть на него, дотронуться до него. В качестве такого существа насмешливая судьба и подбросила Маше вскоре после маминого переезда из Москвы в Касимовку голодного больного котенка. Выпестовав и откормив его, превратив жалко мяукающий комочек в гладкого дымчато-рыжеватого кота, похожего на богатого купца в енотовой шубе, Маша так привязалась к нему, что Барсик стал не только неограниченным повелителем ее сердца, но и полным хозяином нашей кухни: чтобы ладить с Машей, нельзя было не только согнать Барсика с кухонного стола, на котором он любил сидеть и смотреть, как Маша готовит, но даже и сказать о нем какое-либо недоброжелательное слово. Барсику прощалось все: не только неопрятные следы на полу, не только постоянное воровство мяса и масла из чулана, но даже и весенние похождения по соседским дворам и крышам.

Иной раз Маша за полночь ждала своего Барсика, чтобы накормить и уложить спать утомленного похождениями дон Жуана. Не дай Бог было на следующее утро преждевременно потревожить сладко спящего в своей корзине у печки лежебоку. «Не троньте его, – со страхом и почтением в голосе говаривала в таких случаях Маша, – он поздно вернулся и очень утомился, пускай как следует отдохнет».

После отъезда в 1926 году мамы и младшей сестры в Германию, Маша еще некоторое время ревниво охраняла добро своей барыни от неряшества и нечестности въехавших в дачу жильцов, но после того, как выяснилось, что мама не вернется, сняла поблизости сарай, в котором отгородила себе коморку, купила на скопленные деньги корову Дуняшу и занялась продажей молока по знакомым дачникам.

Поначалу были трудности: доносы соседей, придирки совета, но понемногу все уладилось. И вот тут-то на Машину голову чуть было не обрушилось непоправимое несчастье: заболела, очевидно, перекормленная прелым клевером, Дуняша. По совету нашего бывшего дворника Михаилы, Маша бросилась в Люберцы к ветеринару. Ветеринар за глаза прописал глауберову соль и сказал, что хорошо бы было промыть желудок, но он этого сделать не может, так как у него нет резиновой кишки.

Не достав ни в Люберецкой, ни в Малаховской аптеках глауберовой соли, Маша в отчаянии опять побежала к Михайле, где застала каких-то двух комсомольцев.

Те, выслушав ее рассказ, обещали, не то и впрямь желая помочь ей, не то издеваясь над потерявшей голову женщиной, сейчас же придти со старой велосипедной шиной и насосом и промыть корове кишки.

Обнадеженная Маша понеслась домой и принялась, в ожидании комсомольцев, растирать раздутое брюхо тяжело дышащей коровы соломенными жгутами.

Комсомольцы, конечно, не пришли. Тогда Маша решила прибегнуть к последнему испытанному средству – отслужить заздравный молебен. Поначалу это ей показалось естественно и просто. Но когда она начала медленно выводить на записке привычные слова «за здравие рабы Божией», она вдруг усомнилась, является ли Дуняша рабою Божией, или нет. Мелькнувшую

мысль утаить от священника, что рабою Божией является корова Дуняша, честная Маша, конечно, отвергла. Бросив писать, она побежала к отцу Григорию просить разъяснения и совета. Выслушав Машу, отец Григорий сказал ей, что служить молебен за здравие рабы Божией коровы Дуняши, конечно, невозможно, но что он с радостью помолится вместе с нею о том, чтобы Господь Бог услышал молитву рабы своей Марии, не лишил бы ее насущного хлеба, сохранил бы ей любимую скотину.

Кончив молитву, отец Григорий дал Маше святой воды, велел спрыснуть Дуняшу и не сомневаться, что молитва будет услышана.

На другой день Дуняше стало легче, живот спал, она подняла голову и принялась за сено.

Эту трогательную историю мы узнали в 33-м году из письма старшей сестры, которая очень любила Машу и часто навещала ее в осиротевшей Касимовке. К письму сестры была приложена написанная детским Машиным почерком записочка с обильными традиционными поклонами и кратким сообщением о своей жизни. Мама дважды вслух прочла мне записочку: в третий раз внимательно прочла ее про себя, а затем, тщательно сложив, заботливо убрала в правый ящик письменного стола, где у нее хранились самые ей дорогие письма и фотографии.

Такова была наша Маша, в компании с которой мама решила открыть пансион.

Приступая к новому делу, мама боялась не справиться с ним; боялась, что самолюбивая Маша не согласится готовить на «экономических» началах и что у нее самой не хватит необходимой для успешного ведения дела практической сноровки. Все эти опасения оказались неосновательными. Маминому тонкому пониманию людей и большой Машиной работоспособ-

ности удалось быстро создать солидное и доходное дело. Кормила мама своих пансионеров не очень обильно (у нее всегда было отвращение к обжорам), но, благодаря Машиному искусству, очень вкусно. Мы в Ивановке ели, во всяком случае, несравненно хуже.

В 1926-м году, спустя четыре года после моей высылки, маме, после долгих хлопот, удалось получить разрешение на выезд за границу. Ждали мы ее к себе в Дрезден в большом волнении, в очень сложных и противоречивых чувствах. Старшая сестра сообщала из Москвы, что дальнейшее пребывание матери в разлуке со мной грозит тяжелыми нервными последствиями. Сама же мама в своих, изумительных по легкости стиля и по графической четкости неразборчивого почерка, письмах упорно отказывалась от переезда в Европу, считая себя не вправе бросить пятерых детей в Москве, которым она была, по ее мнению, необходима. При всей сложности и даже хаотичности своих природных глубин (изо всех образов русской литературы она, пожалуй, больше всего любила Парфена Рогожина, которого замечательно читала) мама отличалась пуританской строгостью своего нравственного сознанья.

После долгой переписки, в которой мне пришлось взять ответственность за переезд на себя и написать, что мне без нее гораздо труднее жить, чем остальным детям (ей это только и хотелось услышать), мама быстро решила двинуться в путь. Ехала она не навсегда, а в мечте о падении советской власти и с твердой верой в то, что мы еще вернемся в Москву и будем все по воскресеньям собираться у нее в Касимовке.

Разрушение этой мечты было одной из главных причин трагического омрачения последних месяцев ее жизни.

Обстоятельства маминого отъезда складывались весьма удачно. Ехала она не одна, а в сопровождении

младшей сестры. Ехали они по тем временам с большими удобствами, в спальном вагоне и с остановкою в Берлине.

Мы с Наташей очень радовались, что ко дню маминого приезда у нас в Дрездене еще будет гостить мой брат Липочка с женой. Предчувствуя возможность «надрыва» в нашей встрече и боясь не справиться с ним, мы очень надеялись, что присутствие брата облегчит нам первые минуты свиданья.

Все произошло совершенно иначе, чем мы предполагали, так как телеграмма с извещением о дне и часе приезда почему-то опоздала. Недоумевая, почему нет телеграммы, мы с Наташей безвыходно сидели в нашей приспособленной для жилья конюшне при старинном офицерском особняке, который занимал мой товарищ по Гейдельбергскому университету, профессор Кронер.

Резкий захлебывающийся колокольчик у ворот, в котором я сразу же узнал мамину властную и нетерпеливую руку, раздался совершенно неожиданно. Я бросился к воротам.

Мы обнялись и мир пропал… Через секунду он опять возник: я как во сне обнимал сестру, мама – брата, его жену, сестра – Наташу, Наташа – маму и так далее, пока не исчерпались все возможные сочетания. По окончании бесконечных объятий, сопровождавшихся возгласами радости и удивления, сразу же наступили исчерпанность души и некоторое недоумение: что же делать дальше? Я взял маму под руку и повел в наш флигелек.

Посидев со всеми несколько минут, Наташа, извинившись, пошла в большой дом, чтобы наскоро приготовить более или менее парадный обед. Приехавшую сестру Маргу и жену брата она попросила помочь ей на кухне, а брата послала за покупками. Все это она сделала, конечно, сознательно: Наташа прекрасно понимала, что маму надо оставить наедине со мною.

Когда мы остались вдвоем, мама снова крепко обняла меня.

– Знаешь что, – вдруг с каким-то школьническим задором в глазах, шепнула она мне, – совсем не хочу обедать со всеми вместе, не поехать ли нам с тобою в хороший ресторан, как помнишь, мы обедали в нашей «Праге», в Ермолаевских номерах в Нижнем, или у Шварца в Риге?

Я, конечно, сразу же согласился: не согласиться было невозможно. Забежав к Наташе, которая ничуть не удивилась, я наскоро подсчитал деньги в бумажнике, которых было очень мало, принарядился и, подав маме руку, вывел ее за ворота. Пройдя несколько шагов, мы взяли автомобиль, что мне было совершенно не по средствам, и, миновав небольшой бульвар, в конце которого стоял памятник Августу Сильному, очень напоминавший фальконетовского Петра, оказались по ту сторону Эльбы на одной из совершеннейших в архитектурном отношении площадей Германии, особо милую мне тем, что на нее с Брюлловской террасы изящно и устало спускался несчастный Павел Кирсанов, один из наиболее очаровательных героев Тургенева.

Подъехав к старинной гостинице «Bellevue» и пройдя через вестибюль, в котором, развалясь в тяжелых клубных креслах, за низкими столиками, в полудреме сосали сигары холеные старики и за чашкой кофе привычно флиртовала уже снова элегантная после недавней инфляции молодежь, мы под руку вошли в только что реставрированный обеденный зал с громадными окнами на Эльбу.

Пробежав карту, мама быстро заказала одно из наших классических меню: бульон, рейнскую лососину с голландским соусом, цыпленка по-венски и полбутылки шампанского. Зная, что у меня мало денег в кармане, она на свой лад сделала все, что могла: заказала два прибора, но по одной порции каждого блюда.

Пока мы обедали, маму не покидало ее бодрое, приподнятое настроение. Она много говорила о нашем с ней прошлом, расспрашивала о нашей с Наташей жизни в Париже и Фрейбурге и особенно живо интересовалась судьбой моего «Николая Переслегина», последних глав которого она еще не знала. О Москве и России, обо всех оставшихся там, она явно избегала говорить. Это ее желание было так сильно и определенно, что и я не решался начать главного разговора о том, как же там все живут, надеются ли в связи с Нэпом на длительное улучшение положения, или уже окончательно отчаялись, похоронили свою жизнь.

После обеда в маленькой полутемной гостиной, куда мы попросили подать кофе, спущенный мамой над пережитыми в России ужасами занавес начал, вопреки ее воле, видимо подниматься: прислушиваясь к чему-то в себе, она почти совсем перестала говорить и очень рассеянно отвечала на мои вопросы. Лицо ее сразу постарело, в глазах появилась предельная усталость, но одновременно и страшное беспокойство. Я чувствовал, что оставаться в гостинице нам дальше нельзя; быстро расплатившись, я предложил пойти погулять на Брюловскую террасу, откуда раскрывался широкий вид, вплоть до гор саксонской Швейцарии.

Солнце стояло уже совсем низко, а мы с мамой все еще сидели в самом дальнем углу сквера: она подробно рассказывала мне о налете на Касимовку, о котором, боясь цензуры, писала мне лишь в самых общих чертах. Вот что я узнал из ее взволнованного рассказа.

В нашей даче во время налета жили одни женщины: мама с младшей сестрой, Маша и еще одна жилица с дочерью, носившая весьма не подходившую ко времени дворянскую фамилию. Так как брат ее, бывший конногвардеец, был недавно арестован, то и она ждала ареста.

Было уже около 11-ти часов ночи, когда в кухне внезапно раздался сильный звонок. Сестры, которая одна только и могла с необходимым присутствием духа встретить ожидавшихся чекистов, дома не было.

Мама встала, «взяла себя в руки» и со свечкой в руках пошла отворять дверь. В переднюю, молча мотнув ей в глаза ярким электрическим фонарем, вошли два человека, от которых сильно пахло самогоном. Один был губастый верзила, со скуластым зверски-детским лицом и золотыми зубами. Наружности второго мама как-то не заметила: очевидно, все дело было в губастом, которому безликий только помогал.

Налетчики заперли всех женщин в маминой спальне и, пригрозив застрелить в случае крика о помощи или попытки побега, пошли обыскивать остальные комнаты.

Сидя на своей кровати, мама замирала от страха, как бы сестра, которая должна была ежеминутно вернуться от соседей, наткнувшись на громил, не испугалась бы и не вскрикнула. Несмотря на свою сложную «карамазовскую» тяжбу с Богом, мама, по ее словам, в ту ночь горячо, «по-машиному» (Маша в слезах, крестясь, сидела на полу) молилась Богородице. Беспокоила ее и жилица, упрямая Ксения Александровна, которой во что бы то ни стало хотелось спасти старинный браслет, память матери. Сняв браслет с руки, она то спрашивала, нельзя ли его спрятать в золу в печке, то пыталась засунуть его внутрь матраца. Маме с трудом удалось отговорить ее от этих попыток: ведь громилы могли уже заметить видный браслет на руке.

К счастью, вернувшаяся сестра не растерялась, притворилась, будто верит, что происходит законный обыск, и была немедленно приведена «безликим» в спальню.

Появление сестры мама пережила как чудо: «ведь если и не убить, то могли бы совершить какую-нибудь

гнусность». После этого ей поверилось, что Божия Матерь спасает всех, и она успокоилась.

«Обыск» производился, очевидно, весьма тщательно. До возвращения громил в спальню прошло, по маминому расчету, не менее двух часов. Вернулись товарищи явно довольные: в гостиной лежали ценные персидские ковры, в буфете было еще много серебра. На радостях они, по-видимому, и выпили. Рассчитывая на ослабленность их внимания, Ксения Александровна решила попытаться спасти свой браслет. Прикрыв его рукой, она начала потихоньку передвигаться по кожаному дивану к умывальнику, у которого, покрытый полотенцем стоял кувшин с водой, в который она, очевидно, собиралась осторожно опустить свою драгоценность.

Делала она все это очень хладнокровно и незаметно, двигалась лишь тогда, когда занятые обыскиванием комнаты громилы поворачивались к ней спиной. Но у них, очевидно, и на спине были глаза. Когда Ксения Александровна была уже совсем близко от умывальника, золотозубый чуб, рывшийся в комоде, вдруг быстро обернулся к ней и прокричав: «Ты что, сволочь, ерзаешь? Мужика тебе надо или пули захотелось?» – зверски сорвал ее с дивана и отшвырнул к стене.

– Ты можешь себе представить, что мы пережили, чего натерпелись – с ужасом рассказывала мама, – и все же, поверишь ли, родной, когда все было кончено и налетчики, напившись чаю в кухне и погрузив на кем-то из леса поданную подводу все наше добро, съехали со двора, меня охватило такое чувство благодарности судьбе за чудесное избавление от смерти и такая радость освобождения от ненужных земных благ и пут, такой восторг беспредельной свободы, возможности которых я раньше и не подозревала в себе. Я вышла в сад, он был по-утреннему свеж и непостижимо прекрасен, над кореневскими полями тихо плыли розовеющие

облака, птицы пели на редкость громко, а разгромленная дача с настежь открытыми окнами, через которые выбрасывали наше добро, была так легка и духовна, что я даже усомнилась, можно ли в ней будет дальше жить. Я вернулась на дачу совершенно новым человеком. Маша готовила в кухне чай, мы с Маргой сидели у большого окна в столовой и разговаривали о налете. И вдруг я как бы свыше услышала и в первый раз понастоящему поняла, столько раз петые мною лермонтовские слова:

> И счастье я могу постигнуть на земле,
> И в небесах я вижу Бога…

Да, все это было. Поверь, я рассказываю тебе без всяких преувеличений, скорее в чувстве, что не могу выразить, как все было высоко, прекрасно, радостно.

Но не прошло и недели, как душа снова замкнулась и очерствела. Вот я тебя и спрашиваю: почему, почему же луч столь нужного мне примирения с миром и Богом только мимолетно скользнул по душе, но не остался в ней вечным светом?

Ты лучше меня знаешь мое крамольное сердце. Ты философ, верующий в смысл жизни, ты христианин: так объясни же мне, объясни – я за этим только и приехала – кто я, и что во мне происходит.

Она крепко взяла меня под руку, крепко прижалась к моему плечу и горько беспомощно заплакала.

Говорить с ней в таком состоянии было невозможно. Я, как мог, успокоил ее и сказал, что обо всем этом мы с ней еще поговорим, когда она отдохнет и придет в себя. Встав со скамейки, мы медленно пошли домой, где все уже беспокоились о нас.

Поначалу мама чувствовала себя в Дрездене ужасно, упрекала себя в том, что бросила московских детей, страдала от невозможности ежедневно, ежечасно видеть

меня, опасалась, что сестра исполнит свое изначальное намерение и вернется в Москву, боялась педантичной аккуратности и бездушной красоты своей хозяйки, шумных улиц, бесконечных автомобилей и больше всего того, что она потеряет ключ от своей квартиры.

Несмотря на то, что Германия в 1925-м году жила вполне благоустроенной, быстро входящей в свои берега жизнью, мама находила эту жизнь ужасной – скучной и убогой. Все женщины казались ей безвкусно одетыми мещанками, а мужчины – переодетыми в штатское фельдфебелями; она постоянно возмущалась западноевропейским педантизмом и поголовной жадностью к деньгам и с нежностью вспоминала своих русских бессеребреников: парикмахера Ивана Ильича (работавшего у Орлова на Тверской), который всегда стеснялся брать на чаи, а в революцию не раз выручал маму, когда у нее не хватало денег на добывание провизии для пансиона, свою портниху Марью Константиновну и нашу верную Машу. Находила она также, что во всем Дрездене нет белых телячьих котлет, а в дрезденской опере от природы поставленных голосов. Спорить с ней не приходилось: после всего пережитого в России ее нервы находились в явно расстроенном состоянии.

Через некоторое время ее настроение начало постепенно меняться. Успокоение началось с того, что, случайно познакомившись с известной в Дрездене учительницей пения, весьма своеобразной и талантливой женщиной, венгерски-цыганского облика и неукротимого темперамента, сестра решила брать у нее уроки и пока что не возвращаться в Москву. Вторым утешением было то, что, освоившись с профессурой, я стал почти ежедневно, хотя бы только на час, заходить к ней и часто бывать с ней в концертах и театрах. На моих лекциях она познакомилась с рядом интересных молодых

людей. Эта талантливая молодежь сразу же заинтересовала ее и вскрыла ей новый для нее облик послевоенной Германии. Очень скоро в ее двух комнатах (она уже жила с сестрой на знаменитом курорте Weisser Hirsch) стали появляться милые, духовно тонкие девушки, молодые женщины и юноши, иногда с томом Рильке, иногда с только что вышедшим немецким переводом моего «Николая Переслегина» в руках.

Оторванная войной и революцией от буржуазного благополучия и христиански-фарисейского миросозерцания своих родителей, сложно взволнованная Россией и коммунизмом, зачитывающаяся «Бесами» Достоевского и «Двенадцатью» Блока, отравленная героизмом войны и не находящая себе места в бездейственной веймарской демократии, жаждущая личного счастья, но не могущая надеяться на него, ввиду страшных потерь на фронте и общей бытовой и хозяйственной разрухи страны, готовая на свободные сожительства, но не согласная на отделение пола от любви и духа, молодежь эта искала у мамы, много пережившей, перестрадавшей и передумавшей, утешения и совета, а то и просто уютного чаепития и живой непринужденной, непривычной для них в их родительских домах беседы.

Исключительная мамина чуткость ко всему происходящему вокруг нее, свойственный ей дар проникновения в чужие души, ее живой, почти беллетристический интерес к сложным человеческим судьбам, ее твердость в ведении шатающихся сердец и, главное, ее юношеская, почти революционная горячность в общении с людьми и идеями, с невероятной быстротой сближали ее с жаждущими верного водительства и не находящими своего пути душами.

Следя за подъемом маминой жизни, за расцветом ее третьей молодости (вторую она переживала в годы нашего с братом студенчества) я не раз недоумевал,

как она, внутренне раздвоенная, сама с собой не справляющаяся, в сущности, ни во что твердо не верящая, могла с недоступной мне уверенностью, а подчас с самоуверенностью «раскрывать людям глаза» и вести их «по единственно правильному пути». Может быть, объяснения надо искать в том, что она только до тех пор верила себе, пока чувствовала веру людей в себя: своею постоянною горячею проповедью она спасла себя от холода своего одинокого неверия и, быть может, даже и отчаяния.

От того же одиночества спасалась она музыкой: както раз мы были с мамой на большом симфоническом концерте. Дирижировал не только знаменитый, но и вдохновенный Фуртвенглер. Последним номером программы значилась Шестая Симфония Чайковского.

Никогда не забуду, с какой предельной потрясенностью слушала мама «исповедь своей души», как она еще в Москве, после концерта Никиша, назвала предсмертное творение несчастного Чайковского.

Сначала она сидела с опущенной головой. Ее лицо было исполнено скорби и страсти. Изредка она вскидывала свою по-мужски остриженную, тщательно завитую серебряную голову. Временами начинала, сама того не замечая, дирижировать лежащей на коленях правой рукой в белом кружевном рюше, которым заканчивался узкий рукав ее сознательно старинного черного шелкового платья.

После минутного перерыва Фуртвенглер снова гипнотически простирает руки к оркестру и с его нервных тонких пальцев магически льется в зал знакомая мелодия почти сентиментального вальса, не кажущегося таковым лишь потому, что душа еще полна предшествующих трагических звуков.

Я смотрю на маму и не узнаю ее: у нее совсем молодое, просветленное лицо, скорбные глаза полны мечты об обманувшем ее счастье.

– Нет, никак не думала, сидя под револьвером громил, – говорила мне после концерта мама, – что в душе окажется столько неизжитых сил. Если бы ты знал, как меня сегодня взволновал мой любимый Чайковский. Объясни мне, что со мною происходит? Ведь тогда, в Касимовке, я реально пережила смерть. Как же понять, что, пережив это, я снова влекусь к каким-то романтическим призракам? Как я завидую твоей зрелости. Ты еще совсем молодым писал мне с фронта, что романтики лишь знают муку о вечности, но, в отличие от верующих, не знают спасения в ней. Но что же мне делать, родной, когда близость к вечности я чувствую лишь в искусстве, главным образом, в музыке, причем в Бетховене, Шумане; в Реквиеме Верди и в Чайковском в гораздо большей степени, чем в Бахе и Генделе; в церкви же, в особенности когда пытаюсь молиться, начинаю спорить с Богом и удаляться от него.

Она тяжело вздохнула и замолчала. Потом, как-то не в тон своему самобичеванию и даже с некоторым вызовом, тихо стала напевать своим все еще изумительным по тембру голосом еще звучавший в ней вальс Чайковского.

Несмотря на неожиданный подъем души и жизни, мама не переставала тосковать по Москве, вернее по оставшимся в ней детям. Из Москвы писала только одна сестра и то очень скудно и безлично. О происходящем в России из ее писем нельзя было ничего узнать. Это молчание очень удручало маму, так как она выехала в уверенности, что скоро вернется вместе с нами домой. В том, как все произойдет, она не отдавала себе отчета, но в своей безотчетной вере была решительно непоколебима. Только эта вера давала ей возможность без больших угрызений совести жить в Дрездене тою жизнью, которою она жила.

Начатая Гитлером против России война в первый раз в жизни серьезно разъединила нас. Я, вместе

со своими парижскими друзьями, оказался в лагере убежденных оборонцев; мама – в противоположном пораженческом лагере; правда, ненадолго. Как только она поняла, что «погромщику» Гитлеру, «фантазеру и истерику», как она со временем стала называть его, никогда не освободить России, она со свойственной ей решительностью, окончательно отвернулась от него и, навсегда похоронив свою мечту о возврате в Москву и о свидании с детьми, с горечью перешла на мои позиции.

Кончив работать, я каждый вечер часа на два заходил к маме (она уже давно жила с нами, так как лишенный, по политическим причинам, кафедры и права устных и печатных публичных выступлений, я не мог оплачивать отдельной квартиры для нее), выпить традиционную чашку чаю и поговорить о самом для неё близком и дорогом: о нашем с ней далеком прошлом.

Грустной нежности и горькой боли этих вечеров у круглого стола, перед большим диваном с целой галереей семейных портретов и Касимовских фотографий над ним, мне не передать никакими словами.

Грустно и больно было мне оттого, что, слушая мамины рассказы о пятилетнем Феденьке в синем полушубке, отороченном серым барашком, с которым она гуляла в Кондрове, о Феденьке-гимназисте, с которым слушала пасхальный звон на террасе в Малаховке, о Федоре-студенте, которого она навещала в Гейдельберге, и о лекторе Федоре Степуне, которого она сопровождала в Нижний Новгород и в Пензу, я всем своим существом чувствовал и понимал, что ее надо спасать от обуревающих ее воспоминаний, которые, как вампиры, высасывают из сердца последние соки жизни и ссорят ее с настоящим, которым она еще так недавно полно и заинтересованно жила. Но что я ни говорил, что ни делал – все скорее раздражало, чем успокаивало

ее. Как я ни убеждал ее прекратить неравный бой со временем, колеса которого не поворачиваются вспять, и вернуться в настоящее, она на все отвечала упреком в том, что я хочу лишить ее последней радости, ради которой она готова на любые муки.

Вспоминая последние годы нашей московской жизни, мы как-то вспомнили выступление Вячеслава Иванова в Литературно-художественном кружке, после которого мама, одно время увлекавшаяся поэтом, учинила чуть ли не настоящий скандал будущему советскому послу в Париже Потемкину за его тенденциозное и неуважительное возражение великому ученому и гениальному поэту.

– А знаешь, – сказал я, постоянно озабоченный маминым душевным состоянием, – что Вячеслав Иванов в своей поэме «Деревья» высказал, быть может, наиболее глубокие мысли на тему, о которой мы с тобой так часто говорим: на тему о двоякой памяти – созидающей и разрушающей жизнь.

– Нет, не знаю, – заинтересованно ответила мама, – прочти пожалуйста.

Я принес «Записки мечтателя» и прочел всю поэму, начинавшуюся строфой:

Ты, память, муз вскормившая, свята.
Тебя зову, но не воспоминанье…

Мама с изумительной для почти восьмидесятилетнего человека быстротой и точностью поняла трудное ивановское различие между памятью, прохладной усыпальницей наших изъятых из времени и уже вовеки нетленных в своей преображенности переживаний, и тревожащими душу воспоминаниями-привидениями, требующими возвращения в жизнь и тем грозящими ей разрушением. Но тут же, не щадя своего Вячеслава Иванова, со страстью обрушилась на его «мистическую

гигиену», на его «музей-санаторий», где по стенам благообразно развешаны картины прошлого для безболезненного наслаждения и вящего назидания потомству.

Нет, ей вечной, да еще светлой памяти не надо; она хочет воспоминаний живых, горячих, трепетных и даже разрушительных. Разрушения своей души ей бояться не приходится, так как она только тогда и живет, когда умирает от тоски по прошлому.

Этот, во всех своих подробностях навек запомнившийся мне страшный разговор, был моей последней попыткой спасти маму от наступающего на нее душевного недуга, наследственной тяжелой меланхолии. После этого разговора я подчинился маме, отказался от всякой педагогики и питал ее тем разрушительным счастьем, которого она только и жаждала. Наши вечера воспоминаний превратились для неё в наркотики; прав ли я был, я не знаю, но в те трудные и скорбные дни я не видел иного исхода ни для нее, ни для себя.

Втайне души своей мама все же ждала Божьей помощи: на ночь подолгу читая Евангелие, пыталась молиться, но не могла, так как не могла прекратить своей тяжбы со Всемогущим Богом, в любовь которого к человеку она не верила. Мои богословские размышления о связи зла со свободой воли она по-прежнему называла богословски-юридическим крючкотворством.

Несмотря на такие настроения, она охотно беседовала со священниками. Никогда не лечась, она также всю жизнь любила разговаривать с врачами. У нее часто бывал очень тонкий человек, глубокий богослов, горячий приверженец литургического движения в протестантизме, пастор де Гааз. Кроме него, заходил к ней и священник нашей дрезденской церкви, отец Михаил, человек светлой веры и горячей души, которого мама очень любила за то, что он, не пытаясь переводить ее

в православие, искренне старался облегчить ее душевные муки и благотворно действовал на ее бунтарскую душу.

О глубине и таинственности маминой связи с отцом Михаилом мы узнали уже после ее смерти. Почувствовав на утреннем молитвенном поминании, что для «дорогой Марии Федоровны» приходят последние сроки (отец Михаил был к тому времени переведен в Берлин), он прислал к нам приходскую сестру справиться о мамином здоровье и передать ей пакетик настоящего кофе, очень по тому времени ценный подарок.

Узнав о маминой смерти, о. Михаил немедленно приехал к нам и тут рассказал, что мама взяла с него слово быть на ее похоронах.

Вероятно, то тяжелое, временами явно больное душевное состояние, в котором мама находилась в последние четыре месяца до своей смерти, носит у психиатров вполне определенное латинское название. Меня это мало интересовало. Для меня мамина ненормальность заключалась в ежедневно возрастающем в ней и, в сущности, вполне мне понятном нежелании жить, а потому и в нежелании считаться с надоевшими ей правилами неискреннего человеческого общения. Наблюдая за ней, за ее замыканием в себе, я иной раз думал, не есть ли полное одиночество корень всякого безумия? Мамино одиночество выражалось главным образом в том, что она стала вдруг со всеми абсолютно откровенна и тем всех отпугивала от себя; так призванному мною врачу психиатру, который, считая ее истеричкой, неожиданно повысил на нее голос, она совершенно спокойно посоветовала бросить медицину и поступить в полицию; другому, милому, тихому, лирическому психиатру, который в таинственном полумраке своих успокоительно обставленных комнат, лечил ее смесью психоанализа и гипноза, она с лукавой улыбкой заметила,

что охотно ходит к нему и понимает, что главный двигатель его практики деньги, а основной метод – шарлатанство. Доктор так опешил, что откровенно признался мне, что мама как пациентка ему не под силу. Такие же вещи говорила она и мне и Наташе.

За последние месяцы маминой жизни между нею и мною начали складываться какие-то совсем новые отношения. Предчувствуя близость смерти, мама все нежней, все ревнивей относилась ко мне. Но несмотря на эту растущую любовь, она все ощутимее отходила от того пятидесятисемилетнего человека, которым я жил рядом с ней, и все горячее привязывалась к тому мальчику, студенту-подростку Феденьке, которого она постоянно искала, но, как ей казалось, все реже находила во мне. Иной раз в разговорах с нею я с болью чувствовал, что она скорбит о том, даже сетует на меня за то, что вот я вырос, что изменил свой внешний облик и свой внутренний мир. В такие минуты она даже и мне могла говорить вещи, в которых потом горько каялась.

Нет чувства более тяжелого, чем чувство полной беспомощности перед страданиями бесконечно дорогого тебе человека. При всей своей любви, при всем своем жизненном опыте, я ничем не мог помочь маме, а вот пятилетний Феденька, если б он только мог, верхом на палочке, неожиданно вбежать в ее дрезденскую комнату, сразу вылечил бы ее от всех бед.

Недель за шесть до смерти мне удалось уговорить маму пройтись прогуляться: уж очень хорош был осенний день, уж очень давно она не дышала свежим воздухом. По дороге я предложил зайти к соседям, милым людям, которые ей нравились и к которым она до болезни охотно заходила. Хотелось хоть на самое короткое время развлечь ее, снять с ее души постоянно лежащий на ней гнет. К моему удивлению, мама сразу же согласилась.

При входе в переднюю мы услышали приглушенное радио. Низкий женский голос пел по-французски старинную песенку, очевидно, последний куплет. «Постой, постой, – внезапно оживилась мама, передавая горничной шляпу и перчатки, – это что-то очень, очень знакомое». Войдя в гостиную, она наскоро поздоровалась с хозяйкою дома, очаровательной французской швейцаркой, известной в молодости певицей, и ее мужем, датчанином, и быстро подошла к роялю.

Ее тяжелое, уже омраченное болезнью лицо неожиданно порозовело, скорбная глубина глаз вдруг просветлела и с губ слетела пленительная улыбка. Опустив руки на клавиатуру, как будто в забытье она быстро подобрала аккомпанемент и совершенно очаровательно, игриво и грустно спела, не пропустив ни одного слова, все четыре куплета старинной французской песенки, которую она десятилетней девочкой слышала, взобравшись на дерево у забора Летнего сада, где пела знаменитая французская шансонетка.

Хозяева были в восторге, как от маминого пения, так и от живости, с которой она, после своего неожиданного выступления, рассказывала за чайным столом о своем сиротском детстве, о бесшабашных старших братьях, о старой Москве и особенно почему-то подробно о том потрясающем впечатлении, которое на балу у Сухотиных, во время мазурки (ей шел уже двадцатый год) произвело на всех присутствовавших внезапно пришедшее известие об убийстве Александра Второго.

Провожая нас, хозяева поздравляли меня с очевидно наступившим переломом болезни, с начавшимся выздоровлением. Это было, конечно, большой ошибкой. Признаком выздоровления могло бы быть лишь проявление хотя бы малейшего интереса к настоящему и будущему, а никак не полное погружение в прошлое. Ведь в этом погружении и состояла, личными мамиными

свойствами предельно обостренная общебеженская болезнь – ностальгия, особенно опасная у активных политических эмигрантов, не понимающих, что мечтательный вальс «Невозвратное время» не превратим в воинственный марш «Счастливое будущее».

Умерла мама, в сущности, без диагноза. Пользующие ее врачи не находили никакой определенной болезни. Лишь за три дня до смерти поднялась температура, начиналось как будто бы воспаление легких.

Вспоминая во всех подробностях историю маминой болезни, я не мог отрешиться от мысли, что она своим нежеланием жить сама погубила себя. Сначала она наотрез отказалась выходить из дому, говоря, что ей опротивели человеческие лица, потом отказалась выходить из своей комнаты и принимать людей у себя. Докторов она встречала страшным протестом, не отвечала на их вопросы и не разрешала выслушивать себя, говоря, что ей выздоравливать незачем.

Сильное ухудшение началось с отказа принимать пищу. Лишь хитростью и ловкостью удавалось Наташе питать ее. Изнурив себя недоеданием, мама без признаков физической болезни легла в постель. Ее расстроенный долгой жизнью, многими родами и болезнями, но от природы очень сильный и здоровый организм, длительно не подчинялся ее разрушительной воле, но постепенно начал сдаваться. Одновременно с убылью физических сил, шла убыль и душевных – не сдавались только три чувства: безумная любовь к детям, в особенности, ко мне, упорное нежелание жить и непередаваемый ужас перед смертью.

Тех замученных, испуганных глаз, с которыми она умоляла меня не засыпать, когда я на ночь устраивался у нее на диване (сестер милосердия мама к себе не допускала) мне никогда не забыть, разве только перед смертью, когда и у меня, быть может, будут такие же глаза.

Самое страшное в смерти – это предсмертное прохождение через полное одиночество.

Сидя у постели умирающей матери и навсегда прощаясь с ней, я с беспредельной тоскою смотрел на ее прекрасную голову, на ее лихорадочное лицо в высоких подушках. Спала ли она, или только делала вид, что спит, бредила ли во сне, или в тяжелой полудремоте разговаривала сама с собой – я сказать не могу.

Ничего смутного, бредового в ее последних словах не было. Но не было странным образом ни одного слова о детях и о Москве. Очевидно, мама умирала в полном отрешении от прожитой жизни, умирала в напряженном созерцании последнего, еще предстоящего ей на этой земле события: своих собственных похорон. Она шёпотом кому-то рассказывала об этом – ей виделся яркий, осенний день, обилие цветов вокруг гроба. Вероятно, ей слышалась и музыка – изредка она приподнимала голову и как будто к чему-то прислушивалась.

Последние три дня мама уже ничего не говорила, только тяжело дышала; мы думали, что она находится в бессознательном состоянии. Но это оказалось неверным: когда Наташа нагнулась к ней, чтобы поправить подушку, по ее лицу пробежала тень недовольства, как бы скорбная досада, что ей помешали в чем-то большом и важном. Мне вспомнились торжественные слова Жуковского на смерть Пушкина:

Что-то сбывалось над ним…
И спросить мне хотелось: что видит?

Хотелось спросить и мне, – я и спрашивал несколько раз – но мама молчала, быть может, от того, что предсмертные видения невыразимы на нашем человеческом языке.

Отошла мама без последнего взгляда, без последнего слова, даже без последнего вздоха, незаметно перестала дышать и погасла.

Я всем говорил и писал о тихой, безболезненной кончине, но была ли эта кончина такой – я не знаю. Ведь мы, остающиеся, переживаем смерть, как спускающийся над жизнью занавес; того же, что подымается за ним в душе умирающего нам постичь не дано. В этой непостижимости смерти и коренится наш неуничтожимый страх перед ней…

Несмотря на полицейские законы, покойница целых трое суток оставалась у нас в квартире. Со стен опустевшей комнаты на нее, без малейшего изменения лиц, смотрели портреты детей и друзей.

Сообщить о маминой смерти в Москву во время войны было невозможно, осталось невозможным и после окончания войны.

Я и днем и ночью подолгу просиживал у гроба, внимательно всматриваясь в непрерывно меняющееся лицо умершей, от которого исходил ни с чем несравнимый потусторонний холод. Эти быстрые изменения были не только разрушением знакомого лица, но и созиданием нового, более молодого, светлого и как будто бы даже более живого. Хотелось верить, что умершая **уже** видит перед собою тот кроткий, любящий Лик Божий, в который при жизни, как ни старалась, не могла поверить.

Большой помощью в эти тяжелые дни было присутствие отца Михаила; он приехал на следующий же день после смерти мамы и целую неделю прожил у нас. Не знаю, как бы я дожил до похорон без его тихих панихид и полуночных чтений.

День похорон выдался таким, каким он предчувствовался мамой: теплым, светлым, поздне-осенним днем. Просторная кладбищенская часовня была полна народу: присутствовала почти вся русская колония и все наши немецкие друзья и знакомые – профессора, художники, музыканты и очень много молодых женщин

и девушек. Все были искренне тронуты, взволнованы, многие глубоко потрясены. Безразличных посторонних лиц и обычных оживленных разговоров в конце траурной процессии на маминых похоронах не было. Это было ее большой и личной заслугой.

Хоронил я маму по протестантскому обряду, стараясь придать ему тот утраченный современностью строгий характер, за который Тютчев так любил богослужения лютеран:

> Я лютеран люблю богослуженье,
> Обряд их строгий, чинный и простой…

Короткое органное вступление, виолончельное соло Баха, проповедь бледного, строгого, узколицего пастора на душевно-близкую мне тему «Верую, Господи, помоги моему неверию» и снова Бах в исполнении органа.

Особенностью маминых аскетически-строгих похорон было то, что у изголовья утопающего в цветах гроба стоял весь просветленный, светловолосый отец Михаил.

Так как для меня всегда было нечто непреодолимо грустное и тревожное в том, что протестантизм не знает молитвы об усопшем, я испытывал большое утешение от присутствия отца Михаила. В то время, как пастор глубокомысленно говорил о трагедии маминой религиозной психологии, отец Михаил про себя молился о ее упокоении со святыми, прося Бога сотворить ей вечную память.

По окончании службы покрытый венками гроб медленно выплыл из прохладно-мрачной часовни в яркий, багряно-синий ноябрьский полдень. Перед гробом сосредоточенно шел в черном облачении пастор де Гааз, – а за гробом светлый восторженный отец Михаил. За ним мы с Наташей и самые близкие мамины

и наши друзья, не всегда одни и те же. За нами шли густой колонной все остальные.

Стоя на песчаном холмике перед открытой могилой, в которой виднелся гроб, де Гааз сказал несколько напутственных слов, прочел еще раз «Отче наш» и первым протянул руку к плетеной корзиночке, в которой находилась та сезонная смесь осенних цветов, елочьих лапок и иммортелей, которую, в оскудевшей символическим мышлением Европе, легковесно бросают в могилу, не замечая, что падающие на крышку гроба веточки не порождают отзвука могилы на наш последний обращенный к умершему прощальный привет.

За пастором стали подходить все остальные. Немцы, вслед за пастором бросали в могилу цветы и веточки, русские нагибались и бросали на крышку гроба по три пригоршни земли.

Вдруг на ярко залитом солнцем молодом дубе, под которым была вырыта мамина могила, внезапно раздалось смелое и громкое пенье какой-то неизвестной мне по имени, но с детства знакомой по мелодическому посвисту, птицы. Папа, вероятно, сразу же назвал бы ее.

Это было настолько неожиданно, что все переглянулись и стали прислушиваться к пению.

– А знаете, это ведь неспроста, – подошел ко мне отец Михаил. – Недаром Мария Федоровна родилась под Благовещение и с детства любила выпускать пташек на волю, сколько раз она мне это рассказывала. Вот она и прилетела за всех поблагодарить покойницу.

Я с глубокой благодарностью посмотрел на отца Михаила и живо увидел перед собой шумно торгующую Трубную площадь, а на ней, рядом со своими озорными братьями, страстно увлекавшимися голубиной охотой, турманами и чужаками, тихую, крутоплечую девочку с высоким умным лбом и большими печальными глазами, взволнованно покупающую на подаренный

полтинник двух жаворонков и тут же выпускающую их на волю: «летите, летите». Она никого и ничего не видит и в восторге хлопает в ладоши…

О своей любви к птицам, к их песням и крыльям, мама не раз рассказывала мне, в последний раз в день своего восьмидесятилетия, причем мне всегда казалось, что ее страстная любовь к птичьей воле была лишь обратной стороной ее ненависти ко всяческого рода угнетению. Она была не только свободолюбивым, но и анархически своевольным человеком. Всякое подчинение претило ее душе. Быть может она и Бога не принимала потому, что боялась подчиниться Ему.

Хотя мама умерла на 81-м году жизни, за четыре года до изничтожения Дрездена английскими бомбами и захвата его большевиками, то есть умерла по человеческому разумению – вовремя, ее смерть вечным мраком легла на мою душу.

Пожилой человек, теряющий мать, сразу же вплотную приближается к смерти.

Большие события часто подкрадываются неслышною поступью; вдруг пересекают дорогу. Так случилось и с нами. Отстояв в Московском Земотделе Ивановку, мы с Наташей рассчитывали на первую, после революции, спокойную зиму.

Но вот кто-то случайно принес с почты письмо от моей сестры из Москвы. Сестра писала, что в нашей комнате был обыск, но, что кроме журнала с портретом Керенского и моей статьей, ничего предосудительного не нашли; после обыска ее и некоторых жильцов допрашивали о том, у кого мы с Наташей бываем, приезжая в Москву и кого принимаем у себя.

В приписке сестра сообщала, что такие же обыски были за последние дни произведены у целого ряда философов и писателей, что по Москве ходят слухи, будто бы «религиозников» и «идеалистов» будут в ближайшее время высылать за границу, скорее всего в Германию.

Через несколько дней пришел вызов в Чека. Сразу же почувствовалось: что-то переломилось в жизни, что-то кончилось и что-то началось, но что? Как ни заманчива была высылка в свободную Европу, она все же не радовала. За годы революции душа крепко привязалась к Ивановке, к дому, к саду, ко всем ее обитателям, с которыми было столько пережито тяжелого и страшного, но и радостного, светлого. Был я также почему-то уверен, что если вышлют, мы по возвращении не застанем в живых ни моей матери, ни Наташиных родителей.

Возникали и другие вопросы: разве можно верить Чека? Разве можно знать, не сознательно ли пущен слух о высылке, чтобы вынудить откровенные признания; да и зачем высылают? Быть может, предложат взять на себя некоторые обязательства по научно-философской защите Советов перед общественным мнением Европы? Да и всех ли выпустят? Быть может, Бердяева, Булгакова, Франка в самом деле отправят за границу. При своем ярко антисоветском настроении, они все же никогда действенно не боролись с большевизмом, только писали против него; но выпустят ли меня?

По приезде в Москву я в первый же день случайно встретился с Николаем Александровичем Бердяевым. Наскоро поздоровавшись, он взволнованно, но скорее радостно, чем устрашенно, сообщил мне, что подготовляется высылка за границу целого ряда религиозных философов, экономистов-кооператоров и еще некоторых, в наших кругах мало кому знакомых лиц. Лично ему известно, что, кроме него, на допрос в Чека уже вызваны Сергей Николаевич Булгаков, профессора Франк и Ильин, Букшпанн и Гольдштейн, но что последние два, кажется, не хотят ехать и возможно добьются разрешения остаться в Москве. О том, что вызываюсь,

а потому, вероятно, высылаюсь и я, Николай Александрович еще не знал. Когда я сообщил ему, он посоветовал зайти к приват-доценту Мише Гольдштейну, который располагает, как он слышал, некоторыми дополнительными сведениями. Идти за этими сведениями, однако, не понадобилось. На следующее утро уже вся Москва знала все подробности: и то, кто высылается, и то, что в немецком посольстве уже получены визы, и даже то, какие высылаемым будут предложены вопросы на допросе в Чека. Отправляясь на Лубянку, я, таким образом, уже знал, что буду, по всей вероятности, спрошен: 1) о моем отношении к советской власти, 2) к учению Карла Маркса и Ленина, 3) к смертной казни и 4) к эмиграции. Сведения эти были весьма утешительны: анкетно-идеологический допрос был лично для меня гораздо менее опасен, чем расследование моего социального происхождения и политического послужного списка в годы войны и революции: тут я мог бы легко попасть в очень затруднительное положение.

На допрос мы с Наташей двинулись пешком: спешить было некуда, да и хотелось как можно дольше побыть вдвоем. Как всегда в трудную и опасную минуту жизни, Наташа была вполне спокойна и сдержана, но внутренне очень взволнована. Дорогой мы почти не говорили друг с другом. За ночь все уже было продумано, решено и сказано.

В переднюю Чека, куда, странным и по нынешним временам непонятно либеральным образом, впустили вместе со мной и не вызываемую на допрос Наташу, мы просидели, может быть, час, а, может быть, и два. Помнится, за нами никто не следил, и мы вполголоса разговаривали друг с другом. Какой-либо особой зловещности в атмосфере не чувствовалось.

По истечении каких-то сроков, ко мне подошли два вооруженных человека и предложили последовать

за ними. Наташина просьба, нельзя ли ей присутствовать при допросе, была отклонена. Все же ей было разрешено ждать моего возвращения в передней.

Меня вели очень долго. Мы из третьего этажа спускались во второй и из второго снова подымались в третий; мне казалось, что мы по нескольку раз в разных направлениях, проходили мимо одних и тех же дверей. Очень хотелось спросить, с чего это мы крутим по лабиринтам, но я воздержался: лица моих спутников не располагали к интимной беседе.

В конце концов, меня привели в небольшую комнату, из которой я не раньше, как часа через два, попал в соседнюю, где за канцелярским столом сидел довольно простоватый человек лет тридцати, с вялым лицом, слегка вьющимися волосами и, как впоследствии выяснилось, с раненою на войне ногою. Какой-либо неприязни он ко мне, видимо, не испытывал. После обыкновенного установления дат рождения, происхождения и образования, он подал мне лист, на котором были напечатаны три вопроса, мне уже известные: 1) каково ваше отношение к Советской власти, 2) каково ваше отношение к смертной казни и в 3) каково ваше отношение к эмиграции?

Дух, стиль и, до некоторой степени, даже содержание ответов мною были уже продуманы. Я решил отвечать вполне откровенно, но мягко, без задора и каких бы то ни было резкостей, не как политический борец, каким я себя после провала Февраля уже не считал, а как пассивный, но честный и неподкупный созерцатель происходящих событий.

Придерживаясь такого решения, я и написал:

1) как гражданин Советской федеративной республики, я отношусь к правительству и всем партиям безоговорочно лояльно; как философ и писатель, считаю, однако, большевизм тяжелым заболеванием народной души и не могу не желать ей скорого выздоровления;

2) протестовать против применения смертной казни в переходные революционные времена, я не могу, так как сам защищал ее в военной комиссии Совета рабочих и солдатских депутатов, но уверенность в том, что большевистская власть должна будет превратить высшую меру наказания в нормальный прием управления страной, делает для меня всякое участие в этой власти и внутреннее приятие ее – невозможным;

3) что касается эмиграции, то я против нее: не надо быть врагом, чтобы не покидать постели своей больной матери. Оставаться у этой постели естественный долг всякого сына. Если бы я был за эмиграцию, то меня уже давно не было бы в России.

Не помню, чтобы мои ответы вызвали какое-либо неудовольствие, или удивление со стороны следователя, если он вообще таковым был. Кажется, лишь по долгу службы он предложил мне без всякого внутреннего участия в деле, два дальнейших, уже устных вопроса – о моем отношении к марксизму и о задаче русской интеллигенции.

Как помнится, ответ мой сводился к тому, что я уже и тогда думал о марксизме и что и сейчас о нем думаю: «Капитал» Маркса представляет собою остро продуманный и в общем верный социологический анализ капиталистического строя Европы, но, превращать социологическую доктрину марксизма в применимую ко всем временам и народам историософскую доктрину, нет никакого смысла и основания. В России марксизм победил, впрочем, не как отвлеченная философская доктрина, но как захватившая народную душу лже-вера. Задача русской интеллигенции распутать эту путаницу. Верить надо в Бога, а не в Карла Маркса; марксистским же анализом исторических грехов капиталистического строя надо пользоваться для построения свободолюбивого социалистического общества.

Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что мои мысли пришлись по вкусу моему следователю. Что-то промелькнуло между нами, что-то сблизило даже и, к концу допроса, мы уже довольно дружелюбно беседовали о фронте и о трагедии солдатской революции. Расстались мы настолько «дружественно», что следователь попросил меня прислать ему мою, только что вышедшую книгу: «Письма прапорщика-артиллериста», что я и исполнил, ради предосторожности за несколько часов до выезда заграницу. Книжку свою я даже надписал.

Кто был мой следователь – я не знаю, но что в Советской России были когда-то возможными такие следователи, мне теперь почти что не верится. Если бы я прочел описание моего допроса в книге неизвестного мне автора, я, наверное, подумал бы, что автор скрытый «большевизан».

По окончании допроса, мне были для подписи предъявлены два документа. В одном говорилось о том, что в случае нелегального возвращения в РСФСР я подлежу высшей мере наказания. Во втором ставился вопрос: предпочитаю ли я ехать на свой счет, или, как говорилось в старину, на казенный. Над первым документом думать было нечего, и я его сразу же подписал. Второй таил в себе ряд подводных камней. Хотелось, конечно, ответить, что поеду на свой счет, так как не было твердой уверенности, что казна благополучно довезет меня до Берлина, а не затеряет где-нибудь по пути. Но, как написать «на свой счет», когда в кармане нет ни гроша? Подумал, подумал и написал: «на казенный». Прочитав мой ответ, следователь деловито сообщил, что ввиду моего решения ехать на средства государства, я буду пока что препровожден в тюрьму, а впоследствии по этапу доставлен до польской границы. Услыхав это, я взволновался:

– Простите, товарищ, в таком случае – еду на свой счет. Я думал, что вы повезете меня на средства государства, а вы хотите так устроиться, чтобы моя высылка не стоила вам никаких средств. Это дело совсем другое.

– Ну, что же, – благожелательно отозвался следователь, – если хотите ехать на свой, то так и пишите. Вот вам чистый бланк, но только знайте, что,

собираясь ехать на свои деньги, – вы должны будете подписать еще бумагу, обязующую вас уже через неделю покинуть пределы РСФСР.

Делать было нечего, и я подписал. После этого следователь сообщил мне, где и когда будут вручены мне заграничные паспорта и я с тем же караулом, который вел меня к следователю, но, кажется, более коротким путем, был возвращен в переднюю, где меня уже четвертый час дожидалась, бледная как смерть, Наташа.

Узнав, что все оказалось правдой, что я, действительно, высылаюсь за границу, что мы может быть уже через две недели окажемся в Берлине, она, странным образом, не обрадовалась, а лишь успокоилась: что высылают – грустно, но что не ссылают, конечно, счастье; за границей не надо будет ежедневно бояться доносов, тюрьмы и ссылки. В таких раздвоенных, почти что растерянных чувствах, пришли мы к себе на Никитскую, попили чаю, отдохнули и, вооружившись бумагой и карандашом, стали считать, сколько нам необходимо денег на выезд и сколько мы можем выручить от продажи вещей, которые все равно нельзя будет везти. Разрешалось взять: одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм и по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок. Вот и все. Золотые вещи, драгоценные камни, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены; даже и нательные кресты надо было снимать с шеи. Кроме вещей, разрешалось, впрочем, взять

небольшое количество валюты, если не ошибаюсь, по 20 долларов на человека; но откуда ее взять, когда за хранение ее полагалась тюрьма, а в отдельных случаях даже и смертная казнь.

Как мы ни считали, как дорого в мечтах не продавали, что можно было продать, (мою и Наташину шубы, пары три стоптанных валенок, сажень сухих дров) было ясно, что обернуться своими силами нам будет невозможно, что надо занимать деньги, но где и у кого? Вопрос казался почти неразрешимым, во всяком *случае,* неразрешимым в тот короткий срок, который нам оставался до обязательного выезда. Надо было, прежде всего, во что бы то ни стало, продлить этот срок. Сообразив, я решил на следующий же день отправиться в немецкое посольство, рассказать все как есть и слезно просить, чтобы мне до тех пор не давали визы, пока я не скажу, что могу ехать. В посольстве меня очень любезно принял некий доктор Г. (с благодарностью храню в памяти его имя). Выслушав меня, он тут же вызвал начальника канцелярии и отдал ему распоряжение о задержке моей визы. В случае запроса со стороны комиссариата внешних дел о причине задержки, он просил немедленно доложить ему, дабы он ссылкою на Берлин мог уладить дело.

Прощаясь с доктором Г. и сердечно благодаря его за сочувствие, я вдруг увидел за его спиной зеленые холмы Оденвальда и стены Гейдельбергского замка. В эту же минуту доктор Г. превратился в молодого, студента корпоранта, с которым мы встречались на лекциях историка Маркса. За минуту совсем чужие друг другу, мы вдруг стали старыми знакомыми: начали вспоминать знаменитых профессоров и отыскивать общих знакомых среди студентов. Оживившийся доктор Г. предложил мне на следующий же день зайти поужинать и побеседовать о Гейдельберге.

Войдя в сопровождении почтительного лакея в теплую, светлую, заново отделанную гостиную, я не без некоторого удивления почувствовал, до чего я отвык от того, что некогда было и моей жизнью, до чего опростился и даже опустился за долгие годы окопного сидения и революционной неприкаянности в холодных, часто угарных комнатах вместе с голодными крысами и деревенскими тараканами. К простому, но показавшемуся мне в то время невероятно роскошному ужину было приглашено человек 5–6, из которых я никого уже не помню, кроме доктора Г. и красивого молодого барона фон Бибра, ездившего курьером между Берлином и Москвой.

За столом прислуживала очень опрятная, благообразно-кроткая пожилая фрейлейн Кант, отдаленный потомок Кенигсбергского философа, что было и приятно и все же как-то неловко. После ужина мы перешли в кабинет. Появились вино, сигары, по комнатам поплыл синий, ароматный дым, в камине затрещали дрова и у всех до некоторой степени обострились мысли и развязались языки. Меня о многом расспрашивали, что иностранцам казалось необъяснимым и даже невероятным. Я отвечал не без некоторой, уже вошедшей в плоть и кровь осмотрительности, но все же честно и откровенно, удивляясь тому, что где-то в мире есть еще такие люди, которым, не зная их ближе, можно без опаски высказывать свои мысли, веря, что они на тебя не донесут. Это было для меня совершенно новое и очень значительное переживание. За оживленными разговорами в немецком посольстве я впервые за свою советскую жизнь понял, что живу в тюрьме, где перешептываются и перестукиваются лишь близкие друг другу родственники и друзья, естественно считающие всех остальных людей за потенциальных врагов и предателей.

Прийдя домой, я подробно рассказал Наташе о проведенном в посольстве вечере. Снова проговорив всю ночь, мы под утро решили, что, как ни грустно покидать своё и своих, Россию и Ивановку, нам надо все же искренне благодарить судьбу за то, что перед нами распахнулись двери тюрьмы, что мы уже дышим воздухом свободы, без которого жить нельзя. С таким переломом в настроении, с таким, если и не обрадованным, то все же утешенным сердцем, я на следующий день с новыми силами приступил к отысканию средств на выезд.

Первым делом я направился к Шорам, рассказать, как обстоят дела и посоветоваться, как быть дальше. Пришел я к милым, радушным, всегда готовым каждому помочь и каждого выручить людям, довольно рано. Все еще сидели за утренним чаем. Олечка просматривала свои лекционные конспекты, а Александр Соломонович, известнейший на всю Москву настройщик и брат пианиста Давида Шора, собирал адреса своих клиентов. Клиенты эти были в большинстве случаев советские сановники, так как советские обыватели денег на настройщика уже давно не имели и играли, поскольку у них сохранились рояли и пианино, на безбожно расстроенных инструментах. Встречаясь запросто с женами сильных мира сего, Александр Соломонович никогда не упускал случая замолвить, где можно, доброе слово за невинно оговоренных и присужденных; иногда его заступничество имело успех. Мать Олечки, Роза Моисеевна, сидела за самоваром с какою-то книжкою в руке и прислушивалась к виолончели Юрия за стеной. Она души не чаяла в своем сыне и очень любила бархатный звук его инструмента.

Моему приходу в непривычно ранний час все изумились: на лицах появилось смешанное выражение радости и испуга.

Я быстро рассказал о допросе и об интересном вечере в немецком посольстве, заключив свое повествование как будто бы риторическим вопросом: «Можно ли у кого-нибудь достать необходимые на выезд 30 долларов?»

Вопроса моего, не в пример тому, как это часто бывает, когда заговариваешь даже с друзьями о деньгах, никто не испугался. В живых глазах Ольги Александровны сразу же заиграли какие-то соображения. Она подсела к матери и подозвала отца, который уже собирался уходить. Все трое сгруппировались на дальнем от меня краю большого обеденного стола и принялись полушепотом обсуждать мое затруднение. Я же занялся своим кофе (такого вкусного мы дома не пили) и пододвинутою мне тарелкой с весьма солидными бутербродами. Через несколько минут, очевидно, наметилась возможность какого-то решения; Ольга Александровна без шляпы и пальто быстро вышла на лестницу. Я понял, что она пошла к своей, жившей этажом выше, тетушке, Анне Моисеевне Ковалевой, очень «вуаянтной», как говорили в семье Шоров, вдове генерала Ковалева и матери очаровательной Лелечки. Похожая на своего русского отца, но и на мать, Лелечка производила впечатление прелестной неаполитанской цветочницы.

Вернувшись со светлым и торжествующим выражением лица, Олечка взяла меня под руку и повела наверх к тетке, в ее хорошо обставленную, всегда чисто прибранную, светлую квартиру. Анна Моисеевна встретила меня так же радушно, как час тому назад ее сестра, и тут же просто, ни минуты не кичась своей добротой, предложила, безо всякой заботы о скором возврате, взять у нее 50 долларов, иметь которые в те времена строго запрещалось и давать которые человеку, только что заявившему на допросе, что денег у него нет, было большим риском, так как Чека могла всегда заинтересоваться вопросом, откуда добыта валюта.

Сговорившись с Анной Моисеевной, что я через два дня зайду за деньгами, и горячо поблагодарив ее и всех Шоров за чудодейственно-быструю и щедрую помощь, я, не теряя времени, побежал в посольство сообщить, что самое позднее через неделю приду за паспортом, а оттуда домой.

То, что Анне Моисеевне с дочкой удалось вскоре после нас выбраться в Берлин, а мне – вернуть ей долг, да еще в минуту, когда ее материальное положение было не блестяще, а доллары в инфляционной Германии стояли очень высоко, принадлежит к большим утешениям моей жизни.

Когда все, подлежавшие продаже вещи были наскоро за бесценок спущены на Сухаревке, а деньги и паспорта лежали уже в кармане, мы с Наташей поехали в Ивановку. Ярко помня до сих пор все мелочи нашего отъезда из Ивановки на войну, я лишь смутно вспоминаю прощание перед отъездом за границу. Может быть, это объясняется тем, что образы, наполняющие душу, вытесняются из нее лишь другими, и более яркими образами. Со словом «война» я не связывал никаких конкретных представлений; войны, идя на войну, перед собою не видел, она была не образом перед глазами, а мелодией. Забытое же слово «Европа», вдруг громко произнесенное судьбою, с такою силою всколыхнуло в душе спавшие в ней образы, что настоящее как-то побледнело и рассеялось.

Боль разлуки, конечно, была, но не очень сильная. В те годы можно было еще переписываться с оставшимися и посылать им пакеты; оптимисты надеялись, что мы скоро вернемся, кое-кто из домашних даже советовал Наташе не раздавать заготовленных на зиму запасов муки, крупы, дров – самим пригодится, когда вернемся, ведь самый длинный срок административной высылки, – указывали оптимисты, – три года.

Когда я на это отвечал, что при большевиках мы вряд ли вернемся, а они могут продержаться еще очень долго, надо мной смеялись. Один только Николай Сергеевич в тон мне с горечью сказал: «Когда вас вернут, Федор, не знаю, знаю только одно, что я вас больше уже не увижу, мы с вами прощаемся навсегда». Вспоминая эти слова, я живо вижу идущего рядом с медленно тянущейся в гору пролеткой, милого Николая Сергеевича. Его небольшая рука лежит на заднем крыле экипажа, а все еще горячие, блестящие, не только от природы, но уже и от склероза, глаза с вопрошающею грустью смотрят на дочь и на меня…

За несколько дней до нашего отъезда (точный срок отъезда нам сообщили почему-то лишь в последнюю минуту), Наташа написала в Ивановку матери, что мы пока еще в Москве и срока отъезда не знаем. Встревоженная Серафима Васильевна вдруг собралась и бросилась в Москву. Подъехала она к подъезду на Никитской час спустя после нашего отъезда! Как ни спешила на вокзал, она все же опоздала. Читая в Берлине ее первое письмо, я увидел ее, стоящую на платформе, растерянную, заплаканную, несчастную, с безответным вопросом в душе, куда же и к кому теперь идти?

День нашего отъезда был ветреный, сырой и мозглый. Поезд уходил под вечер. На мокрой платформе грустно горели два тусклых керосиновых фонаря. Перед неосвещенным еще вагоном второго класса уже стояли друзья и знакомые. Помню мучительную сложную боль этого прощального часа. Хорошо, что не было матери. Как и восемь лет тому назад, когда я Москвою проезжал из Сибири на Запад, она не решилась приехать проводить меня на вокзал. Мы простились с ней на даче, в Касимовке, без «свидетелей» и без «соболезнователей». Этого она не вынесла бы. Будь она на вокзале, я был бы крепко прикован не только к ее

душе, но и к ее руке; не смог бы никому из пришедших сказать последнего слова, обменяться последним прощальным взглядом.

Но, если и не было мамы, то все же были все Степуны, братья и сестры, все как и она, сложные и ревнивые. Особенно нежен и взволнован был брат Липочка, спутник и друг студенческих лет.

Стоя среди своих, я вижу подходящую ко мне Нину Миракли. Тихая, бледная, в черном, она передает мне небольшое Евангелие. Перед глазами всплывают Неман, Вильно и ее небольшой дом в церковной ограде. Тема краткой Аниной жизни и смерти сразу же захватывает душу, но вот к вагону под руку с неистовой Варварой Массалитиновой бежит Миша Ленин. Варвара бурно целует меня и преподносит бутылку красного вина. От души благодаря ее и Мишу, я вижу, что ко мне уже приближается вольноопределяющийся 12-й Сибирской бригады. Душа сразу же наполняется воздухом галицийской компании. Мы горячо обнимаемся.

Чувствуя молча стоящую рядом со мной и молча зовущую меня к себе Нину, я все же не в силах оборвать разговора с товарищем по фронту. Он дружески жмет мне руку, просит, если случится встретить где-нибудь в Париже, или в Праге нашего общего друга по батарее, ушедшего с Белой армией, крепко расцеловать его.

Наконец, я подхожу к Нине, чтобы, быть может, навсегда проститься с ней, образ которой, как я тогда еще думал, никогда не покинет моей души. Сказать Нине на прощание то, что хотел сказать, я не успел, так как ко мне уже подходила Людмила. Я знакомлю Нину с Людмилой, которые, не зная друг друга, всё знают друг о друге. Они приветливо пожимают руки, но, я чувствую, что каждой хотелось бы, чтобы другой здесь не было.

Наташа внимательно следит за мной и, чувствуя всю трудность и сложность моего положения, старается помочь мне.

Когда я отхожу от своих, она переходит к Липочке и сестрам; с покинутым мною товарищем по батарее она вспоминает лагерную жизнь в Куртенгофе под Ригой, где наша бригада отдыхала и чинилась в 1915 г. Массалитинову с Мишей она, чтобы они не мешали мне, быстро уводит в вагон, посмотреть, как мы устроились. Только Нине она не в силах помочь…

Раздается второй звонок. Последние объятия, поцелуи, рукопожатия. Мы уходим в вагон и подходим к нераскрывающемуся окну. За грязноватым стеклом в уже густом вечернем сумраке лишь смутно виднеются знакомые лица. Еле различая их очертания, я все же как-то угадываю выражения их лиц и даже слышу, как мне, по крайней мере, кажется, слова прощания…

Быть может, мы на том свете будем без уст говорить друг с другом и без глаз смотреть друг на друга…

Третий звонок, свисток. Поезд вздрагивает и трогается. За окном тянутся цепи облезлых товарных вагонов; они скоро кончаются, вот уже плывут дома, улицы. Поезд ускоряет свой ход; мимо нас бегут поля, дачи, леса и, наконец, деревни одна за другой, близкие, далекие, черные, желтоглазые, но все одинаково сирые и убогие в бескрайных осенних полях…

Под окном мелькает шлагбаум. Куда-то вдаль, под темную лесную полосу отбегает вращаемое движением поезда, черное, среди только что выпавшего первого снега, шоссе… Вдруг в сердце поднимается страшная тоска – мечта, не стоять у окна несущегося в Европу поезда, а труском плестись по этому, неизвестно куда ведущему, шоссе…

22-го ноября закончился 26-й год пребывания за границей высланных из России ученых и общественных

деятелей. Несколько человек из нас уже умерло на чужбине. В лице отца Сергия Булгакова и Николая Александровича Бердяева «первопризывная» эмиграция понесла тяжелую утрату.

Вернется ли кто-либо из нас, младших собратьев и соратников, на родину – сказать трудно. Еще труднее сказать, какою вернувшиеся увидят ее. Хотя мы только то и делали, что трудились над изучением России, над разгадкой большевистской революции, мы этой загадки все еще не разгадали. Бесспорно, старые эмигранты лучше знают историю революции и настоящее положение России, чем иностранцы. Но, зная прекрасно политическую систему большевизма и ее хозяйственное устройство, ее громадные технические достижения и ее непереносимые нравственные ужасы, ее литературу и науку, ее церковь, мы всего этого, по-настоящему, все же не чувствуем; зная факты и статистику, мы живой теперешней России перед глазами все же не видим. В голове у нас все ясно, а перед глазами мрак.

За последние годы из этого мрака вышли нам навстречу новые, взращённые уже Советской Россией люди. Будем надеяться, что они, если мы только не оттолкнем их от себя и поможем им преодолеть свою «окопную» психологию, помогут нам разгадать страшный облик породившей и воспитавшей их России.

Каюсь, иногда от постоянного всматривания в тайну России, от постоянного занятия большевизмом, в душе подымается непреодолимая тоска и возникает соблазн ухода в искусство, философию, науку.

Но соблазн быстро отступает. Уйти нам нельзя и некуда.

20 декабря 1948 г.

Оглавление

Федор Августович Степун

Бывшее и несбывшееся

Том II

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *А. Сычёва*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16